

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ

V

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1956

СО Д Е Р Ж А Н И Е

О некоторых актуальных задачах современного советского языкознания . . .	3
Л. А. Булаховский (Киев). Грамматическая индукция в славянском склонении	14

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Н. Болдырев (Ленинград). Некоторые вопросы становления и развития письменных языков в условиях феодального общества	31
В. П. Григорьев (Москва). О границах между словосложением и аффиксацией	38

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. П. Мажюлис (Вильнюс). Индоевропейская децимальная система числительных	53
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Из истории образования числительных в эскимосском языке	60
Б. И. Надэль (Ленинград). Фонетические явления фракийского и иллирийского языков	72
В. А. Матвеев (Москва). Заметки о языке новгородских берестяных грамот	82
А. М. Финкель (Харьков). Материалы для фразеологического словаря русского языка (<i>соробинная ночь</i>)	92
В. А. Вайткевич (Ленинград). По поводу статьи П. П. Цукермана «Преподавание фонетики русского языка литовцам»	96

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. Н. Хангильдин (Казань). Татарская грамматика Каюма Насырова «Энмузедж»	99
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. И. Толстой (Москва). Новые работы югославских лингвистов по сербохорватскому языку	104
Т. П. Ломтев (Москва). «Вопросы изучения русского языка»	111
Т. В. Булыгина и Д. Н. Шмелев (Москва). Работы В. К. Метьюса по русскому и старославянскому языкам	115
Б. Казанский (Ленинград). «Словарь иностранных слов»	118
Н. И. Фельдман (Москва). Японский «Словарь отечественного языкознания»	122
Т. Б. Алисова (Москва). <i>G. Rohlfs. Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten</i>	126
М. А. Бородин (Ленинград). <i>Ch. T. Gossen. Petite grammaire de l'ancien picard</i>	131
П. Д. Арутюнова (Москва). «Испанско-русский словарь»	134
М. Я. Немировский (Ростов-на-Дону). Л. И. Жирков. Лакский язык	138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

З. Штибер (Варшава). Польское языкознание в 1945—1955 гг.	142
П. А. Оссовецкий (Москва). Планы языковедческих институтов Польской АН	151
Обсуждение русско-польского словаря	154
Е. Ф. Петрищева, В. П. Григорьев (Москва). В Институте языкознания АН СССР	157

Р е д к о л л е г и я:

О. С. Агманова, П. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), В. П. Григорьев (п. о. отв. секретаря редакции), А. П. Ефимов, В. В. Иванов (п. о. зам. главного редактора), Н. А. Кондрашов, Н. П. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чисовина, П. Ю. Шадова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. 1: 1-75-42

Т-05378	Подписано к печати 22/VIII 1955 г.	Тираж 11900 экз.	Заказ 461
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Бум. л. 5	Печ. л. 13,7	Уч.-изд. л. 16,5

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ СОВРЕМЕННОГО СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза поставил перед всеми советскими учеными ответственные и почетные задачи. Острая и глубоко принципиальная критика положения в области разных общественных наук, данная на XX съезде, во многих отношениях применима и к языкознанию. Она требует решительного преодоления серьезных недостатков в разработке основных проблем нашей науки. Необходимо коренным образом улучшить работу языковедческих учреждений и журнала «Вопросы языкознания».

На протяжении многих лет — с самого начала господства теории акад. Н. Я. Марра — в нашем языкознании задавали тон вульгарно-материалистические концепции, оторванные от конкретного материала, от углубленного изучения фактов языка в их движении, не основанные на историческом анализе языковых явлений и закономерностей их развития. Факты языка нередко подводились под заранее готовые схемы, причем обычно упоминались лишь те явления, которые легко укладываются в эти схемы и не противоречат им. Лингвистическая дискуссия 1950 года направила советское языкознание по новым, в основном правильным путям. Однако и после нее свобода и широта конкретно-исторических исследований и их теоретических обобщений во многих случаях ограничивались и стеснялись догматической верой в непреложную истинность всех положений работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Так, например, при рассмотрении проблемы связи языка и общества в последние годы оставались в стороне речевые различия между разными социальными группами. Не только в учебных пособиях, но и в специальных статьях изучение сложной проблемы соотношения языка и других общественных явлений часто подменялось простым повторением или комментированием данной И. В. Сталиным характеристики признаков, отличающих язык от надстройки. Отсутствие живого и всестороннего конкретно-исторического исследования разнообразного материала, неумеренное применение цитат из работ И. В. Сталина, некритическое отношение к ним является отличительной чертой многих работ, посвященных другим важным вопросам общего языкознания, таким, например, как проблема смещения языков, проблема внутренних законов развития языка, проблема соотношения языка и мышления, вопросы общей семасиологии, проблема развития языков народностей и языков наций, проблема диалектных различий общенародного разговорного языка в разные эпохи, проблема отложений классовой идеологии в семантике отдельных слов или словесных групп и мн. др. Проблема происхождения языка обычно излагалась посредством приведения цитат — в кавычках или без кавычек; в очень слабой степени

работы, посвященные этой теме, используют новые археологические, антропологические и физиологические данные.

За последние годы в центре внимания многих языковедов оказались вопросы, связанные с проблемой внутренних законов развития языка и с вопросом об основном словарном фонде. Эти вопросы поднимались и ранее в научной литературе; самые термины — «основной словарный (или лексический) фонд», «внутренние законы развития языка» применялись некоторыми лингвистами и до появления работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»¹. Однако обсуждение этих вопросов в нашей языковедческой литературе последних лет также часто велось в духе абстрактного теоретизирования.

Было бы неправильно отрицать важность всех этих проблем и уклоняться от задач их исследования только на том основании, что они порой являлись поводом для отдельных бесплодных рассуждений. Вместе с тем нельзя думать, что поворот к действительно научно-плодотворной работе в области языкознания может ограничиться лишь критикой таких положений работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», как, например, необоснованное утверждение о курско-орловской диалектной основе русского национального языка или исторически неоправданная характеристика роли французского языка в средневековой Англии. Необходимо изменить самый стиль языковедческой работы, направить лингвистические исследования по пути смелого творческого изучения тщательно подбираемых и вновь открываемых фактов истории языка и их теоретического обобщения на основе марксистско-ленинской методологии. Культ личности часто ограничивал, а во многих случаях и подавлял, парализовал самостоятельную теоретическую работу в области общего языкознания. Каждое высказанное И. В. Сталиным положение превращалось в непоколебимую догму, не требующую дальнейших обоснований и конкретно-исторических доказательств.

Понятно, как ошибочно мнение, будто уже существует в готовом виде собрание основных положений марксистского языкознания и нашим языковедам остается только применять эти положения. В работах классиков марксизма-ленинизма мы находим очень важные и существенные, но только отдельные указания, относящиеся к изучению языка. Необходимо внимательно вникнуть в эти высказывания. Известно, например, какой вред советскому языкознанию принесло игнорирование акад. Н. Я. Марром и его последователями указания Энгельса (в его письме И. Блоху) на невозможность объяснения фонетических изменений экономическими причинами². Последователи Н. Я. Марра объявляли «буржуазным» сравнительно-исторический метод в языкознании, не считаясь с высокой оценкой сравнительно-исторического языкознания, данной Марксом и Энгельсом. Критика ошибочных положений Н. Я. Марра, данная участниками лингвистической дискуссии на страницах «Правды», создала благоприятные условия для развития сравнительно-исторического языкознания. Однако при большом числе опубликованных за последние шесть лет статей о сравнительно-историческом методе у нас почти полностью отсутствовали глубокие конкретные сравнительно-исторические исследования,

¹ Ср., например, замечания Ж. Вандриеса о «действии внутренних законов, объясняющих развитие... языков» (Ж. В а н д р и е с, Язык, М., 1937, стр. 220). О внутренних законах развития языка упоминал даже Н. Я. Марр (см. «Избр. работы», т. II, [Л.], 1936, стр. 117). Необходимо помнить, что проблема внутренних законов развития отдельных общественных явлений неоднократно выдвигалась и обсуждалась в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.

² См. К. Маркс, Ф. Энгельс, Избр. произвед., т. II, 1948, стр. 467—468.

а именно в таких исследованиях в настоящее время особенно нуждается советское языкознание. Вместе с тем следует подчеркнуть ограниченность сферы употребления сравнительно-исторического метода и необходимость дальнейшего его совершенствования. Для описания языка в определенный период развития (следовательно, для создания описательных грамматик современных языков), а также и для исследования истории языка в период, засвидетельствованный письменными памятниками, необходимы и другие специальные методы языковедческого исследования. Эти методы до сих пор недостаточно разработаны; их разработка, а также публикация конкретных работ, в которых применяется новейшая методика сравнительно-исторических, исторических и описательных лингвистических исследований, является одной из важнейших задач советского языкознания и журнала «Вопросы языкознания». Только на основании таких конкретных работ, насыщенных фактическим материалом и основанных на передовой, учитывающей весь прогрессивный опыт прошлого методике лингвистического исследования, могут быть сделаны обобщения, которые продвинут вперед советское общее языкознание, строящееся на фундаменте марксистско-ленинской теории.

Для плодотворного изучения всех нерешенных и спорных вопросов науки о языке необходимы смелые творческие дискуссии, столкновение мнений представителей разных школ и направлений советского языкознания. Незыблемой основой лингвистических теорий каждого советского языковеда должна быть марксистско-ленинская философия. Однако это не означает, что пониманию всех конкретных вопросов языкознания у всех советских лингвистов должно быть одинаковым. Научные споры и обсуждения, проводимые на базе марксистско-ленинской теории, могут и должны послужить делу развития нашей науки. Журнал «Вопросы языкознания» призван сыграть важную роль в организации таких свободных дискуссий.

Решения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза обращают внимание советских ученых на необходимость усвоения всех достижений отечественной и зарубежной науки. Советским языковедам надо полностью использовать богатый опыт дореволюционной русской и советской науки о языке, а также все ценное и передовое из зарубежного языкознания. Вместе с тем советские ученые должны подвергать решительной критике языковедческие теории, основанные на философских принципах, враждебных марксизму ленинизму. Однако критический анализ зарубежных идеалистических теорий в области языкознания должен быть основан на строго проверенных фактах. Следует четко различать ошибочное идеалистическое осмысление новых открытий в лингвистике и те специальные лингвистические достижения, которые могут быть использованы советскими учеными.

Появившиеся в нашей печати за последние годы статьи показывают, что работа в этом направлении во многих случаях идет у нас по неправильному пути. Так, например, крупный американский лингвист Э. Сэпир без всяких оснований был обвинен в том, что он пропагандировал расизм. Между тем известно, что Э. Сэпир упорно боролся с антисемитизмом и всяческими проявлениями расовой дискриминации в США и других капиталистических странах. Э. Сэпир был одним из наиболее выдающихся исследователей и ценителей языков и обычаев североамериканских индейцев, к культуре которых он относился гораздо более доброжелательно, чем многие другие американские ученые. Э. Сэпир многократно высказывался против ошибочного отождествления расы и языка. Вместо того чтобы осудить обвинять Э. Сэпира в расизме, следовало бы более тщательно изучить его работы, в которых дается, между прочим, резкая критика

отношения к науке, характерного для некоторых кругов США¹. Только тогда можно было бы дать правильный марксистский анализ лингвистических трудов этого ученого, содержащих наряду с рядом ошибочных идеалистических философских положений многие ценные лингвистические выводы и обобщения, сделанные благодаря тонкому анализу фактов очель большого числа языков различных семей. Аналогичные ошибки имели место и при оценке деятельности некоторых других зарубежных лингвистов. Между тем можно указать на ряд важных задач, разрешение которых невозможно без использования опыта зарубежной науки.

В директивах XX съезда Коммунистической партии Советского Союза по шестому пятилетнему плану обращается особое внимание на развитие производства электронных вычислительных машин. Машины для перевода являются одним из практически важных видов этих электронных приборов. Работа по созданию таких машин в очень широком масштабе ведется в США, где, начиная с 1954 г., выходит специальный журнал, посвященный машинному переводу. Аналогичная работа разворачивается в Великобритании и Италии. Нашей задачей является быстрее создание электронных машин для перевода. Для этого требуется решение ряда чисто лингвистических проблем, среди которых наиболее важной является сведение грамматики языков, на которые рассчитана данная машина, к системе правил, выражаемых посредством определенного кода. В этой связи необходимо усилить критическое изучение методов современной структурной лингвистики и математической логики. Вместе с тем из того обстоятельства, что некоторые приемы структурального анализа языка помогают при создании и применении электронных переводческих машин, нельзя еще непосредственно делать заключения о научной правомерности и оправданности принципиальных основ структурализма. Работа по машинному переводу должна вестись объединенными усилиями лингвистов, математиков и специалистов в области теории информации и электроники. Осуществление выдвинутой в недавнее время идеи создания машины для устного перевода² требует решительного подъема исследований в области фонологии и экспериментальной фонетики, являющейся у нас в настоящее время одной из отстающих лингвистических дисциплин.

Задача осуществления машинного перевода тесно связана и с применением лингвистической статистики. Эта сравнительно молодая отрасль языковедения быстро развивается за рубежом (ср. работы М. Козна, П. Гиро и чехословацкого лингвиста Б. Трики). Между тем в советском языкознании за последние годы не появилось ни одного исследования по лингвистической статистике.

Наблюдающееся в настоящее время сближение языкознания с точными науками (в первую очередь — с математикой) отчасти вызвано стремлением к выработке максимально строгих методов лингвистического исследования.

2

В ближайших номерах журнала «Вопросы языкознания» редакция предполагает начать обсуждение вопросов структурализма — широко распространенного в зарубежном языкознании направления, которое до сих пор не получило в советской науке всестороннего объективного освещения

¹ См. «Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality», Berkeley — Los Angeles, 1951.

² См., например, W. N. Locke, Speech typewriters and translating machines, PMLA («Publications of the modern language Association of America»), vol. LXX, № 2, 1955.

и почти не отражается ни в методике, ни в технике, ни в терминологии наших лингвистических изысканий. В целях достижения наилучших результатов намеченного обсуждения необходимо приложить все усилия к тому, чтобы оно приобрело конкретно-лингвистический характер. Поэтому желательно, чтобы обоснование тех или других положений в ходе этого обсуждения давалось на примерах конкретных языковедческих работ, путем показа на конкретном лингвистическом материале достоинств и недостатков тех разнообразных принципов и методов исследования, которые (может быть, без достаточного основания?) объединяются под общим названием «лингвистического структурализма».

При обсуждении методов «структурной лингвистики» так же, как и вообще при обсуждении сущности лингвистического структурализма, обычно привлекается почти исключительно фонетический материал и лишь в очень небольшой степени явления морфонологии и морфологии. Методы исследования у европейских структуралистов и американских «дескриптивных лингвистов» также сопоставляются и сближаются все на той же основе — трактовки фонологических систем. Между тем звуки языка и тогда, когда они рассматриваются в плане фонологическом, обладают известной спецификой и существенно отличаются от морфем, слов и словосочетаний тем, что не имеют специфического и закрепленного за ними значения. Поэтому доказательства плодотворности рассмотрения фонем прежде всего или даже исключительно как элементов соотношений по существу никак не помогают решению более широкого и общего вопроса о плодотворности структуралистических методов при описании языка в целом, при исследовании его лексической и грамматической системы.

Вопрос о возможности перенесения методов исследования, так или иначе оправдавших себя в области фонологии, на изучение лексической системы языка был поставлен в журнале «Вопросы языкознания» в связи с опубликованием статьи Е. Р. Куриловича «Заметки о значении слова» (1955, № 3), развивающей идеи известной работы покойного С. Карцевского (S. Karcevskij, *Du dualisme asymétrique du signe linguistique*, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1, 1929) в применении к лексике. Эта статья Е. Куриловича особенно интересна тем, что в ней, в сущности, впервые делается попытка рассмотрения вопросов лексикологии в аспекте «структурной лингвистики», применения структуралистических методов в области лексических исследований. (Как известно, для структурализма в общем типично неразграничение лексикологии и грамматики, восходящее еще к «Курсу общей лингвистики» Ф. де Соссюра.)

Помимо того интереса, который работа Е. Куриловича представляет для теории лексикологии, она имеет и более общее методологическое значение. В частности, возникают два следующих важных вопроса: 1) если в области фонетики между разными структуралистическими школами почти нет теперь принципиальных расхождений, то можно ли рассчитывать на подобное между ними сближение и в области лексикологии? Ведь предлагаемая Е. Куриловичем система лексического исследования остается на позициях «экспрессионизма» в том смысле, что исходит из двусторонности языкового знака, считает значение его составной частью, необходимым его ингредиентом; в американской же «дескриптивной лингвистике» вопрос о значении вообще выпадает за пределы собственно лингвистического исследования; 2) если уже теперь существуют разнообразные структурные описания фонологических систем многих языков, то применительно к лексикологии эта задача все еще находится в стадии общей постановки. Отсюда вытекает настоятельная необходимость проверки на материале эффективности и надежности предлагаемых методов. Необходи-

димо раскрыть, в чем заключается внутренняя специфика, методологическое своеобразие структуралистских принципов лексикологического исследования.

Особенно большую проблему представляет собой применение структуралистских методов в области синтаксиса. Как известно, в самых разнообразных направлениях современного языкознания наблюдается общая тенденция к разработке новых методов синтаксического изучения языка, противопоставляемых методам языкознания XIX в. В большинстве случаев при этом в центре внимания оказываются формальные методы структурного анализа, свободные от «логицизма» и «психологизма» (для ряда исследователей логицизм и психологизм — это проявление «ментализма», принципиально неприемлемого для современного позитивизма). В связи с этим по-новому ставится вопрос о «форме» и «функции», о соотношении морфологии, синтаксиса, частей речи и членов предложения.

Одним из наиболее известных в настоящее время «заменителей» понятия «член предложения», повидимому, является понятие «непосредственно составляющих», которое, по мнению некоторых лингвистов, представляет собой лишь другое название для «синтагмы» в соссюрианском понимании этого термина. Если это так, то нельзя не удивляться тому, что общие классификации направлений структурализма, а также нередкие обсуждения общих вопросов «структурной лингвистики» за последнее время не учитывают работ женевской школы, так же как и работ ряда видных языковедов, не являющихся «блумфилдианцами», «глоссематиками» или «учениками Трубецкого». Ведь если считать «непосредственно составляющие» или «синтагмы» основными категориями современного структуралистического (или «структурного») синтаксиса, то наибольший общий интерес должны бы представлять такие работы, как, например, статья Ф. Микуша (F. Mikuš, *Le syntagme est-il binaire?*, «Word», vol. 3, № 1—2, 1947), вызвавшая возражения Фрея (H. Frei, *Note sur l'analyse des syntagmes*, «Word», vol. 4, № 2, 1948,) и, далее, большая ответная работа Ф. Микуша (F. Mikuš, *Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?*, «Lingua», vol. 3, 4, 1953)¹. Как известно, дискуссия по этому вопросу продолжается и сейчас. Естественно, возникает такая проблема: центр изучения структурных методов синтаксического исследования, быть может, следует искать не в построениях глоссематики и не в работах американских «дескриптивных лингвистов», а в трудах тех последователей де Соссюра, которые пошли по линии наиболее глубокого исследования диалектики «языка» и «речи» как «потенциального» и «актуализованного»? Как уже было сказано, все эти вопросы при обсуждении современного лингвистического структурализма почти не затрагиваются. Вопросы синтаксиса (так же, как и вопросы лексикологии) вообще остаются при этом фактически вне рассмотрения.

Сказанное имеет целью привлечь внимание к тем аспектам общей проблемы лингвистического структурализма, которые оставались до сих пор в известном пренебрежении. Однако выделение тех или иных вопросов как наиболее существенных и интересных с точки зрения современного состояния науки отнюдь не означает вообще ограничения дискуссии только к этим вопросам. Вопросы фонологии — особенно исторической фонологии — не могут не привлекать внимания. Хотя вопрос о «знаковости языка» или «природе лингвистического знака» и подвергался уже детальному обсуждению, его никак нельзя считать разрешенным, и вполне естественно, если и он будет затрагиваться по ходу дискуссии. Не

¹ Ср. также монографию: R. F. Mikuš, *A propos de la syntagmatique du professeur A. Belić*, Ljubljana, 1952.

нивается аксиомой и положение о «языке как системе»: ни один язык еще не был представлен в виде системы, о системе языка обычно говорят лишь в весьма общей форме, не представляя в качестве образца ни одного ее реального и полного описания (обычно дело ограничивается лишь частичным установлением системных отношений в области фонологии и грамматики и лишь отдельных очень маленьких наметок по лексике). Следовательно, имеются все основания для скептиков положение «о языке как системе» ставить под сомнение. Далее, среди особо выделенных ниже вопросов отсутствует важнейший вопрос о связи истории языка с историей народа; но он безусловно будет обсуждаться, так как вызывает в настоящее время большой интерес у представителей не только различных направлений в языкознании, но и смежных с языкознанием дисциплин, включая этнографию.

В дополнение к этим кратким предварительным замечаниям предлагается следующий примерный перечень вопросов, которые, по мнению редакции, было бы целесообразно сделать предметом обсуждения.

1. Может ли быть принято определение лингвистического структурализма как такого направления в языкознании, которое считает главным и самостоятельным предметом лингвистики отношения между отдельными элементами в системе языка, причем эти последние рассматриваются только как элементы соотношений? Можно ли сказать, что лингвистический структурализм исходит из первичности отношений и вторичности, подчиненности самих соотносящихся (реальных) единиц языка?

Если приведенное понимание лингвистического структурализма является неправильным, то какое другое содержание следует вкладывать в понятие «лингвистический структурализм»?

2. Правильно ли принятое в настоящее время объединение под общим названием «лингвистического структурализма» трех направлений современного языкознания — школы Блумфилда, школы Трубецкого и последователей «глоссематики» Л. Ельмслева? Можно ли считать правильной тенденцию сглаживания (или игнорирования) различий в принципиальных установках этих трех школ и эмпирического сближения применяемых ими конкретных методов описания? В чем заключаются основные расхождения между отдельными направлениями и школами «структурной лингвистики»? Как следует оценивать деятельность и достижения отдельных школ и отдельных представителей структурализма? Каково общетеоретическое (философское, психологическое, логистическое) осмысление основ структурализма у отдельных направлений структурализма и отдельных ученых?

3. Какое место «структурная лингвистика» занимает в истории языкознания? Каковы ее генетические истоки и связи? Можно ли говорить о связи методов современного лингвистического структурализма с методами описания языка, применявшимися Навиини? Кого следует считать непосредственными предшественниками современных структуралистов и каковы перспективы развития «структурной лингвистики»?

4. Применимы ли методы «структурной лингвистики» к разным сторонам языка — фонетике, грамматике и лексикологии? Можно ли признать приемы описательного анализа языка, применяемые в различных течениях структурализма, обеспечивающими целесообразное решение проблемы описания языка или приближающимися к такому решению? Какие работы в области фонетики, грамматики и лексикологии тех или других конкретных направлений выполнены при помощи методов лингвистического структурализма и как следует оценивать эти работы с точки зрения полученных в них конкретных выводов и результатов?

5. Является ли правильным и возможным описание разных аспектов языка по принципу однотипности отношений («изомор-

физм»)? Можно ли указать конкретные примеры плодотворного применения этого принципа при описании языковых систем?

6. Как следует относиться к имеющимся попыткам применения структурного принципа в области внутренней реконструкции языковых фактов, не засвидетельствованных памятниками, живыми языками и непосредственными языковыми соответствиями? (В связи с обсуждением этого вопроса желательно использование личного опыта по сравнительно-историческому изучению языков, т. е. указание на то, в каких сравнительно-исторических исследованиях данной группы языков продуктивно применяются методы структурной реконструкции.)

7. В какой мере методы «структурной лингвистики» могут быть применены при изучении истории языка? Можно ли считать приемлемой принципиальную установку некоторых структуралистов в вопросе об отрицательном или скептическом отношении к сравнительно-историческому языкознанию, к принципу историзма? Каково значение «структурной лингвистики» для типологического изучения языков?

8. Какое место занимает структурализм в ряду других направлений современного зарубежного языкознания?

9. В какой степени «структурная лингвистика» связана с применением математических методов исследования?

Само собой разумеется, что при широком развитии дискуссии о лингвистическом структурализме может возникнуть целый ряд других важных вопросов, обсуждение которых, несомненно, поможет лучше осветить отдельные области языковедческого исследования и наметить общие пути дальнейшего движения советской науки о языке.

3

Наряду с дискуссией по вопросам лингвистического структурализма редакция журнала «Вопросы языкознания» ставит своей ближайшей задачей последовательно выдвигать и в отдельных статьях, сообщениях, заметках, критических обзорах и рецензиях подвергать всестороннему обсуждению актуальные проблемы, относящиеся к различным сферам лингвистического исследования, к отдельным группам языков. Очевидно, что в связи с подготовкой к международному съезду славистов (который должен состояться в Москве в 1958 г.) целесообразно прежде всего объединить силы и усилия наших специалистов по славянским языкам и направить их на решение основных, важнейших проблем славянского языкознания. По решению Президиума Академии наук СССР учрежден (под председательством акад. В. В. Виноградова) советский славяноведческий комитет, цель которого — координировать связанную с подготовкой к международному славистическому съезду работу советских славистов, содействовать интернациональному комитету славистов в организации московского съезда, в разработке его проблематики, в осуществлении целого ряда научных и практических мероприятий по улучшению информации и расширению наших международных связей в области славяноведения, по созданию библиографических справочников.

Советским славяноведческим комитетом разработан список (или перечень) актуальных вопросов, относящихся к разным сферам современного славянского языкознания. Обсуждение этих вопросов до международного съезда славистов и в связи с ним — при широком участии не только советских лингвистов, но и славистов других стран — могло бы принести существенную пользу славяноведческой науке и создать атмосферу широкого творческого международного научного общения. Необходимо вспомнить, что при организации в 1939 г. конгресса славистов в Бел-

граде (так и не состоявшегося вследствие начала второй мировой войны 1939—1945 гг.) было также выдвинуто значительное количество важных научных вопросов на предварительное обсуждение ученых разных стран¹. Об этом вспоминал президент Сербской Академии наук А. И. Белич при открытии белградского совещания славяноведов 15 сентября 1955 г. в своем вступительном слове: «Конгресс 1939 года поставил целый ряд научных вопросов на рассмотрение знатоков, для того чтобы развитие этих вопросов пошло правильным путем»². Практика широкого обсуждения еще перед международным съездом важнейших проблем соответствующей науки вполне себя оправдала.

Необходимы конкретизация и расчленение тех общих проблем и задач славянского языкознания, которые возникают в связи с международным съездом славяноведов в Москве. В области языкознания это: 1) вопросы образования и развития славянских литературных языков; 2) основные, главные вопросы сравнительно-исторической грамматики и сравнительно-исторической лексикологии славянских языков; 3) центральные задачи описательной, исторической и сравнительно-исторической диалектологии славянских языков, а также лингвистической географии — в связи с проблемой составления диалектологического атласа славянских языков и 4) обсуждение новых данных, относящихся к проблемам происхождения славянских языков и народов.

Вот перечень некоторых выдвигаемых нами более частных научно-лингвистических вопросов для обсуждения в связи со съездом:

В области методологии лингвистического исследования

1. Что нового внесла «структурная лингвистика» в историческое и сравнительно-историческое изучение славянских языков?
2. Какие новые возможности для изучения истории праславянского языка даст так называемая «внутренняя реконструкция»?
3. Применим ли сравнительно-исторический метод при реконструкции синтаксических явлений языка дописьменного периода?

В области сравнительно-исторической фонетики славянских языков

1. В каких случаях следует учитывать явления фонетической субституции в истории праславянского языка (или общеславянского «языка-основы»)?
2. Действовала ли тенденция утраты закрытых слогов в поздний период истории праславянского языка во всех случаях и позициях? Когда перестала действовать эта тенденция?
3. Закономерности развития фонологической системы общеславянского «языка-основы».

В области славянской сравнительно-исторической морфологии и словообразования

1. Какие древние типы именных основ сохранились в поздний период истории праславянского языка?
2. Видовое значение глагольных основ в праславянском языке.

¹ См. «III Международный конгресс слависта (словенских филолога) 18—25 IX 1939», Белград, изд. Извршног одбора, [1939]: № 1 — «Збирка одговора на питања»; № 3 — «Одговори на питања... Допуне».

² См. напечатанный в Белграде сербский текст речи акад. А. И. Белича (А. И. Б е л и ч, Отварање Скупа слависта у Београду 15 септембра 1955 године).

3. Каковы основные отличия именной и глагольной суффиксальной системы праславянского и праиндоевропейского языков?
4. Основные задачи и проблемы типологии славянских языков.
5. Общие и частные закономерности развития глагольной системы в славянских языках.
6. Пути развития отыменного глагольного и отглагольного именного словообразования в славянских языках.

В области истории взаимоотношений славянских языков друг с другом и с языками иных народов

1. Существовало ли балто-славянское языковое и этническое единство и как следует его понимать?
2. Что дают данные хеттского и тохарского языков для сравнительной грамматики славянских языков?
3. Характер древних славяно-германских отношений, их хронология и территориальные рамки.
4. Характер славяно-иранских языковых отношений и связей.
5. Как следует представлять территорию славянской прародины?
6. К какому периоду относится разделение славян на западную и восточную ветви?
7. Роль балканского субстрата в формировании южнославянских языков (главным образом болгарского).

В области сравнительно-исторического исследования славянских литературных языков

1. Лексические взаимодействия славянских литературных языков в разные периоды их истории.
2. Литературное двуязычие в истории славянских народов.
3. Типы лексической омонимии и системе отдельных славянских языков (общее и отдельное, индивидуальное).
4. Принципы составления дифференциальных двуязычных словарей славянских языков (русско-чешского, чешско-русского, чешско-польского и т. д.).
5. Принципы составления сопоставительного словаря современных славянских литературных языков.
6. Становление и развитие славянских общенародных разговорных языков в связи с историей литературных языков.

В области исторической диалектологии славянских языков и лингвистической географии

1. Каков объект лингвистической географии и, в связи с этим, какие явления отдельных славянских языков подлежат картографированию?
2. Что может дать лингвистическое картографирование для классификации славянских языков?
3. Возможно ли построение лингвистического атласа отдельных групп славянских языков или славянских языков в целом? Каково должно быть построение такого атласа? Какие данные можно ожидать от такого атласа для установления различий между языком и диалектами в их территориальном распространении?
4. Какова роль диалектов в формировании литературных славянских языков в разные исторические эпохи?

5. Отражают ли и в какой мере диалекты отдельных славянских языков племенные языки или они восходят к диалектам разных периодов эпохи феодальной раздробленности?

6. Какова роль субстрата в развитии фонетической системы и грамматического строя отдельных славянских языков и диалектов?

7. Каково значение диалектных данных для построения исторического синтаксиса отдельных славянских языков?

В области стилистики народно-поэтического творчества славянских народов

1. Изобразительные средства языков славянской народной поэзии и ее разных жанров.

Естественно, что к этому перечню можно было бы прибавить еще много и частных, и общих вопросов, например вопрос о том, как происходило развитие или угасание отдельных типов именных односоставных предложений в разных славянских языках, каковы были пути развития разных типов предикации в славянских языках, какие соответствия и различия наблюдаются между разными славянскими языками в процессах и закономерностях образования разрядов служебных слов и мн. др. Новые вопросы будут возникать и складываться в ходе обсуждения тех, которые выдвинуты раньше.

Обсуждение выдвинутой здесь проблематики, тесно связанной с ближайшими задачами, — организацией дискуссии по вопросу о лингвистическом структурализме и подготовкой к международному съезду славистов — явится началом той важной и ответственной работы, которую советским языковедам предстоит выполнить в шестой пятилетке. Конкретизация и углубленное развертывание пятилетнего плана развития нашей науки на основе решений XX съезда КПСС требует больших творческих усилий, направленных на обоснование и раскрытие внутреннего существа выдвигаемых проблем. Задача журнала «Вопросы языкознания» — всемерно способствовать творческой разработке марксистского языкознания путем планомерного и систематического выдвижения и конкретного обсуждения наиболее актуальных задач и проблем.

Л. А. БУЛАХОВСКИЙ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ В СЛАВЯНСКОМ СКЛОНЕНИИ

В практике сравнительно-исторических исследований значительную роль играет усовершенствование приемов обращения с грамматической аналогией и родственными ей понятиями.

В настоящей статье рассматриваются на конкретном материале некоторые вопросы, относящиеся к области, охватываемой общим понятием грамматической индукции, под которой понимаются изменения внешнего облика грамматических форм в результате влияния на них других форм, в том или другом отношении сходных с изменяющимися. Ближайшая задача статьи — показать, что приемы изучения явлений этого рода, применяемые в сравнительном языковедении восемьдесят с лишним лет, отнюдь не всегда столь произвольны в своих результатах, как это часто представляют себе некоторые исследователи, особенно начинающие, и что рациональное, достаточно осторожное обращение с материалом позволяет делать выводы, вполне поддающиеся конкретному обсуждению и проверке. При этом есть все основания думать, что соответствующие выводы, если не придавать им абсолютного значения, имеют определенную ценность.

Сеть морфологических ассоциаций, составляющих природу языковых форм, как известно, очень сложна, и обнаружение ее отдельных нитей требует в каждом случае учета довольно большого числа вероятностей, иногда, в наименее благоприятных для исследования случаях, — даже одних только возможностей. История применения сравнительно-исторического метода по отношению к грамматической аналогии и родственным ей явлениям показывает, что едва ли не в подавляющем большинстве случаев грамматической аналогией практически занимались только попутно, недостаточно обосновывая соображения о выборе тех, а не других принимаемых допущений. Последствием подобного подхода явилось то, что аналогия и т. п. оказывалась областью лингвистической науки, разработка которой практически оставалась до странности запущенной.

Имевшие место попытки пересмотреть с теоретической точки зрения трактовку соответствующих явлений также пока что мало помогли делу. После изложения вопросов грамматической аналогии в работе Г. Пауля «Prinzipien der Sprachgeschichte» (1880)—этом «евангелии» младограмматиков, отдельные разделы которого стали классическими, наиболее примечательными были соответствующие положения работ В. Вундта¹ и К. Фосслера² (у последнего, впрочем, более любопытные, чем убедительные),

¹ W. Wundt, *Völkerpsychologie*, Bd. I — *Die Sprache*, 4-e Aufl., Heidelberg, 1921, стр. 441—468.

² K. Vossler, *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft*, Heidelberg, 1904, стр. 67—69; его же, *Sprache als Schöpfung und Entwicklung*, Heidelberg, 1905, стр. 118—121.

небольшая статья Я. Розвадовского¹, а также отдельные высказывания О. Есперсена². Разработка интересующего нас вопроса имела место и в более позднее время³.

Попытки критики и усовершенствования метода, по крайней мере в области славянских языков, в недостаточной степени сопровождались улучшениями в практике исследования, хотя из числа частных работ в области славянского языкознания можно отметить, например, тщательно выполненную диссертацию Генр. Улашина⁴, на которой непосредственно отразилось влияние вундтовской классификации явлений. Внимательный анализ фактов аналогии содержат также некоторые книги, посвященные отдельным славянским языкам или всей славянской языковой семье⁵.

Последней по времени попыткой пересмотреть в теоретическом плане вопросы грамматической аналогии является статья В. М. Жирмунского, в которой анализируются предшествующие концепции и обосновывается не новый, впрочем, по существу тезис, что «... так называемая грамматическая аналогия представляет собою отнюдь не хаос случайных, разорванных языковых фактов, вступающих между собой в механические ассоциативные связи, и вместе с тем, разумеется, не результат намеренной и сознательной индивидуальной инициативы. Это — сложный и противоречивый диалектический процесс в развитии грамматического строя данного языка, совершающийся по внутренним законам его развития»⁶. Указывая далее, что «прогрессивный характер и внутренняя целесообразность этого процесса определяется его ролью в улучшении грамматических правил и тем самым в развертывании и совершенствовании грамматического строя данного языка как орудия общения людей»⁷, автор по существу берет только одну сторону явления. В. М. Жирмунский оставляет тем самым вне рассмотрения трудный и важный вопрос об аномалиях, т. е. о вызванных специальными мотивами отклонениях от «больших путей» аналогии, благодаря действию которой частности фонетического развития складываются в «фонетические законы», частности морфологического развития — в новые морфемы. Научиться определять с возможной точностью действие моментов, нарушающих аналогию, — и есть неотложная задача усовершенствования метода, задача, которой фактически так долго не уделялось надлежащего внимания.

При всем этом следует отметить, что и сейчас, через 80 лет после выхода в свет превосходной диссертации И. А. Бодуэна де Куртене «Опыт фоне-

¹ J. v. Rozwadowski, Ein quantitatives Gesetz der Sprachentwicklung, «Indogerm. Forsch.», Bd. XXV, 1909, стр. 38 и сл.

² O. Jespersen, Language, its nature, development and origin, 1922 (1923), стр. 93 и сл., 162 и сл., 289.

³ Из новейшей литературы см.: Ed. Hermann, Lautgesetz und Analogie, «Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen», Phil.-hist. Kl. Neue Folge, Bd. XXIII, 3, Berlin, 1931; J. Kurylowicz, Études indoeuropéennes, I, Kraków, 1935, гл. V; его же, La nature des procès dits «analogiques», «Acta Linguistica», Copenhagen, 1945—49, vol. V, fasc. I, стр. 15—37; V. I. Skaličková, O analogii a anomálii, «Slovo a slovesnost», ročn. XI, č. 4, 1949, стр. 145—162.

⁴ H. Ulašin, Über die Entpalatalisierung der urslav. *e*-Laute im Polnischen, Leipzig, 1905.

⁵ См.: W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, Bd. II—Formenlehre und Syntax, Göttingen, 1928; А. М. Селенцев, Славянское языкознание, т. I — Западнославянские языки, М., 1941; A. Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, Heidelberg, 1914; F. Lorentz, Geschichte der pomoranischen (kassubischen) Sprache, Berlin — Leipzig, 1925; J. Łoś, Grammatyka polska, część III, Odmiennia (fleksja) historyczna, Lwów — Warszawa — Kraków, 1927; F. Trávníček, Historická mluvnická československá, Praha, 1935, и др.

⁶ В. М. Жирмунский, Внутренние законы развития языка и проблема грамматической аналогии, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, стр. 110.

⁷ Там же.

тики резьянских говоров»¹, образцовыми для славянского языкознания остаются некоторые замечания автора об аналогии, отличающиеся большой конкретностью постановки соответствующих вопросов. Таково, например, выдвинутое им положение об особой силе индукции со стороны именительного падежа у одушевленных имен², хотя в этом вопросе, по крайней мере для отдельных случаев, возможен спор, не касается ли тут дело главным образом названий только лиц или лиц и животных (домашних и диких). Можно сомневаться в правильности положения Бодуэна де Куртене, что «самым употребительным падежом... второй категории существительных (обозначающих предметы неодушевленные) является, кроме *locativ'a*, *accusativus*»³, однако и это положение может быть предметом определенного плодотворного научного спора, и поэтому вполне целесообразно рассмотрение его на более широком (а не только резьянском) материале.

Особенно опасен в изучении интересующего нас вопроса априоризм — желание иметь дело с закономерностями там, где они еще не обнаружены. Ассоциации речевых звуков в индивидуальном сознании, повидимому, отлагаются в виде системы⁴; исторические изменения звуков речи, принадлежащие относительно замкнутым коллективам, видимо, также отлагаются как последовательные (закономерные) замещения («фонетические законы») ⁵; что же касается областей языка, связанных с собственно смысловыми моментами (не исключая форм словоизменения), то понятие системы в замещениях здесь весьма относительно. При всех уступках, которые мы готовы сделать встречающимся частным отклонениям, при всей готовности довольствоваться в результате систематизации материала даже относительно небольшими группами, в которые укладываются факты, — мы нередко сталкиваемся с такой пестротой материала, которая и вообще едва ли может быть упорядочена. При этом нет определенной надежды, что более осязательные результаты будут получены по отношению к мелким единицам-говорам или паречиям сравнительно с литературными языками, так как мы не знаем, получают ли языковые факты морфологического характера большее единообразие в малых коллективах или же в больших, где они «обтачиваются» в процессе соприкосновения и борьбы диалектов.

В настоящее время слабым сторонам сравнительно-исторического метода уделяют обостренное внимание с тем, чтобы найти средства для их преодоления. В этих условиях большое значение приобретает изучение фактов аналогии и родственных ей явлений, изучение, при помощи которого можно было бы уточнить соответствующие факты и поставить их трактовку на реальную почву.

Такого рода работа нелегка и требует привлечения большого количества фактов, но начать ее необходимо, хотя бы и ограничивая временно свою задачу рассмотрением небольшого круга явлений. В предлагаемых ниже очерках и ставится задача — наметить некоторые общие линии возможного исследования пока что одной ограниченной группы явлений, связанных с тем, между какими категориями именного склонения действует вообще индукция? Анализ конкретного материала славянских языков должен при

¹ И. Бодуэн де Куртене, Опыт фонетики резьянских говоров, Варшава — СПб., 1875.

² См. там же, §§ 166—167.

³ Там же, § 166.

⁴ Важны в этом отношении специальные изучения ранней детской речи.

⁵ Не касаясь, однако, особенно трудного вопроса об ассимиляции: диссимиляции.

этом показать с возможной определенностью, когда и при каких условиях возникает действие индукции, на основании каких признаков возможно суждение о ее направлении и степени вероятности тех или иных ее результатов, и подвести к заключению о степени распространенности тех или других наблюдаемых отношений.

Комплекс явлений, которые в практике языкознания чаще именуется а н а л о г и ч е с к и м и, принципиально сводится к воздействию друг на друга в большей или меньшей мере осемасположенных морфологических элементов¹. По отношению к ним (как и к соответствующим собственно звуковым явлениям) ряд ученых пользовался общим термином и н д у к ц и и, и этот термин в различных его производных (индуцирующие, индуцируемые категории и т. п.) стоит сохранить как общий для всех морфологических явлений этого порядка в качестве родового понятия. Понятие грамматической аналогии целесообразно при этом приурочить к более узкому значению о п о с р е д с т в о в а н н о й и н д у к ц и и.

Иногда трудно бывает решить (и это один из острых вопросов сравнительно-исторического метода), с чем на самом деле нужно считаться в первую очередь при объяснении изменений, пережитых соответствующими формами, — с п р я м о ю л и н д у к ц и е й со стороны одной формы на другую или же с о п о с р е д с т в о в а н н о й индукцией — «разрешением пропорции». П р я м а я индукция предполагает прежде всего определенное взаимодействие падежных примет (окончаний и связанных с ними особенностей основы) в одних и тех же словах (лексемах); например, замену старой формы дат. падежа мн. числа *селомъ* формой *села* в результате влияния окончания им.-вин. падежей мн. числа *села*. О п о с р е д с т в о в а н н а я индукция (собственно г р а м м а т и ч е с к а я а н а л о г и я) основана на сближениях, которые могут наблюдаться между р а з н ы м и парадигмами (особенностями различных склонений). Например, оттянутое ударение в им. падеже мн. числа *жѣны* вместо старого *женѣ* у существительных женского рода, имеющих в единственном числе формы именительного-винительного падежей с ударением на окончании: *женá* — *женú*, является результатом грамматической аналогии, или, иначе, опосредствованной индукции, со стороны типа имен существительных женского рода с подвижным ударением: *водá* : *вóду*, им. падеж мн. числа *вóды* и т. п.

Собственно аналогическое явление с большой вероятностью можно видеть и в определенных фактах склонения в сербском языке. Местный падеж множественного числа в литературном сербском языке и лежащих в его основе говорах, как известно, имеет то же окончание, что и дательный-творительный-*ма*. Индукцию формы дательного-творительного на местный как прямую предполагать нет никаких оснований. Правдоподобно поэтому объяснение А. Белича, что окончание дательного-творительного -*ма* вытеснило в течение XVI в. старое окончание местного (предложного) аналогически². С отпадением в ряде сербских говоров конечного согласного *x* частично произошло отождествление форм творительного и местного падежей множественного числа; ср. *пољи* : *пољи* (*x*) и случаи вроде

¹ См. W. W u n d t, указ. соч., стр. 462 и сл. Что касается материальных значений (значений корней и основ), которые тоже подвергаются прямому ассоциативному воздействию со стороны других подобных, то исключение и этих явлений в число аналогических, как это делал, например, Б. Дельбрюк (B. D e l b r ü c k, Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, 6-е Aufl., Leipzig, 1919, гл. 7), слишком расширяет понятие «аналогии» и нуждается, поскольку дело идет об исследовательской практике, в другом терминологическом обозначении.

² А. Б е л и ч, О двојини у словенским језицима, Београд, 1932, стр. 120—121.

за колѣи : на колѣи(х)¹. По аналогии в функции местного падежа множественного числа могла начать употребляться форма дательного-творительного, причем с течением времени такое ее употребление становилось все более широким.

Различение прямой и опосредствованной индукции (грамматической аналогии), при всем своем значении, имеет лишь довольно относительную силу. Так, например, в практике исследования нам все время встречаются факты, объясняемые непосредственной индукцией, но вместе с тем в той или иной степени связанные также с воздействием фактов аналогического порядка. В восточных и западных славянских языках в форме творительного падежа единственного числа бывших *о*-основ обнаруживается, например, редуцированный гласный *-ѣ-*; ср. др.-русск. *мостѣмъ*, *сорогѣмъ* и т. п. (вместо исконных *мостомъ*, *сорогомъ* и т. п.). В этой замене естественно видеть прямую индукцию бывшего именительного падежа единственного числа: *мостъ*, *ворогъ* и т. п. Но осуществилась она, по всей видимости, не непосредственно, а по аналогии с отношениями, уже существовавшими у *ѣ*-основ: *сынъ* : *сынѣмъ*, *медъ* : *медѣмъ* и т. п.

Другой пример. Есть достаточно надежные основания считать засвидетельствованной диалектами словенского языка индукцию местного падежа множественного числа мужского твердого склонения на дательный этого же числа *zobēm*, *stolēm*, *grobēm* — под влиянием *zobēh*, *stolēh*, *grobēh*. Следует указать, однако, что эта индукция наблюдается в ограниченных условиях — при ударенном гласном флексии *и*, соответственно, при определенном характере корневого гласного, имеющего нисходящую долготу или краткость в односложном существительном именительного-винительного падежей единственного числа. Однако было бы упрощением фактов рассматривать данную индукцию как непосредственную. Определенную роль в ее возникновении играли отношения, исконно существовавшие у местоимения *tъ*, *ta*, *to*, имевшего на словенской почве форму дат. падежа мн. числа *tēm*: местн. падежа *pri tēh*. Меньше оснований думать о роли словенского параллелизма этих падежей, т. е. о роли наличия у них общего окончания *-и* в единственном числе.

Для говоров, где первая часть окончания дательного падежа звучит *je* (*-m*) : *zobjēm*, Рамовиш обоснованно подчеркивает роль влияния им. падежа мн. числа *zobjē*².

Еще один пример. По отношению к форме родительного падежа единственного числа женского склонения на *-а* в белокранском наречии словенского языка (имеются в виду формы *sestri*, *roki*) предполагают индукцию дательного-местного падежей, т. е. окончания *-i*, присущего этим падежам, усвоенного здесь, в свою очередь, из бывших *ja*-основ (т. е. из соответственного мягкого склонения)³. Данную индукцию, хотя она осуществляется

¹ Диалектный материал приводится в работе в написаниях (в транскрипции) авторов соответствующих книг и статей. Унифицировать такой материал без подробных объяснений рискованно, а подробные объяснения отыскли бы читателей далеко в сторону. Подготовленных читателей, т. е. знакомых с соответствующими литературными языками и научной транскрипцией, понимание приводимых примеров, думаем, вряд ли затруднит, тем более, что в случаях, где существует действительная опасность неверного чтения, угрожающего смыслу, при приведенных примерах сделаны необходимые указания.

² F. R a m o v š. Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana, [1952], стр. 47. К сожалению, Рамовиш не касается при рассмотрении данного вопроса акцентных отношений и не указывает, как в соответствующих говорах относятся между собою, например *zobēm* и *zobēh*.

³ Доказательства этого приведены у Ф. Рамовиша (указ. соч., стр. 56—61). Характерное для белокранского наречия колебание в родительном падеже единственного числа (*ribi* или *ribe*) повторяет то, что наблюдается в дательном-местном, где конечное *e* (*е*) — из *i*.

в пределах одной и той же парадигмы, нельзя, однако, считать прямой в точном значении понятия, поскольку сохраняет свою роль также и совпадение окончаний родительного-дательного-местного у *ь*-основ (если не считать специфического места ударения — конечного у некоторых слов этого склонения в местном падеже).

В нашем изложении с возможной определенностью проводится очень важное различие типов индукции: прямой и относительно-прямой, с одной стороны, и опосредствованной (аналогической), с другой. Что же касается различия в пределах прямой и относительно-прямой индукции — индукции полной и частичной, а также и индукции собственно флективных элементов, индукции элементов осново-флективных, наконец, индукции, касающейся материальной (собственно смысловой) части слов, то, повидимому, практически целесообразнее их не выделять в особые разделы, и потому в дальнейшем соответствующие замечания даются только попутно.

Важно также подчеркнуть роль и такого издавна хорошо известного фактора, как *к о н т а к т н ы е* влияния. Несомненно, что ряд исторических изменений флексии обусловлен не только действием ассоциаций форм в границах одних и тех же слов или разных слов одинакового морфологического типа, но и тем, какие *с о г л а с у е м ы е* формы других категорий (прилагательных, местоимений) оказывали влияние на соответственные изменения имен существительных. Это случай вроде сербского и словенского окончания родительного падежа единственного числа бывших *а*-основ на *-ě*, с восходящей долготой, заимствованного от местоимений и членных прилагательных, где это долгое *e* — продукт стяжения конечных гласных. Русские диалектные формы родительного падежа единственного числа этого же склонения (*жене, бабе, реке*) и дательного-предложного единственного числа (*женѣ, бабѣ, рекѣ*) также появились под влиянием совпадения тех же падежей у прилагательных (*старой, глубокой* и т. п.).

Естественно среди явлений индукции различать: а) такие, которые касаются изменения звуковой оболочки материальной (смысловой) части слова, т. е. случаи вроде: русск. *омѣле, берѣзе* под влиянием *омѣла, берѣза, омѣлы, берѣзы* и т. п.; польск. *ścianie, żonie* под влиянием *ściana, żona* и т. п. (др.-польск. *ścienie, żenie*); б) такие, в результате которых изменяются приметы соответствующей группы склонения; ср. проникновение из некоторых падежей *ь*-основ приметы *-og-* в другие, как, например, в *о*-основы в древнем словенском: творительный падеж мн. числа *darovmi, kosovmi*; в) такие, которые приводят к замене в определенной категории склонения одного окончания другим в результате прямой индукции; ср. вытеснение окончаниями дательного и творительного падежей множественного числа *-m* и *-mi* окончания *-ma* двойственного числа и наоборот.

Относительно нередки и случаи, когда на те или иные падежи влияет надежное окончание, но своему характеру пригодное для того, чтобы стать элементом новой основы; ср. серб. *јелени : јеленима* и т. п.

Различая эти виды индукции в своем изложении, мы не находим, однако, полезным располагать в соответствии с этими видами самый материал, и свои замечания о тех или других связях индуктивного характера делаем попутно, полагая, что этого достаточно для нужной ориентировки в фактах.

Необходимо сделать несколько предварительных общих замечаний относительно последовательности действия индукции и ее отношения к имеющимся в языке фонетическим закономерностям.

1. Выступая в языке в качестве *т е н д е н ц и и*, воздействие индукции, как это хорошо известно, далеко не во всех случаях осуществляется

полностью. Нередко бывает так, что, осуществившись, скажем, в десятке слов, памятившаяся тенденция может оказаться бессильной в одиннадцатом и т. д.

2. Воздействие индукции не всегда идет по направлению от именительного падежа на другие падежи парадигмы; встречается и обратное воздействие, например, косвенных падежей на именительный по отношению к другим словам. При чем не всегда есть надежные доказательства того, что это взаимодействие происходило в пределах той или иной парадигмы в разное время.

3. Со всей определенностью надо подчеркнуть хорошо известный из практики, но иногда игнорируемый в теории тот несомненный факт, что парадигмы склонения, вообще говоря, не отличаются полной определенностью: говорящий употребляет те или другие из имеющихся вариантов форм, при этом каждая из дублетных форм далеко не всегда бывает связана с какой-нибудь узко-смысловой или стилистической установкой.

4. Индукция может иногда сломить фонетические законы того или иного языка. Однако ее воздействие ограничивается главным образом фонетическими законами уже замирающими, действующими по исторической инерции; сломить живые фонетические законы индукция обыкновенно бывает не в состоянии. Так, например, аномалий, вызванных действием формальной индукции, мы не наблюдаем в случаях, обусловленных такими живыми фонетическими законами, как русское аканье или закон оглушения конечных согласных. С другой стороны, ср. украинский закон «йканья» («ікання»), т. е. переход гласных звуков *о* и *е* в *і* в «старых» закрытых слогах: *він* «он», *ніс* «нос» и «нес», *віл* «вол», *вів* «вел» и т. п., который имеет в сознании говорящих уже только относительную опору, поскольку со времени падения редуцированных гласных не существует отчетливо выраженного различия между слогами, после которых выпал редуцированный гласный, и такими, где его никогда не было. Ср. *міг*, но *могла*, *могло*, *могли*, а по диалектам *мігла*, *мігло* и т. д. Действие такого, например, разграничения, как отсутствие перехода *о* в *і* в полногласных формах, при наличии этого перехода в случаях с рефлексацией древнейшей славянской новоакутовой интонации (*бóрон*, *бóлос*, *кб́лос*, по род. падеж мн. числа *борі́д*, *голі́в*; *борі́дка*, *голі́ска*), расшатало признаки, на которые можно было бы опереться теперь при различении и закрытых слогах *о* и *і* из *о*, и т. д. При таком положении вещей индукция довольно легко преодолевает инерцию народной памяти и может, с одной стороны, нарушить употребление форм с *і* в закрытом слоге в пользу нефонетических *о* или *е*: *содовоз*, *затон*, *зотор*, а с другой — привести к переносу *і* в закрытый слог в тех случаях, где по старым закономерностям его не должно было быть: *хірт* вместо обычного *хорт* (в данном слове *о* — из *г*), *погірдний* (тоже). При этом обращает на себя внимание тот факт, что обратное направление индукции — проникновение *і* в открытые слоги представляет, вообще говоря, явление значительно более редкое. Этим еще раз подчеркивается, что колебания в употреблении *і* являются особенностью именно закрытых слогов: *борідонька*, *голівонька* и подобные ласкательные возникли, надо думать, как производные не на основе *борода*, *голова*, а непосредственно от *борі́дка*, *голі́ска* и т. п.

Изложенные выше общие соображения применяются в предлагаемой статье к вопросам развития флексии имен существительных в связи с развитием одушевленности: неодушевленности. На материале, относящемся к этим вопросам, мы и хотели бы познакомить читателя с некоторыми приемами изучения прямой надежной индукции.

*

При отборе морфологических вариантов в славянских языках наблюдается, как известно, характерное различие именных флексий по признаку лица или одушевленности, с одной стороны, и неодушевленности, с другой.

Грамматическое различие одушевленности : неодушевленности в склонении имен существительных, как известно, получает в славянских языках четкое выражение относительно поздно — в основном уже в период их исторической жизни. Источник (отправной пункт) этого различия для одной из этих категорий, а именно — для винительного-родительного падежей мужского рода, почти не вызывает сомнений: его надо видеть, как в свое время указал В. Вондрак, в форме винительного падежа местоимений *kogo?* — *čylo?*, а отчасти, может быть, и личных — *mene*, *tebe* (родительный-винительный падежи)¹. Этим объясняется и «отставание» винительного падежа множественного числа, например в чешском, где эта форма сохраняет у «твердых» основ старое *u*, не замещаемое и сейчас окончанием родительного падежа даже у одушевленных существительных.

Еще позже оформилось различие по признаку одушевленности: неодушевленности (существ: не-существ) в некоторых других категориях склонения (падежах — числах).

В качестве окончаний, восходящих к определенным основам и сначала употреблявшихся в смысловом отношении безразлично, может быть, например, указано окончание родительного падежа единственного числа мужского склонения *-u*. Теперь во всех славянских языках, кроме польского и словенского, это окончание уже невозможно у одушевленных имен существительных, да и в польском и словенском языках оно ограничено в употреблении (см. в польском употребление формы на *u* только у слова *wół* — *wołu*, в словенском — у слова *sin* — *sinu*, при новом *sinu*).

Окончание дательного падежа единственного числа *ovi*-старых основ на *-u* в некоторых языках обнаруживает тенденцию становиться приметой названий лиц (тенденцию, ни в одном языке не обладавшую до конца). Укажем в чешском *chlapu* и *chlapovi*, но только *dubu*, хотя такое же окончание принадлежит двум одушевленным: *člověku*, *bohū*. В словацком также *chlapovi*, но *dubu*. В нижнелужицком окончание *-oju* (из *-ovi*) предпочтительно употребляется у одушевленных, хотя распространено и у других существительных, если их родительный и местный оканчиваются на *-u*; ср. и *-eju* у слов на *-ar*. Это же окончание отчасти (слабо) распространено в украинском, где оно предпочтительно употребляется у названий лиц. Польское *-owie* в именительном падеже множественного числа «твердого» мужского склонения также восходит к основам на *-u* и еще в памятниках не приобрело роли специфического окончания имен лиц². Параллельное ему кашубское *-oŕe*: см. у таких существительных, как *bratoŕe*, *panoŕe*, *g^{no}osoŕe* «гости», хотя это же окончание возможно и у названий животных: *krėk^{no}oŕe* «вороны», *w^{no}oloŕe*, *zėŕcėŕe*³. В чешском окончание *-ovė* (из *-ove*) в памятниках встречалось у различных имен существительных, в современном же литературном языке — преимущественно у названий лиц, изредка — у названий существ вообще, совсем редко — у других существительных (последнее

¹ Ср.: Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, т. II, Киев, 1953, стр. 140—143; П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка. Морфология, М., 1953, § 33; Н. Я. Черных, Историческая грамматика русского языка, М., 1954, § 66.

² См. J. Łoś, указ. соч., § 90.

³ Об этих и параллельных окончаниях см. F. Logentz, указ. соч., § 169.

встречается только в высоком слогe: *hříchové* «грехи», *skutkové* «дела, поступки, подвиги»); ср. словацкое *-ovia: synovia, panovia, mužovia*¹.

В кашубском языке с различием одушевленности: неодушевленности связано сохранение старого окончания мужского склонения (о-основ) *-ə* из *-i*, встречающееся у немногих названий людей и животных: *bracə* «братья», *ptwǫżə* «птицы» (ср. укр. *птаха*)².

В болгарском языке рефлекс старого *-ě* (в именительном-винительном множественного числа существительных женского рода) в виде *-e* выступают почти у одних одушевленных имен — *овцѐ, свинѐ, змѐ, змиѐ* «змеи». Из предметных существительных с окончанием *-e* может употребляться только *свещѐ*³.

Некоторую роль при усвоении существительными окончаний из других парадигм может играть категория лица определенного пола. Это имеет место, например, в чешском и словацком языках, где названия мужчин, принадлежащие к женскому склонению на *-a*, получают в именительном падеже множественного числа окончания, раньше характеризовавшие имена мужского рода *ъ-основ*, — *-ové, -ovia: sluhové, gladykové*, словацк. *sluhovia, gazdovia* «хозяева» и т. п.

С выделением среди имен существительных названий лиц (а не вообще «одушевленных» существительных) связано распространение старого окончания *ъ-основ -ove (-ove)* в украинских говорах Подкарпатской Руси. Это окончание встречается здесь в именительном падеже множественного числа только у имен существительных мужского рода — названий лиц, например: *світбѐ, братбѐ, майстрбѐ, панбѐ, синбѐ, кумбѐ, дружбѐ* (дружба — «мужской свадебный чин») и т. п.⁴

В сербском литературном языке переход *к, г, х в ч, ж, ш* в личных именах, в основном, теперь отсутствует: *Анки, Стојанки, Мики* и т. п.; у нарицательных же его нет только при специальном фонетическом условии — если основа заканчивается на *-цк, -чк, -зг, -сх: коцки* «кубику», *тачки* «точке» (хотя *тачки* и допускается), *мазги* «мулу», *пасхи*.

Большая стойкость старого окончания именительного падежа множественного числа *-и* наблюдается в русском языке именно у названий лиц в трех следующих словах: *соседи, черти* и (устар.) *холопи*.

Противопоставление названий лиц мужского рода другим именам существительным этой же категории в еще большей степени типично для верхнелужицкого языка. Противопоставление это тем более примечательно, что оно отразилось в именительном падеже множественного числа одинаково у окончаний — потомков *о-* и *ъ-*, отчасти и других основ; ср.: *paduši* «воры», *pacholi* «мальчики, парни», *posli, sušodzi, cerci, wojacy, kupcy, pětscy* и т. п.; *mužovje, mužojo, synojo, wótojo, rybakojo* и т. п.

И в нижнелужицком языке, в котором современные окончания именительного падежа множественного числа почти всегда являются результатом индукции винительного падежа, отдельные формы старого именительного сохраняются только у названий людей (лиц): *suseži* «соседи», *svaži* «сваты».

С меньшей определенностью, чем в случаях типа *соседи* и т. п., категория одушевленности в русском литературном языке выступает у имен

¹ См. F. Trávníček, указ. соч., § 286.

² F. Lorentz, указ. соч., § 169. О некоторых существенных подробностях см. там же.

³ Л. Андрейчин («Грамматика болгарского языка», перевод с болг., М., 1949, § 152) дает для этой категории только *овцѐ* и *свинѐ*; В. Н. Щепкин («Учебник болгарского языка», М., 1909, § 39) — все указанные слова.

⁴ См.: Г. В. Панькевич. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, Прага, 1938, стр. 189 и 203; W. Kułaszkiewicz, ред. в «Rocznik slawistyczny», t. XV (1939), стр. 98.

существительных мужского рода, оканчивающихся в именительном падеже множественного числа на *-и* (или вторичное *-и*). Здесь у одушевленных существительных ударение преимущественно падает на корневой слог: *во́ры, мо́ты, трéсы, бо́ги, бо́лки* и т. п., в то время как у других существительных этой категории, отличающихся также исконной подвижностью ударения, этой последовательности не наблюдается. Есть все основания думать, что ударение на корневом слоге отражает старое место ударения данной формы, оказавшейся, таким образом, более влиятельной именно у одушевленных существительных. Характерно, что от соответствующих слов обыкновенно невозможен вариант с окончанием *-а*, перетягивающим на себя ударение. В то же время от слов, не обозначающих существ, даже если они имеют ударение на корневом гласном, возможны, даже как более употребительные, формы на *-а*: *сто́ги — стога́, сне́ги — снегá* и т. п.

Заслуживает внимания также наблюдающаяся в современном языке, хотя и не ярко выраженная тенденция противопоставлять по ударению и соответственно — по окончаниям одушевленные и неодушевленные существительные в случаях, где последнее значение является производным по отношению к первому; ср.: *со́боли* (о зверях): *соболя́* (о мехах); *бо́ровы* (о животных): *боровá* «части дымоходов».

Однако отметим, что сохранение накоренного ударения у одушевленных имен существительных мужского рода в косвенных падежах (родительном, дательном, творительном и предложном) наблюдается только у немногих названий лиц: *мо́тов, мо́там..., тр. сов, тр. сам*, но обычными остаются, например, *во́ров, во́рам...*¹. Таким образом, воздействие индукции здесь очень неравномерно. В украинском языке старое окончание именительного падежа множественного числа *о-основ -і* сохранилось с соответствующим изменением *g* в *z* перед ним в одном только слове *дру́зі* (ср. и русск. *друз-ья*). В лемковских говорах на восток от Лабирца отмечена в качестве единственного примера форма *гойсу* «волки»².

Приведенный материал показывает действие тенденции, направленной к использованию былых вариантов падежных окончаний, восходящих к различным основам, для различения одушевленности (лиц) и неодушевленности, а также большую сопротивляемость одушевленных существительных или названий лиц индукции со стороны других форм парадигмы. В связи с этим естественно было бы ожидать и большей силы индукции формы именительного падежа одушевленных существительных (и названий лиц) на остальные формы. В известной мере подобная тенденция действительно существует, хотя строгой последовательностью она и не отличается.

Особую роль форм именительного падежа подчеркивал, как мы указывали выше, И. А. Бодуэн де Куртене. В своей книге, посвященной фонетике резьянских говоров (см. выше), он писал: «...не кажется неоспоримым тот факт, что в резьянских говорах различие существительных, выражающих одушевленные существа, от существительных, обозначающих предметы неодушевленные, в том смысле, что первым свойственны по преимуществу ударенные окончания (насколько этому не мешают или звуковые законы... или же исконное нахождение ударения не на окончании), между тем как во вто-

¹ У слова *ду́хи* индукция именительного падежа множественного числа на другие падежи осуществилась в литературном языке на глазах истории — во второй половине XIX в. (ср. Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954, стр. 178), но здесь специальная роль могла принадлежать отталкиванию от омоимных форм *духóв, духáм...*

² См. Г. В. Нанькевич, указ. соч., стр. 189, 213.

рых ударением сопровождается один из предшествующих окончанию слогов»¹. Соглашаясь с Бодуэном де Куртенэ в принципиальном отношении, нужно, однако, внести обязательные исправления в его положения, касающиеся специально резьянского наречия. Акцентологическая сторона дела (фонетический закон) для этого наречия вполне ясна: ударение с конечных слогов закономерно оттягивается на предшествующий долгий по происхождению слог, так что индукцию следует учитывать только для слогов по происхождению предударных кратких. По отношению к ним факты распределяются так. Случаи типа: *kozà* «коза», *porà* «дура», *ohà* «отец», *sastrà* «сестра», *tetà* «тетка», *žanà* «жена»; сюда же условно можно отнести и собирательное *gospodà* (*hospodà*), — указывают, что старые охотники со значением лиц и название домашнего животного *koza* сохраняют старое место ударения. Но надо принять во внимание и то, что серьезных условий для изменения места ударения в смысле возможности прямой индукции эта парадигма и не имела, поскольку (для единственного, по крайней мере, числа) во всех падежах окончание в ней было подударным. Речь могла бы идти лишь о сопротивлении со стороны этой парадигмы воздействию аналогии параллельного типа склонения с подвижным ударением (с накоренным ударением в винительном падеже единственного числа и в именительном-винительном множественного). Обращает, однако, на себя внимание, что два названия насекомых *bûha* «блоха» и *ōsa* «оса» выступают с ударением на корне, как и слово *ōrsa* «овца», причем все эти слова, повидимому, имели искони подвижный тип ударения. Для первых двух очень вероятна индукция, основанная на характере понятий и шедшая со стороны именительного-винительного падежа множественного числа. Что касается неодушевленных существительных, то Бодуэн де Куртенэ был, вероятно, прав, предполагая для них индукцию винительного падежа единственного числа. Так, повидимому, надо понимать *gèra* (*hōra*); ср. русск. *gorà*: *gōry*, серб.-чакав. *gorà*: *gōru*; *jìgla* (*jihla*, *jichra*), *moèlla*, *Moèja* «название местности — Межа» (ср. и серб.-чакав. *iglà*: *ìglu*, *mejà*: *mèiu*) и др. Надо думать, однако, что такие существительные, как *nōga* (*nōha*), *sòlza* «слеза», получили оттянутое на корневой слог ударение скорее от форм именительного-винительного падежей множественного числа (которые, сравнительно с именительным падежом единственного числа, у части слов рано подверглись влиянию подвижного типа).

Впрочем относительно *mahlà* «мгла, туман» и *ràsà* (при *ràsa*) Бодуэн де Куртенэ утверждает, что это «слова, употребляемые в резьянском по преимуществу в nominativ'e»².

В резьянском наречии словенского языка форма дательного падежа множественного числа звучит *utrûcin* «детям» под влиянием именительного *utruci* = *otrocè*³.

В словинском наречии кашубского языка несколько слов мужского склонения под влиянием именительного падежа множественного числа получили в дательном множественного перед окончанием -*t* гласный -*i*-. Почти все соответствующие слова — одушевленные существительные: *lãđĩm* (им. *lãđä*) «людям», *kũcĩĩm* «коням», *kõurjĩm* «лебедям» (им. падеж ед. числа *koũr*); ср. верхнелуж. *kołr* (русс. *колик*); в Гросс-Гарде еще *psĩm*, которое, впрочем, по предположению Ф. Лорентца⁴,

¹ И. Бодуэн де Куртенэ, указ. соч., § 167.

² Там же.

³ См. там же, § 270.

⁴ F. L o r e n t z, *Slovinzische Grammatik*, СПб., 1903, § 117; там же см. относительно *ä* как рефлекс *i* (§ 37).

может соответствовать древнейшему славянскому **рьсѣтъ*, — предположение, особенно мало вероятное на фоне других отмеченных слов с *-ѣтъ*. Единственное среди них неодушевленное существительное — *рѣбѣѣтъ* (им. падеж мн. числа *рѣбѣѣ* «деньги») — *pluralia tantum*.

Особняком стоит в кашубском языке, притом только в двух говорах, форма творительного падежа множественного числа *kùjeńimi* (*kòuńimi*).

Влияние именительного падежа единственного числа названий лиц на другие формы парадигмы наблюдается в украинском языке у существительных с суффиксом *-ець* (род. падеж *-ця*). В них *-о-* предшествующего слога не переходит в *-і-* в тех формах парадигмы, где такой переход должен был бы появиться фонетически, в случаях вроде: *бездбалець* «несчастный человек»: *бездбальця*, *бездбальцесі* и т. д.; *богомалець*: *богомальця...*; *борець*: *борця...*; *ловець*: *ловеця...*; *отець*: *отця* (реже — с фонетическим *-і-* — *вітця*); *чорноморець*: *чорноморця...*; *приходець*: *приходця...*; *дозорець*: *дозорця...*; *вїборець*: *вїборця...* и др. Среди слов этого рода преобладают слова с ударением на корневом гласном.

Вне поля действия индукции именительного падежа единственного числа из одушевленных существительных (названий лиц) остаются, однако, немногие, такие, как: *боєць*: *бійця*; *молотобоець*: *молотобійця*; *гонієць*: *гінця* (при диалектном даже *гінєць*); *віходець*: *віхідця*, т. е. случаи почти сплошь с корневым безударным слогом.

В слове *удівієць* «вдовец» влияние остальных форм парадигмы изменило даже именительный падеж единственного числа.

Что касается названия птицы *кібець* (род. падеж *кібця*) «кобчик», то здесь необычное для одушевленных существительных направление индукции надо объяснить, вероятно, влиянием весьма употребительной параллельной формы уменьшительного — *кібчик*.

Существительные с другими значениями в относительно редких случаях (сравнительно с названиями лиц) обнаруживают выравнивание по именительному падежу единственного числа. У них преобладает индукция, идущая, наоборот, от остальных форм парадигмы на именительный единственного числа: *стілець* «стул»: *стільця*; *взірець* «образец»: *взірця*; *острівець*: *острівця*; *кінєць*: *кінця*.

Мотивы (о причинах говорить не приходится), по которым у некоторых (очень немногих) неодушевленных существительных в парадигме возобладало *-о-* под влиянием именительного падежа единственного числа, вообще говоря, не вполне ясны, возможны только догадки в отношении отдельных случаев.

Например, для *корієць*, род. падеж *корця* [значения — 1) мера сыпучих тел; 2) железный или деревянный ковш] правдоподобно предположение, что слово представляет собою старое заимствование из польского — *korzec*¹.

Гостієць, род. падеж *гостця* (со значением — «хронический ревматизм в суставах») — слово, во многих отношениях неясное. В соответствии своему прямому значению оно, скорее всего, представляет народно-этимологическое переосмысление прежнего **костець* под влиянием, вероятно, одушевленного *гість*, род. падеж *гостя* «гость»; ср. в словаре под ред. Б. Гринченко: «...По народному верованию *гостець* в скрытом состоянии есть у каждого человека и обнаруживается ревматическими болями, сыпями, чирьями, ранами»². Это верование, вероятно, дало повод к суеверно-мифологическому представлению о носителе этой болезни.

Несколько иначе, чем в существительных на *-ець*, развивается индук-

¹ Об этимологии слова см. А. В г ü с к н е r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1927, стр. 258.

² Б. Д. Г р и н ч е н к о, Словарь украинского языка, 1925, стр. 360.

ция в одушевленных существительных с суффиксом *-овець*, род. падеж *-овця*; здесь сказывается влияние именительного падежа единственного числа на косвенные падежи. См.: *народóвець*, *урядóвець*, *службóвець*, *наукóвець* и т. п., однако количество исключений, т. е. случаев обратного влияния остальных форм парадигмы на именительный падеж единственного числа, здесь больше: *верхівéць*; род. падеж *верхівця*; *фахівéць*; род. падеж *фахівця*; *початківéць*, *значківéць* и т. п. В большинстве случаев это, однако, слова позднего и нестарого происхождения. Обращает на себя внимание последовательность индукции при этом суффиксе в польском языке. В косвенных падежах существительных *fachowiec*, *bezdogmatowiec*, где *-o-* оказывается в закрытом слоге, нет обычно фонетически закономерного перехода *-o-* в *-ó-*, что объясняется влиянием именительного падежа единственного числа. Однако и в польском эта категория существительных состоит едва ли не сплошь из поздних по образованию слов.

В украинском и польском интересны существительные на *-овець* (укр.), *-owiec* (польск.), образованные от прилагательных, у которых *-ов-*, *-ow-* представляет собою слабо изолирующийся элемент соответствующего прилагательного. В польском языке эти существительные неодушевленные, и тем не менее они имеют в косвенных падежах тоже фонетически необъяснимое произношение *o*, вероятно, благодаря сильной поддержке прилагательных на *-owu*: *jałowiec* : *jałowci* «можевеловый»; *jałowy* «сухой»; *sirowiec* : *sirowci* «чугун; сыромять, сыромятный ремень»; *sirowy* «сырой». В украинском языке слово *сировéць* «хлебный квас»; род. падеж *сировцю* : *сировій* «сырой, влажный» едва ли не чаще выступает в виде *сирівéць*; род. падеж *сирівцю*. При рассмотрении этого существительного неодушевленного с вещественным значением надо считаться со специальным влиянием родительного падежа единственного числа. Слово со значением «можевеловый» звучит *яловець* : *яловцю*; *яловець* : *ялівцю*; *ялівéць* : *ялівцю*, т. е. отражает в литературном языке все три возможных вида отношений.

Индукция со стороны именительного (винительного) падежа единственного числа наблюдается еще у образований мужского рода на *-ень* : *-ня* (*-нь* : *-ня*): *сіроствень*, *білодень*, книжн. *вбдень*.

Что касается слова *рівень*; род. падеж *рівня* «уровень», то направление индукции в нем вряд ли показательно, поскольку для этого слова вероятно очень сильное влияние прилагательного *рівний*. Диалектное (по Гринченко — черниговское) *пáстівéнь* «отгороженная под пастбище земля вблизи жилья», возможно, своим *-і-* обязано не только индукции, которую именительный-винительный падеж испытывает со стороны остальных форм парадигмы, но также и наличию параллельного слова *пастівтійк*. Одушевленных существительных этого типа немного: *скрѣкотень* «стрекотун», *вѣлетень* «велikan», *віторопень* «разня», *головень* «голавль, головль». Слова эти обычно или редки, или фонетически мало надежны (два последних, например, с полногласием, в составе которого *o* фонетически не подлещит переходу в *i*). По диалектам известно, однако, и *вѣрхівень* «верховой, всадник» вместо ожидаемого *верховень*.

Вполне определена индукция именительного падежа единственного числа у существительных на (непродуктивное) *-ел*, представляющих собою преимущественно названия живых существ: *орѣл* : *орлѣ* и т. д. (в западноукраинских говорах — фонетическое *вірлѣ* и т. д.); *осѣл* : *ослѣ* и т. д.; мало употребительное *козѣл* — *козлѣ* (ср., однако, и у неодушевленного *котѣл* : *котлѣ*).

Именительный падеж единственного числа у образований на *-ец*

(из *-ьць) влияет на все остальные формы парадигмы и в других восточно-славянских языках, но уже в определенной группе образований. Это иллюстрируется примерами: русск. *беглец*: *беглеца́*; *жрец*: *жреца́*; *кузнец*: *кузнеца́*; *мудрец*: *мудреца́*; *подлец*: *подлеца́*; *чернец*: *чернеца́* и т. п. По известному закону о рефлексии былых редуцированных гласных, во всех формах подобных слов, кроме родительного падежа множественного числа, ожидалось бы формы типа *женца*, *пришельца* (из *жъньца* и т. п.). В украинском языке количество подобных случаев несколько меньше, что, видимо, связано и с упрощением возникавших после падения редуцированных групп согласных: ср. укр. *чернець*, род. падеж *ченця́*. В других случаях имеем в украинском сохранение древних отношений: *жнець*: род. падеж *женця́*. Направление индукции в подобных случаях определялось, видимо, воздействием дополнительных моментов фонетико-эстетического порядка, хотя мы и имеем тут преимущественно дело с названиями лиц. Формы именительного падежа возобладали в парадигме, так как иначе должны были бы возникнуть трудно произносимые сочетания трех согласных. Роль одушевленности (значения лица) может быть признана решающей только в случаях такого типа, как *жнеца́*, *жнеця́* или *пришлеца́*, *пришлеця́* и т. д. (хотя *пришелец*, *пришельца* и т. д. еще указывает на борьбу двух видов основы).

Влияние именительного падежа единственного числа на парадигму отчетливо прослеживается также в сербском по отношению к именам существительным, восходящим к формам на *-льсь*, род. падеж *-льса* и т. д. По фонетическому закону сербского языка *ль* в открытом слоге переходит в *о*, но в закрытом слоге сохраняется в виде *-ла-*, т. е. из старых форм **prosilьсь*: **prosilьса* «сват» в современном сербском фонетически возникают *просилац*, но *просиоца*, из **ustalьсь*: **ustalьса* «труженик» — *усталац*, но *устлоца* и т. п. В ряде слов, однако, эти отношения нарушены, так как преобладание получает тип основы именительного падежа единственного числа; так, в литературном и народном употреблении при формах именительного падежа *залац* «злой человек», *кроу́йлац* «кровопийца», *стра́д́алац* «труженик», *уби́лац* «убийца», *челац* «щмель»; *ду́лац* «волынка», *жа́лац* «жало», *па́лац* «большой палец» и др. выступают формы косвенных падежей типа *за́льца*, *кроу́йльца* и т. д. Не у всех слов при этом утрачены и фонетически закономерные образования: так, нормативными являются при *кроу́йлаца* и *кроу́йиоца*, при *палци* и *паоци* (с дифференциацией значения: по Караджичу¹, последнее значит «спицы»; по Поваковичу² — «отверстия на дудке»). Форма *палцеви* известна только, как показывает анализ материала, в таком звучании. Материал указывает на то, что среди слов, обобщивших *л*, решительно преобладают существительные одушевленные.

По поводу слов *за́лац* и стар. *че́лац* «улей; трутень» надо заметить, что у них в именительном падеже единственного числа отражено одновременно и обратное направление индукции: долгота первого гласного явно пропала из остальных форм парадигмы.

Как на редкий случай индукции именительного падежа, распространившейся только на родительный и не затронувшей других падежей парадигмы, можно указать на белорусские диалектные формы родительного падежа множественного числа — *мещань*, *крестьянь* (с. Герасименки быв. Оршанского уезда Могилевской губ.)³, где влияние именительного падежа

¹ В. С. Караджич, Српски рјечник, четврто државно изд., Београд, 1935.

² См. С. Повакович, Грамматика сербского языка, перевод с серб., СПб., 1890, стр. 41.

³ См. Е. Ф. Карский, Материалы для изучения белорусских говоров, тав. VI, сб. ОРЯС, т. 88, № 1, 1910, стр. 5.

множественного числа *крѣстьяне*, *мѣщане* выразилось в смягчении согласного *н* основы. Параллельный случай — *крѣсьянь* и *дворянь* отмечен В. И. Чернышевым¹.

Индукция со стороны именительного-винительного падежей единственного числа обнаруживается в некоторых акцентологических явлениях славянских языков. Так, в чешском и словацком языках в склонении существительных, исторически имевших суффикс *ę* и первоначально обозначавших молодые существа, во всей парадигме установилась долгота гласного звука корня (в формах родительного падежа единственного числа и далее долгота первого слога должна была фонетически сокращаться перед средним ударением): *dítě*: род. падеж *dítěte*; *ptáče*: род. падеж *ptáčete*; *hádě*: род. падеж *háděte* и т. п. Этот факт нужно отнести за счет влияния психодного типа именительного-винительного падежей: **dětĭ*: **dětĭte*: *dítě*, еще и сейчас отчетливо представленных в сербском: *děte*: *dětema* (ср. и чакав. *dītě*: *dītěta*). Такое направление индукции² не исключает, однако, и обратного: древнейший славянский тип с подударным акцентированным гласным первого слога — **kŭre*, **jagne* в современных формах частично представлен краткостными рефлексам [фонетические долготы выступают только в древнечешском *kŭře* и диалектно, например в кладском говоре, — *jihne* (*ji < ja*)]³.

Современные литературные формы *kuře*, *jehně* — нефонетические, а возникшие в результате индукции остальных (трехсложных) форм парадигмы; не исключено также, что определенное влияние оказал параллельный образец — *prase*, фонетически восходящий к древнейшему славянскому **porse*, с подударной циркумфлексовой интонацией корневого гласного (серб. *práse*), отражающейся на чешской почве в виде краткости. При этом обращает на себя внимание тот факт, что влиянию отношений *dítě*: *dítěte* не подверглись лишь совсем немногие старые образования с психодным подударным акцентом по происхождению гласным корня, такие образования, у которых, повидному, суффиксальный элемент, тесно примыкая к корню, не имел такой производительной силы, как у образований вроде *ptáče* и т. п. Роль этого момента прослеживается и на словенской почве⁴.

Приведенные в статье примеры хотя и далеко не исчерпывают всего круга фактов, связанных с дифференциацией окончаний существительных по одушевленности: неодушевленности, тем не менее достаточны, чтобы признать в последней совершенно определенный специфический фактор морфологического развития славянской системы склонения. Форма именительного падежа, в ряде случаев (при совпадении) поддержанная формой винительного, и форма вокатива (звательная форма) оказали особое влияние на формы косвенных падежей у существительных одушевленных, в первую очередь у тех, которые обозначают названия лиц. Конечно, индукцию именительного падежа, как и именительного-винительного, не говоря уже о вокативе, можно констатировать в тех или других языках (наречиях, говорах) и по отношению к неодушевленным именам. См., например, польские формы косвенных падежей единственного числа и формы множественного числа (последние, впрочем, мало употребительны) у ряда *abstracta* типа: *ciąg*: *ciągi* (вместо фонетических *cięgi* и т. д.),

¹ См. В. И. Чернышев, Сведения о говорах Юрьевского, Суздальского и Владимирского уездов, сб. ОРЯС, т. 71, № 5, 1902, стр. 4, 8, 14, 19.

² Она сказала также и в факте появления форм вроде *kŭzle* (наряду с фонетическим *kozle*) с безусловной исконной краткостью.

³ Ср. F. Trávníček, указ. соч., § 234.

⁴ См. L. Bulachovskij, Die Akzentzurückziehung im Slovenischen, «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. II, Leipzig, 1925, стр. 400 и сл.

rzad: *rzędu* (см. *rzędu* и т. д.). *posąg*: *posągu* и под., т. е. с рефлексам корневых носовых; редко у слов с рефлексам корневого -o-: *ból*: *bólu* (вместо фонетических *bolu* и т. д.), у конкретного *mózg*: *mózgu* и т. д. Подобные же случаи, хотя и не столь регулярно распространенные, наблюдаются и в современном украинском разговорном языке: *dózwilu* (им. падеж *dózwil*) вместо правильных *dózwolu* и т. д., *óniru* (им. падеж *ónir*) вместо правильного *ónору* (*ónору*) и т. д.; у сербских абстрактных на -ен женского рода, -от и -ет — мужского: *jěsen*, род. падеж *jěсени*, *rjǔmēn*, род. падеж *rjǔmēни* «краснота»¹; *klǔkot*, род. падеж *klǔkǔта* «пум бьющей воды», *mǔpǔot*, род. падеж *mǔpǔта*, *trǔpǔet*, род. падеж *trǔpǔeta*, и т. п.

Однако не удастся указать сколько-нибудь определенные категории случаев, которые позволили бы констатировать подобное направление индукции у существительных неодушевленных при отсутствии ее у одушевленных. Иными словами, различие одушевленности: неодушевленности при индукции со стороны именительного падежа практически может и не играть роли, тем не менее индукция этого типа все же преимущественно имеет место у существительных одушевленных или, еще уже, — у названий лиц, где она обычна и более последовательна.

Нарушения этих отношений, повидимому, единичны. В качестве примера можно указать на серб. *kǔkǔot* «петух», не передавшее своей заударной долготы остальным формам парадигмы, тогда как у *kǔkǔot* «кудахтанье» заударное долгое *o* в парадигме аналогически обобщилось. Надо заметить, однако, что данный случай явно занимает особое место в системе, так как слово *kǔkǔot*, род. падеж *kǔkǔта* и т. д. («кудахтанье») ассоциируется с целой большой категорией звукоподражательных имен существительных (в узком и широком смысле — шумы): *grǔxǔot*, род. падеж *grǔxǔта* «хот», *glǔmǔot*, род. падеж *glǔmǔта* «шум» и т. п., у которых -от адаптировано под суффикс; а у *kǔkǔot*, род. падеж *kǔkǔта* «петух» -от является частью корня и ни с каким морфологическим признаком прямо не ассоциируется. Если бы это слово поддалось естественной для одушевленных имен тенденции и обобщило в парадигме заударное долгое *o* именительного падежа, то в результате этого была бы утрачена смысловая разница форм *kǔkǔot* «петух» и *kǔkǔта* «кудахтанье»².

Укажем некоторые конкретные вопросы, которые, повидимому, с принятой позиции могут получить более или менее определенное решение. Вопрос об исходном типе ударения может быть предметом спора по отношению к таким, например, названиям животных, как *ovьsa*, *svǔnъja*; ср. *ovьцъ*, но устар. *бьцу*; *свиньѡ*, но устар. *сѡнью*³, так как здесь остается не решенным вопрос о том, шла ли индукция, действительно, от именительного падежа единственного числа и подчинила себе винительный падеж единственного числа, или, наоборот, нынешнее конечное ударение у этих слов незаконно, но, например в старом русском языке, отклонилось в сторону

¹ Последнее слово в сербском имеет гласный суффикса исторически не тот, что в русском *румяный*, а восходящий к -с-.

² Останавливает на себе внимание и единственное исключение из общесербского правила об удлинении гласных перед тавтосиллабическим *j*, глухо отмеченное Вуком Караджичем в его словаре как «черногорское», — слово *paたaj* «пахарь». Как у названия лица, у этого существительного в форме именительного падежа единственного числа меньше всего можно было бы ожидать изменения фонетически закономерной формы. Так как краткость второй части основы в форме *paたaj* не была подтверждена никем другим, осторожнее будет не придавать ей большого значения: долгота под вторым *a* могла быть не обозначена Караджичем по недосмотру. Ср. у него же *пѡбоj*, род. падеж *пѡбоja* и т. п., которые Лескин (указ. соч., § 311), и вероятно справедливо, считает недосмотром.

³ А. Востоков («Русская грамматика», 12-е изд., СПб., 1874, стр. 205) приписывает эти существительные именно с таким ударением.

подвижного типа по аналогии целого ряда других слов искони подвижного типа. Наиболее вероятно, что у данных слов, как у названий существ (кроме насекомых), индукция шла от именительного падежа единственного числа, т. е., иначе говоря, что слово искони принадлежало по характеру ударения к подвижному типу. Ср. *ofcǎ* и в чакавском говоре города Нового¹, где оно относится к типу с подвижным ударением; у Вука Караджича в его словаре это свидетельствуется формой именительного-винительного множественного числа — *òвце* (оттянутое ударение во множественном числе сохранялось лучше, чем в винительном падеже единственного).

Слово *svinĭa* у Караджича в именительном-винительном падежах множественного числа звучит *сѣиље*; в том же чакавском говоре оно относится к типу с подвижным ударением вообще².

При этом остается не совсем ясным возникновение русского (диалектного) ударения *кóзу* вместо *козú* (ср. и чакав. *kozŭ*, шток. *kòзу*), серб.-шток. диал. *kòзу*. В данном случае, как можно предположить, имела место не столько аналогия подвижного типа ударения других *ā*-основ, сколько внешнее сближение слова *коза* с семантически родственным *овцá*: *òвцу*.

Трудно объяснить чакавскую форму *zmĭja*³: шток. (Караджич) *змѣја*, мн. число *змѣје*, где можно предположить и индукцию множественного числа и звательного единственного (из браних обращений). Этот случай и некоторые другие подобные не меняет, однако, общего впечатления о направлении охарактеризованных выше процессов.

¹ А. Б е л и ч, Заметки по чакавским говорам, ПОРЯС, XIV, 2, 1969, стр. 226.

² Там же, стр. 228.

³ Там же, стр. 223.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Н. БОЛДЫРЕВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННЫХ
ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Одной из характерных особенностей культурной жизни общества в условиях феодального способа производства является значительное расхождение между письменным литературным языком, с одной стороны, и разговорной практикой (диалектом — в прямом смысле этого слова) — с другой. В качестве классического примера такого расхождения обычно приводится латинский письменный язык в средневековой Европе, арабский письменный язык в многоязычном халифате или старославянский письменный язык у восточных и южных славян¹.

В этот ряд следует поставить также санскрит в Индии, «вэньянь» в Китае, Корее и Японии и литературный язык «парси» («новоперсидский») — письменный язык многих неперсоязычных народностей в период с IX по XX в. н. э. Число таких примеров может быть, очевидно, умножено. Во всех перечисленных случаях различие между письменным языком и многочисленными разговорными устными диалектами было полным, т. е. письменный язык был совершенно непонятен необразованным носителям этих диалектов. Степень непонятности не уменьшалась от того, что некоторые из перечисленных письменных языков были в отношении диалектов не совершенно «чужими», а родственными, генетически близкими, «своими». Так, например, несмотря на генетическую близость, санскрит остается непонятным носителям новиндийских языков, классический арабский литературный язык — носителям современных арабских диалектов, армянский язык «грабар» — носителям армянских диалектов, «вэньянь» — носителям китайских диалектов и т. д. в той же мере, как непонятен был письменный арабский язык неарабоязычным народам халифата, как «вэньянь» — корейцам и японцам, латынь — германцам и т. д.

Другими словами, письменный язык феодального общества в известный период, как правило, носил наддиалектный характер в том смысле, что он не обладал по отношению к носителям диалектов основным социальным свойством языка — коммуникативностью, в противоположность письменному языку нации в капиталистическом обществе.

Легко заметить, что в целом ряде случаев наддиалектность — расхождение письменного языка с разговорным наблюдалась в истории того или иного народа не только в феодальную эпоху, но и ранее, в условиях рабовладельческих отношений; это можно сказать, например, о санскрите, «вэньяне», латыни, греческом языке в Византии и т. п. Мертвым, только

¹ См., например, В. М. Ясперс и с к и й, Национальный язык и социальные диалекты, Л., 1936, стр. 29.

письменным языком являлся — во всяком случае уже к концу V — началу IV в. до н. э., и древнеперсидский язык в надписях последних ахеменидских царей¹.

Но в ряде случаев письменный язык феодального общества не был унаследован от предыдущей эпохи, а появлялся внезапно, в силу особых исторических причин. Здесь прежде всего отчетливо выделяются те случаи, когда письменным языком становился язык завоевателей. Только завоеваниям обязаны своим становлением в качестве письменных языков такие языки, как арабский для целого ряда разноязычных народов (VII—VIII вв. н. э.), французский (англо-нормандский) в Англии (XI в.), турецкий в Малой Азии (XIII в.), персидский в северной Индии (XVI в.). Во всех этих случаях становление нового письменного языка сопровождалось насильственным вытеснением, ликвидацией старых, ранее существовавших письменных языков, обслуживавших покоренные народы. Так, безвозвратно погиб ряд среднеиранских языков (в том числе среднеперсидский с его богатой прозаической и поэтической литературой), древнеанглийский, греческий в Малой Азии и т. п.

Однако наряду с завоеваниями, становление новых и ликвидация старых письменных языков определяется и внутренними причинами общественно-политического характера, в конечном счете восходящими к вызреванию, расцвету и гибели сперва феодальной формации, а затем капиталистической. Известно, например, что распространение в средневековой Европе латыни было обусловлено исторической ролью церкви как сильнейшего орудия феодализации. Та же движущая сила — распространение христианства в процессе феодализации, привела в IX в. к установлению старославянского языка как письменного языка у восточных и южных славян². В ряде случаев наблюдалось также насильственное устранение местной культурной и литературной традиции. Так, например, в результате развития феодализма и распространения христианства была искоренена «древняя народная литературная традиция» в скандинавских странах³.

К искоренению «древних литературных традиций» в Иране и Средней Азии привело и господство арабского языка, который, подобно латыни, был также языком воинствующего ислама. Как было указано, непосредственной причиной установления арабского языка в качестве литературного письменного и вместе с тем священного языка церкви явилось завоевание, практически закончившееся к началу VIII в. Однако крайне интенсивное и глубокое проникновение арабского языка во все области культурной жизни многих народов и дальнейшее его господство на протяжении длительного времени уже не может быть объяснено лишь фактом завоевания. Как установлено советской исторической наукой, следующий за завоеванием период (VIII в. — первая половина IX в.) явился периодом роста и дальнейшего развития феодальных отношений в странах халифата⁴. Можно думать, что стойкость арабоязычной письменной традиции в странах халифата после завоевания находит себе объяснение в том, что ислам

¹ См. R. G. Kent, *Old Persian*, New Haven, 1950, стр. 99.

² См.: «История средних веков», т. 1, [М.], 1952, стр. 236; Ф. Я. Полянский, *Экономическая история зарубежных стран. Эпоха феодализма*, [М.], 1954, стр. 163 и сл.

³ См. М. П. Стеблин-Каменский, *История скандинавских языков*, М.—Л., 1953, стр. 47. Интересное исключение составляет Исландия, не пришедшая к развитию феодального государства (см. там же, стр. 32).

⁴ См.: А. Ю. Якубовский, *Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (VI—XV вв.)*, «Краткие сообщения... Ин-та истории материальной культуры [АН СССР]», вып. XXVIII, М.—Л., 1949, стр. 35; М. С. Иванов, *Очерк истории Ирана*, [М.], 1952, стр. 36; Ф. Я. Полянский, *указ. соч.*, стр. 129.

и арабский язык участвовали в процессе феодализации этих стран совершенно так, как христианство со своими церковными языками в Европе.

Однако господство языков церкви, таких, как латынь, арабский, старославянский, наблюдается только в период становления феодальных отношений. Победа феодализирующих сил, торжество феодального режима вносят дальнейшие существенные изменения в положение письменных языков как на Востоке, так и на Западе. Как известно, эпоха расцвета феодализма в Западной Европе в XI—XIII вв. знаменуется возникновением богатой литературы (рыцарской поэзии и прозы, житий и т. п.) на местных языках, вначале на провансальском, французском, итальянском, затем на немецком¹, английском и скандинавских языках². Эти новописьменные языки первое время сосуществуют с латынью³, постепенно вытесняя ее в дальнейшем из политически более важных областей культурной жизни. На Востоке завершение процесса феодализации также находит свое выражение в возникновении новых литературных языков, вытесняющих старые. Характерным примером является история возникновения так называемого «новоперсидского» литературного языка в Иране и Средней Азии. Из всех сообщений источников о возникновении литературы на «новоперсидском» языке исторически наиболее верным представляется рассказ «Тарихи Систан» (часть, написанная около 1070 г.), приурочивающий создание первых образцов письменной литературы на «новоперсидском» языке к торжеству антиарабского народного движения под руководством местной землевладельческой знати во главе с Якубом Саффари (воцарение Якуба в Герате в 867 г.)⁴. Рассказ «Тарихи Систан», подтверждаемый другими источниками, хорошо показывает, что становление местного диалекта — диалекта основного населения Хорасана — в качестве языка письменности, прежде всего языка придворной поэзии (участка идеологии, политически наиболее актуального для торжествующей верхушки общества), носило характер революционного свержения господства арабского языка с последующим длительным систематическим вытеснением его из других областей письменности. Не менее сложная и упорная борьба велась за вытеснение арабского и персидского письменных языков в государстве турок — завоевателей Малой Азии. После победы сельджукской группы племен над данишмендами и крестоносцами в молодом сельджукском государстве развилась значительная литература на арабском и главным образом на персидском языках, понятных лишь крайне ограниченному кругу внутри господствующей верхушки. Переход власти к другой огузской племенной группировке (захват Конии в 1271 г. под предводительством Караман-оглу) ознаменовался энергичными мероприятиями против господства чужих языков: Караман-оглу запретил пользоваться в официальной переписке каким бы то ни было языком, кроме турецкого, запрет был подкреплён набиением писцов — посетителей старой традиции⁵.

Языковую политику Караман-оглу следует рассматривать как отражение глубоких качественных изменений внутри огузской племенной знати — далеко зашедшего процесса ее феодализации на покоренных землях, где, как известно, до прихода турецких завоевателей уже господствовали развитые феодальные отношения. В результате этих изменений новые

¹ См. В. М. Жирмунский, *указ. соч.*, стр. 30 и сл.

² См. М. Н. Стеблин-Каменский, *указ. соч.*, стр. 47.

³ Для английского также и с французским (англо-нормандским).

⁴ Подробнее см. А. Н. Болдырев, Из истории развития персидского литературного языка, ВЯ, 1955, № 5.

⁵ Соответствующие факты см. в статье: Z. F. Köprülü, Litteratur, «Enzyklopaedie des Islam», Bd. IV, Leiden—Leipzig, 1934, стр. 1011—1033.

феодалы утверждали господство своего родного диалекта в письменности, а позже — и в области художественной литературы.

История средневековой Индии еще не настолько разработана, чтобы мы могли уверенно приурочить отдельные явления надстроечного порядка к тем или иным фазам развития общественно-экономических отношений индийского общества. Однако некоторые имеющиеся в нашем распоряжении факты позволяют думать, что появление новых литературных языков в Индии определялось теми же процессами, что и в других странах. Так, например, интенсивное распространение санскрита в качестве литературного племенного языка в могущественном государстве Гупта (IV—VIII вв. н. э.), сочетавшееся с глубокими изменениями в области религиозной жизни¹, наводит на мысль о феодализирующем характере движущих сил развития гуптского общества. Соответственным образом последующее появление в XI—XII вв. нового литературного языка, так называемого «старого хинди» в раджпутских государствах и, возможно, «старого бенгали» в Бенгалии², следует расценивать как признак того высокого уровня феодализации, когда знать, осуществляя свое господство и в области идеологии, возводит свой родной диалект в достоинство письменного и литературного языка.

Дальнейшая судьба этих новых письменных языков всецело зависит от судеб тех политических и общественных сил, которые их выдвинули. Новый письменный язык либо через более или менее короткое время совершенно исчезает, либо распространяется далеко за пределы своего дописьменного бытования, начиная обслуживать ряд других диалектов — конечно, в принудительном для них порядке, опять-таки приобретая тем самым наддиалектный характер. Типичным примером первого случая являются быстро угасшие попытки применения в качестве литературного языка («литератизации») некоторых табаристанских диалектов в буидском Иране в конце X — начале XI в. Примеры победоносного распространения письменных языков, возникших на основе отдельных живых диалектов, — многочисленны. Так, после длительных колебаний и сосуществования нескольких новых письменных языков, возникших в XIV—XV вв. в Германии на основе отдельных диалектов, «в связи с передвижением центра экономической и политической жизни Германии на восток, постепенно особое значение приобрел литературный вариант, связанный с восточно-средними диалектами»³. История средневековой английской письменности знает два случая победы диалекта как основы письменных литературных языков — уэссекского в древнеанглийский период и лондонского в среднеанглийский. «В связи с политической обстановкой подавляющее большинство древнеанглийских рукописей X и последующих веков было записано на диалекте Уэссека — области, стоявшей в культурном и политическом отношении на первом месте». «Лишь в XV в. языковая норма Лондона начинает считаться образцовой»⁴. Характерную картину в этом отношении являет

¹ См. Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, История Индии, М., 1954, стр. 90—91.

² См. Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, *указ. соч.*, стр. 118 и 142. Иными причинами было вызвано создание письменной литературы на «местных» языках пали, гандхарском и др. в первом тысячелетии до н. э. (см. В. С. Воробьев-Десятковский, О раннем периоде формирования языков народностей северной Индии, «Вестник ЛГУ», 1954, № 12, стр. 154).

³ М. М. Гухман, О соотношении немецкого литературного языка и диалектов, «Открытое расширенное заседание Ученого совета Ин-та языкознания. Тезисы докладов и выступлений», М., 1955, стр. 21. Ср. ее же, О соотношении немецкого литературного языка и диалектов, ВЯ, 1956, № 1.

⁴ К. Бруннер, История английского языка, т. I, М., 1955, стр. 80, 84.

также история скандинавских языков. В основу нового датского литературного языка (XIV в.) легли Zealandские говоры, «поскольку в Зеландии в эту эпоху находился политический и культурный центр датского феодального государства»¹, а эстерьетская диалектная основа древнешведской письменной традиции объясняется только тем, что «Эстерьетланд был вообще в ту эпоху наиболее важной в политическом и экономическом отношении областью Швеции»²; в дальнейшем датский язык влиял и всю Норвегию, поскольку «с конца XIV в. она попала в экономическую и политическую зависимость от Дании» и т. д.³

Тождественная картина наблюдается и в отношении некоторых восточных языков, история которых, к сожалению, изучена в значительно меньшей степени. Однако мы имеем основание утверждать, что такова была история распространения «новоперсидского» литературного языка; политико-экономические причины привели и к тому, что один из североарабских диалектов, обретя письменность, сделался классическим литературным языком для всех разнодиалектных арабов и т. д.

Таким образом, расхождения между письменным языком и «подвластными» ему диалектами в значительной мере определяются тем, что новый письменный язык — это первоначально не смесь разных диалектов («койно»), а один победивший диалект, естественным образом отличный от других, ему подчинившихся. Однако, кроме разнодиалектности, расхождение определяется и другим, весьма существенным фактором: диалект, ставший письменным языком, в дальнейшем развивается иначе, другими путями, чем диалект, не закрепленный в письме.

Первой особенностью диалекта, ставшего основой для письменного литературного языка, является значительная замедленность, так сказать, заторможенность его развития: «Часто письменный язык закреплен, — пишет по этому поводу А. Мейс, — его формы от столетия к столетию почти не изменяются»⁴. Причина этого явления заключается, повидимому, в том, что та политическая и общественная сила, которая поставила свой диалект в качестве письменного литературного языка, в дальнейшем естественным образом проявляет заботу о сохранении его привилегированного положения. Письменный язык искусственно охраняется от влияния «простых» диалектов — отсюда понятия «чистоты» литературного языка, его неприкосновенности и т. п. В результате развитие письменного языка замедляется не только абсолютно, но и относительно, так как окружающие его диалекты продолжают развиваться.

Однако никакое ограждение не может полностью предохранить письменные языки от воздействия живых диалектов. Именно по этой причине, по мнению А. Е. Крымского, «литературная (мертвая) речь, например, современных нам арабов очень не похожа на речь коранскую (как ее ни ставят за образец себе), ни даже на речь классическо-халифатскую; приблизительно настолько не похож был письменный церковнославянский язык у русских книжников эпохи Алексея Михайловича на подлинную старославянскую речь времен Кирилла и Мефодия, как латынь средневековья — на римскую»⁵. Таким образом, другой особенностью развития

¹ М. И. Стеблун-Камениский, указ. соч., стр. 44—45.

² Там же, стр. 45.

³ Там же, стр. 45, 50—51.

⁴ А. Мейс, Сравнительный метод в историческом языкознании, М., 1954, стр. 15. Характерный пример наблюдаем в истории новоиндийских языков, где «... почти все литературные формы местных языков, проникавшие в средние века в общиндийское употребление, очень быстро превращались в мертвые языки» (В. С. Воробьев-Десятовский, указ. соч., стр. 155).

⁵ А. Крымский, История арабов и арабской литературы, ч. I, М.,

письменного языка является медленное и неравномерное воздействие на него со стороны живых диалектов.

В этой связи необходимо отметить, что наши суждения о языках, доступных нам сейчас только в их письменной форме, суть лишь суждения об отдельных, искусственно закрепленных, «заторможенных» диалектах. Вполне понятно, что закреплению, торможению подвергались только отдельные диалекты, а остальные («диалекты-сверстники») продолжали развиваться, жить и умирать за пределами закрепленной зоны, т. е. в значительной мере за пределами наших познавательных возможностей. Соответственным образом, наблюдаемые нами изменения в таких языках являются по существу не столько изменениями всего языка (т. е. всей суммы составляющих его диалектов), сколько изменениями лишь небольшой, закрепленной в письменности его части в пределах сравнительно узких возможностей развития и смены письменных форм языка, смены, как мы видели выше, всегда обусловленной потрясениями общественно-политического характера¹.

Третьей и, пожалуй, наиболее своеобразной особенностью является развитие письменного языка в направлении создания «риторического стиля». Стремление правящих феодальных слоев общества к утверждению своего абсолютного и безусловного превосходства решительно во всех областях социальной, культурной, в том числе и литературной жизни, ставило перед литературой задачу изображения только «исключительного», «возвышенного», «благородного», в возможно более «возвышенной», отличной от обыденного, «простого», «вульгарного», форме. Возникала эстетическая концепция, видевшая свое совершенство в настолько большом сознательном удалении от жизненной правды, от реальной действительности, насколько реалистическое понимание видит свое совершенство в приближении к ней.

«Поэзия есть искусство, — говорит идеолог придворной литературы XII в. самаркандец Низами Арузи, — при помощи которого поэт... малое превращает в великое, а великое в малое. Положительное он облачает в безобразные одежды, а безобразное преподносит в красивой оболочке»².

«Если соединить медь лжи с золотом стиха, — писал в начале XIII в. другой теоретик литературы (также самаркандский таджик) Ауфи, — и расплавить их в горне духа мудрецов, то медь сольется с золотом и прелесть стиха победит мерзость лжи»³. Таковы идеологические корни средневековой риторики. Свое формальное выражение она соответственным образом находит в усложнении языковых средств, главным образом в области лексики и синтаксиса. Возникает особый «поэтический словарь» (он применяется и в прозе) и особый «поэтический синтаксис» (морфология затрагивается меньше) — явления, хорошо известные всем, соприкасавшимся с классическими текстами. Развитие «риторического стиля» протекает обычно очень медленно. Так, например, в средневековой поэзии таджиков и персов эволюция от «классического примитива» Рудаки (875—942 гг.) до утверждения риторики в произведениях поэтов «сельджукской школы» заняла промежуток в 150—200 лет.

1912, стр. 28. По мнению А. Е. Крымского, влияние диалектов сказывается прежде всего в области лексики и синтаксиса.

¹ В этом существенном уточнении нуждалось бы прежде всего мнение А. Мейе о развитии индоевропейских языков, как о «внезапных потрясениях, следовавших за подготовительными периодами» (А. Мейе, Сравнительный метод в историческом языкознании, стр. 44).

² N i z ā m -i- A r ū d ī, Chahār maqāla, ed. Mirzā Muhammad of Qazwin, Leyden, 1910 (GMS. XI), гл. II, вступление.

³ Muhammad 'Awfī, Lubābu'l —albāb (first part). ed. G. Browne, London, 1906, стр. 11.

Исследование особенностей риторического стиля на материале конкретных восточных языков представило бы значительный интерес как с точки зрения общего языкознания, так и с точки зрения литературоведения.

Изложенное выше позволяет прийти к тому выводу, что становление, развитие и смена письменных языков в феодальном обществе управляются определенными собственными закономерностями, которые в конечном счете отражают решающие изменения в явлениях надстроечного порядка, и свою очередь определяемые общими закономерностями развития классового общества.

Изучение этих закономерностей в конкретных условиях того или иного языка несомненно может составить предмет самостоятельных занятий¹.

¹ Если существование такой дисциплины целесообразно и разумно, то она может претендовать и на собственное наименование, например, — «литералогия», от латинского *littera* — буква, письмо, письменность.

В. П. ГРИГОРЬЕВ

О ГРАНИЦАХ МЕЖДУ СЛОВОСЛОЖЕНИЕМ И АФФИКСАЦИЕЙ

За последние годы обширная литература по общей теории и конкретным вопросам словообразования пополнилась рядом новых работ на материале самых различных языков. Тем не менее специфика отдельных способов словообразования до сих пор остается недостаточно выясненной.

В настоящей статье на материале сложных существительных с глагольным вторым компонентом в современном русском языке рассматривается существо различий между аффиксацией и словосложением.

*

Если для более точного определения понятия «сложное слово» необходимо отграничить сложные слова от некоторых видов словосочетаний, то при изучении процессов образования сложных слов должна учитываться связь различных типов словосочетаний с различными типами сложных слов. Это требование было четко сформулировано в известной работе В. В. Виноградова¹, однако в отдельных исследованиях реальные связи типов сложных слов со словосочетаниями нередко не только недооцениваются, но даже вовсе отрицаются². Возможно, что широкому признанию этой связи до некоторой степени мешает неудача известных в истории изучения словосложения попыток этимологического (а не словообразовательного!) выведения каждого отдельного сложного слова из соответствующего словосочетания. Однако если, например, И. Лось, не находя этимологических прообразов для различных сложных слов, удовлетворился тем, что признавал возможным образование новых сложных слов «сразу, по образцу уже существующих», без опосредствованной связи со словосочетаниями³, то еще И. И. Срезневский указывал, что сложные слова связаны со словосочетаниями не только, и даже не столько в этимологическом отношении, сколько в словообразовательном⁴.

¹ См. В. В. Виноградов, Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 140.

² См., например, М. И. Приналова, Сложные слова и их функции в художественных произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. Канд. дисс. (машинопись), Л., 1953, стр. 33.

³ См. И. Лось, Сложные слова в польском языке, «Записки ист.-филол. ф-та СПб. ун-та», ч. 62, 1901, стр. 85—86, 125—126, 190.

⁴ См. И. Срезневский, Замечания об образовании слов из выражений, сб. ОРЯС. т. X, 1873. При всей беглости «Замечаний» Срезневского следует отметить их принципиальную важность как одной из первых попыток анализа сложных слов в тесной связи со словосочетаниями. Мысль о том, что сложное слово возникает из выражения, т. е. создается на базе синтаксической конструкции словосочетания, высказана им почти за 30 лет до опубликования точки зрения Лоса, согласно которой сложное слово является собой словосочетание (если не возникает «сразу»,

Что касается сложносокращенных слов, то признание их возникновения на основе словосочетаний, насколько известно, не вызывало каких бы то ни было возражений и может считаться общепринятым. «Сложносокращенные слова служат для сведения к лексическому единству словосочетаний именной семантики и образуются из элементов (различной протяженности) входящих в состав словосочетания слов, безотносительно к их грамматическому членению на значимые части»¹. В этом подчеркнутом положении хорошо сформулировано основное отличие типов образования сложносокращенных слов от словообразовательных моделей «классических» сложных существительных. Кроме того, круг словосочетаний, которые служат материалом для образования сложносокращенных слов, узок: он исчерпывается несколькими типами именных словосочетаний, в то время как «классические» сложные слова образуются на базе самых различных словосочетаний — как именных, так и глагольных.

Иначе говоря, процессы образования сложносокращенных слов протекают в пределах «расширения» и «сжимания» одной части речи (*комитет* — *районный комитет* — *райком*), т. е. в пределах «сведения к лексическому единству» словосочетаний с существительным в качестве стержневого, главного слова². При этом в подавляющем большинстве случаев сложносокращенное слово возникает без всякого участия аффиксации, хотя в дальнейшем от него легко образуются новые производные слова: *колхоз-ник*, *комсомол-ец*, *вуз-овский* и т. п.

Обычные же сложные слова не только могут отличаться от опорного слова словосочетания по семантико-словообразовательному разряду внутри той же самой части речи (*белый билет* — *белобилетник*, *мелкий лес* — *мелколесье*, *босые ноги* — *босоножки* и т. п.), но часто оказываются в сфере иной части речи, чем та, к которой принадлежит опорное слово в исходном словосочетании (*возить воду* — *водовоз*, *железная дорога* — *железнодорожный*, *строить суда* — *судостроение* и т. п.)³.

Наличие связи между словосочетаниями и сложносокращенными словами позволяет поставить вопрос о том, что же представляют собой так называемые «аналогические» сложные слова. Следует ли признать, что и они, как правило, возникают на базе синтаксических сочетаний, или же мы, действительно, должны говорить о двух типах образования сложных существительных: 1) на основе словосочетаний и 2) по аналогии с уже имеющимися сложными существительными? Очевидно, что по сути дела речь при этом будет идти о сходстве и различиях между словосложением (синтаксико-морфологическим способом словообразования), с одной стороны, и аффиксацией (аналогическим образованием слов, морфологическим способом словообразования) — с другой.

по образцу других сложных слов). К сожалению, эта статья Срезневского долгое время оставалась незамеченной и только в самые последние годы вводится в научный обиход.

¹ А. Сухотин. Проблема «сокращенных» слов в языках СССР, сб. «Письменность и революция», I, М.—Л., 1933, стр. 133 (разрядка моя. — В. Г.).

² И даже в еще более узких пределах, поскольку и такие «идиоматические» сложносокращенные слова, как *колхоз*, сохраняют по всем существенным (кроме категории рода) семантико-словообразовательную характеристику стержневого слова исходного словосочетания, которое выступает как своеобразный синтаксический этимон сокращения.

³ Ср.: «...любопытно, что предполагаемое словом *голословный* выражение *голые слова* не приводится ни одним толковым словарем русского языка до появления академического «Словаря церковно-славянского и русского языка» (СПб., 1847)...» (В. В. Виноградов, Из истории русских слов и выражений, «Р. яз. в шк.», 1940, № 2, стр. 33; разрядка моя. — В. Г.). См. также Р. И. Лейкина, Сложные прилагательные в современном русском литературном языке. Автореф. канд. дисс., Л., 1951.

1

До сих пор в различных исследованиях (главным образом по истории языка) и в толковых словарях наблюдаются случаи отождествления сложных и аффиксальных слов¹. Даже тогда, когда отличие префиксов и суффиксов от компонентов сложного слова подчеркивается исследователями, анализ различий между сложным словом (существительным) и, например, префиксальным сводится обычно к сравнению их морфологической структуры, пути же образования тех и других большей частью не привлекают внимания исследователей. Однако именно здесь между аффиксальными и сложными словами обнаруживаются некоторые принципиальные различия.

Специфика синтаксико-морфологического типа образования префиксальных (и — шире — префиксально-суффиксальных) существительных состоит в том, что строительный материал для них обычно дают «неноминативные» сочетания слов, один из компонентов которых лишен полноценного лексического содержания; являясь предлогом, он при образовании аффиксального существительного превращается в приставку: *за рядами* — *Зарядье*, *по берегу (-ам)* — *побережье*, *через седло* — *чересседельник*, *под окном* — *подоконник*, *над гортанью* — *надгортанник*, *на колено (-е)* — *наколенник*, *при городе* — *пригород*, *без денег* — *безденежье* и т. п. Случаи типа *раскрасавица*, *подтип*, *подотряд*, *эксчемпион*, *антипатриот*, *архиплут* и др., не возводимые к каким-либо сочетаниям слов (морфологический тип образования), немногочисленны. Префиксы *рас-*, *экс-*, *анти-* и *под-* не имеют даже относительно самостоятельного существования в языке, и в этом отношении тип образования таких слов подобен типу образования слов суффиксальных². Как известно, префиксальный тип в чистом виде «особенно производителей и потребителей... в системе внутрислогового словообразования»³.

Сложное же существительное образуется, как правило, на базе словосочетания, оба члена которого являются знаменательными словами (ср. *пить чай* — *чаепитие*, *есть землю* — *землеед*, *мыть руки* — *рукомойник*, *Красная гвардия* — *красногвардеец*, *черная тропка* — *чернотроп*, *взаимная помощь* — *взаимопомощь*, *два слова* — *двусловники*⁴ и т. д.; ср. также *сам палит* — *самопал*, *листья падают* — *листопад* и т. п.)⁵. Наоборот, такие неудачные слова, как *книгоединица*, *земельцедатель* и под., или различные аббревиатуры, имеющие очень узкую сферу распространения, очевидно, потому и остаются где-то на периферии языка, среди элементов «про-

¹ См., например С. И. О б о р с к и й, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.—Л., 1946, стр. 121; Р. А. Б у д а г о в, О новой работе О. И. Богомолотовой по современному французскому языку, «Вестник Ленингр. ун-та», 1948, № 5; Т. К. З и н б е р г, Примыкание как тип синтаксической связи слов в современном русском языке. Автореф. канд. дисс., М., 1955, стр. 14. Ср. протест против терминологического смещения сложных слов с приставочными в работе: Н. И. С о л о м о н о в с к и й, Терминология в словообразовании, ФЗ, 1880, вып. 3, стр. 13—14. См. также описание морфем *между-*, *сверх-*, *транс-*, *ультра-* и др. в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова и в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова.

² См. В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 55. В своем большинстве указанные префиксы являются кальками или заимствованиями.

³ «Соврем. русск. язык. Морфология», Курс лекций, М., 1952, стр. 45.

⁴ Так один из героев романа Н. Эренбурга «Буря» профессор Дюма называет немецких фашистов.

⁵ Уже приведенные примеры показывают, что термин «словосочетание» употребляется здесь в более широком значении, чем то, которое он получает в академической «Грамматике русского языка» (т. II, ч. 1, М., 1954, стр. 6 и 10), а именно — в значении «грамматическое сочетание однозначных слов». Для простоты изложения термин «словосочетание» в таком традиционном значении используется и ниже.

наводственного жаргона», что они не опираются на какие-либо живые словосочетания общенародного русского языка¹.

Понятно, что исходные словосочетания могут иметь в своем составе и служебные слова; ср. *ступать по снегу* — *снегоступы*, *лазить в воду* — *водолаз*, *бегать на коньках* — *конькобежец* и т. п. Но при этом служебное слово никак не участвует в образовании сложного существительного².

В исследованиях по фразеологии русского языка справедливо отмечается, что «устойчивые словосочетания с глаголом представляют собой материал для образования сложных слов... Сложные слова из устойчивых словосочетаний сохраняют экспрессивную насыщенность, которая была свойственна устойчивому словосочетанию (*рылокошение* из *косить рыло*; *фиговидцы* из *видеть фигу* и др....). Невозможность разложить устойчивое словосочетание на составляющие его компоненты без утраты смыслового значения ярче всего проступает в сложных словах из соответствующих устойчивых словосочетаний...»³. В то же время само по себе исходное словосочетание, так же как и вновь образованное от него сложное существительное, вовсе не обязательно должно обладать признаком «идиоматичности» (на что в свое время обратил внимание еще И. И. Срезневский). Сочетания *пить чай*, *слушать радио* «отличаются от всякого другого свободного сочетания глагола с дополнением только тем, что они дали жизнь существительным *чаепитие* и *радиослушатель*»⁴.

Значительные расхождения обнаруживаются и при сопоставлении путей образования сложных существительных, с одной стороны, и существительных суффиксальных — с другой. В сложном существительном современного русского языка второй компонент, как правило, заметно отличается от первого по своему более широкому и общему значению. Не случайно обычная логизированная формула сложного существительного выглядит у сторонников синтагматического подхода к сложным словам как Т'Т, где Т' обозначает определяющее, а Т — определяемое⁵. Естественно, что с логической точки зрения видовой признак понятия, находящий свое выражение в первом компоненте, уже по своему объему, чем родовое понятие, которому соответствует второй компонент. Однако эта в целом верная характеристика общей логической структуры сложного слова мало что дает для выяснения собственно словообразовательных различий между его компонентами.

Различия же между компонентами сложного существительного с грамматической (словообразовательной) точки зрения обычно усматривают главным образом в том, что второй компонент сразу же по возникновении

¹ См. фельетон Б. Игнаткова «Словесная бестолочь» («Лит. газета» 25 XI 52): «Простым соединением двух слов была образована *книгоединица* («Московская правда»). Слово это было какое-то неудобоваримое и даже оскорбляло эстетическое чувство читателя (разрядка моя. — В. Г. Здесь, впрочем, возможен пропуск: *книжная единица* — *книгоединица*. Но важен аргумент автора фельетона, пусть в данном случае и ошибочный).

...Часто поиски здравого смысла терпели полную неудачу. Невозможно было, например, установить, что подразумевалось под словом *умельцедатель* («Белгородская правда»). Ср. также отдельные примеры, собранные в кн.: Л. Олшкн, История научной литературы на новых языках, русск. перевод, т. I, М.—Л., 1933, стр. 48 (сноска 1), 282.

² В состав сложного существительного часто не входят даже префиксы тех префиксальных глаголов, которые образуют стержневое слово исходных словосочетаний (см. ниже).

³ А. К. Кочетков, Устойчивые словосочетания с глаголом в современном русском языке. Автореф. канд. дисс., Куйбышев, 1954, стр. 14.

⁴ Н. И. Фельдман, О специфике небольших двуязычных словарей, ВЯ, 1952, № 2, стр. 78.

⁵ См., например, А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 254 и 258.

сложного существительного становится «суффиксированным словоэлементом». В результате новое сложное слово с тем же вторым компонентом может образоваться уже не на почве словосочетания (если последнее все-таки признается за базу для возникновения «первого» сложного существительного), а лишь на почве одного слова, превращающегося в первый компонент; вместо же второго компонента сложного слова в подобных случаях мы, с этой точки зрения, имеем дело с новым развивающимся, рождающимся «суффиксом», на первых порах еще почти не освобождающимся от своего конкретного (хотя и широкого) лексического значения. Ср. *содопровод* — *газопровод* — *ливнепровод* и т. д.; *пылесос* — *землесос* и т. п.; *Волховстрой* — *Днепрострой* — *Метрострой* — *Сталинградгидрострой* и т. д. Ср. в XIX в.: *мракобесие* — *адресобесие* — *англобесие* — *кнутобесие* — *москвобесие* — *патриотобесие* — *стихобесие* — *цветобесие* — *чинобесие* и т. п.¹

Отдельные исследователи считают целесообразным в подобных сложных существительных выделять повторяющиеся вторые компоненты в особые перечни «продуктивных» морфем, как это сделано, например, в академической «Грамматике русского языка» (т. I, М., 1952, стр. 273—277)². Другие же авторы выделяют и повторяющиеся первые компоненты, которые тем самым как бы рассматриваются в качестве потенциальных префиксов, так сказать, «префиксированных словоэлементов». Вообще в современных толковых словарях русского языка бросается в глаза никак не объясняемый составителями разноречивый в подаче компонентов сложных существительных.

В «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова включены «некоторые широко употребительные словообразовательные части» и среди них «первые части различных сложных слов — русских..., а также некоторых иностранных...» и «чаще встречающиеся вторые части сложных слов вроде *-фил...*, *-фоб...*, *-фикация...*» (§ 19; разрядка моя. — В. Г.). Но в то время как первых компонентов сложных слов в словаре насчитывается свыше 130, вторые компоненты выделяются здесь далеко не с такой полнотой (их немногим более 20) и, к тому же (впрочем, как и первые), без всякой системы.

С. И. Ожегов вообще не включает в свой словарь вторые части сложных слов³, а что касается первых компонентов, то «в словаре как заглавные слова помещаются все (!) производительные (продук-

¹ См. В. В. Виноградов, На истории русской литературной лексики, «Доклады и сообщения (Ин-та русского языка АН СССР)», вып. 2, 1948, стр. 10—12 и А. Х. Мищенко, Структурно-семантические разряды публицистической лексики А. И. Герцена, сб. «Вопросы изучения русского языка», Алма-Ата, 1955, стр. 253, 269.

² Н. Д. Андреев в статье «Термины типа *лесоводство*, *лесоведение*» [«Доклады и сообщения (Ин-та языковедения АН СССР)», VI, 1954, стр. 29—30], повидимому, склонен уподобить «суффиксированным словоэлементам», но терминология акад. В. В. Виноградова, все повторяющиеся вторые части сложных существительных: он относит сюда не только морфемы типа *-вод* и *-вод*, но и *-пад* (*листопад* и т. д.), *-рез* (*каменьрез* и т. д.), *-мет* (*миномет* и др.) и даже *-строение* (*паровозостроение*, *вагоностроение* и т. п.). Однако эта точка зрения, так же как попытка некоторых других исследователей утвердить понятие «полуаффиксации», не опирается на достаточно четкие, специфически словообразовательные признаки «суффиксированной морфемы», или «полуаффикса». Понятие «аффиксированной морфемы», очевидно, может найти применение в описании системы словообразования эсперанто, характерной особенностью которого является возможность употребления всех словообразующих аффиксов в качестве самостоятельных слов. См. R. de Saussure, La Wort-Strukturo en Esperanto (Raporto al la Esperanta Akademio), Aldono al «Esperanto», decembro 1916.

³ Ср.: «...сложные слова у Даля соотносительны только по первой части, между тем как совершенно произвольно не принималась в соображение их вторая часть...» (М. В. Канкава, В. И. Даль как лексикограф. Автореф. докт. дисс., Тбилиси, 1952, стр. 18).

т и в и ы е) в современном языке первые части слов...» (стр. 5; разрядка моя.— В. Г.). Однако произвол в выделении продуктивных компонентов остается¹.

В академическом «Словаре современного русского литературного языка» «находят место составные (первые и вторые) части сложных слов, если они являются продуктивными по словообразованию... Это положение относится и к заимствованным частям слов...» (Введение, т. I, 1950, стр. VI—VII; разрядка моя.— В. Г.). Эта же формулировка принята как установочная и при подготовке трехтомного (ныне — четырехтомного) «Словаря современного русского литературного языка»². Бесспорно, 14-томный академический словарь более последовательно, чем словарь под ред. Д. Н. Ушакова, выделяет вторые компоненты сложных существительных, но различие между ними в этом отношении все же не качественное, а количественное: с одной стороны, под «продуктивностью» компонента попрежнему понимается более или менее широкая употребительность, с другой — не выделяются такие «часто встречающиеся» вторые компоненты сложных существительных, как *-ед*, *-дел*, *-делие* и некоторые др.

Очевидно, словообразовательная теория до сих пор не вооружила лексикографов критерием, при помощи которого можно было бы, например, отобрать действительно все вторые компоненты сложных существительных, подлежащие включению в словари. В то же время ни один из современных толковых словарей русского языка не дает отдельными статьями продуктивные суффиксы³.

Теоретической базой для упомянутых выше перечней наиболее или просто «продуктивных» вторых компонентов сложных существительных, так же как для приведенных высказываний составителей словарей, явилось признание способа образования большинства сложных существительных аналогическим, морфологическим, т. е., иначе говоря, отождествление принципов образования сложных и аффиксальных (суффиксальных) слов. Эта точка зрения, которую в свое время отстаивал И. Лось, и в настоящее время широко распространена среди исследователей словообразовательной системы русского языка в его современном состоянии и в его истории⁴.

Известно, что в русском языке, как и во многих других, словосложение находится в тесной связи и во взаимодействии с развитой системой суффиксального словообразования существительных⁵. Но тем более своевременна попытка вскрыть принципиальные различия между этими двумя способами пополнения словарного состава русского языка. Одно из различий такого рода может быть обрисовано в общих чертах следую-

¹ Так, почему-то не выделены морфемы *взаимо-*, *воздухо-*, *земле-*, *зоо-*, *книго-*, *красно-*, *легко-*, *машино-*, *металло-*, *миро-*, *путе-*, *расно-*, *свето-*, *угле-* и др.

² См. брошюру: «Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (в трех томах)», (Ин-т языкознания АН СССР), [Л.], 1953, стр. 16 (§ 24).

³ Ср. Л. В. Щербач, Восточно-лужицкое наречие, т. I, Пг., 1915, стр. 75—76 и приложение к этой книге («Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений»), где высказывается мысль о необходимости включения в словарь «списка морфем».

⁴ Кроме уже приведенных высказываний, см. еще, например, В. Л. Воронцов, Словообразование существительных со значением действующего лица в древнерусском языке (способы суффиксального словообразования). Автореф. канд. дисс., М., 1953, стр. 15.

⁵ Достаточно указать на широкое распространение в современном русском языке типов образования суффиксально-сложных существительных (*злослышатель*, *конькобежец*, *снеготаялка* и т. п.), специфика которых, кетати, совершенно недостаточно учитывается в общих грамматических руководствах по русскому языку.

ним образом. Если для образования нового суффиксального существительного, например, существительного *ограниченность* от прилагательного *ограниченный*, достаточно одного ряда слов (существительных типа *гордость, грубость, скрытность* и т. д., образованных от прилагательных с качественным значением), в которых выделяется продуктивный суффикс (-ость), то для того чтобы могло возникнуть новое сложное существительное, например слово *бракодел*, необходимым оказывается уже не ряд таких сложных слов, как *винодел, маслодел* и т. п. (поскольку слово *бракодел* могло оказаться первым в этом ряду и возникнуть по продуктивной модели *возить воду — водовоз*), но прежде всего словосочетание *делать брак*. Иначе останется совершенно необъяснимой причина объединения в одном слове именно этих (*брак-* и *-дел*) конкретных знаменательных морфем, выступающих в том же значении в самостоятельно употребляемых словах (*брак* и *делать*). Не вскрывает этой причины и правильное, но слишком общее указание на то, что сложные слова возникают «на основе существующей в языке закономерной синтаксической возможности сочетания определенных разрядов лексики»¹.

Конечно, возможно «потенциальное образование» самых различных сложных существительных, например с *-дел* во второй части, так как глагол *делать* обладает исключительно широкой сочетаемостью. Но в тех случаях, когда второй компонент образован от какого-либо глагола с более узким значением, с меньшими возможностями синтаксической сочетаемости, трудно ожидать, что появится большое число новых сложных существительных, образованных с его участием (*брить — брадобрей, месить — тестомес* и под.). Очевидно, причины различий в степени употребительности того или иного компонента сложного существительного следует искать не в морфологической аналогии (производительности), действие которой наталкивается на полное сохранение компонентом своего лексического значения, а в синтаксисе словосочетаний.

«Сразу» возникают только существительные аффиксального образования; подавляющее же большинство сложных существительных образуется не «сразу», не по морфологической аналогии, а на базе словосочетаний. С этой точки зрения нельзя согласиться с теми исследователями, которые выделяют особый, чисто морфологический тип образования сложных слов², игнорируя тот факт, что «словосложение является своеобразным комбинированным типом словообразования, с и н т а к с и к о м о р ф о л о г и ч е с к и м»³. «Готовые модели» — несомненный факт языковой действительности, но и том-то и заключается специфика словосложения, что за сложным словом, образованным по данной модели, стоит, как правило, конкретное словосочетание и — соответственно — тип словосочетания⁴. В этой связи применительно к компонентам сложных существитель-

¹ М. И. Привалова, К определению понятия сложного слова в русском языке, «Вестник Ленингр. ун-та», 1956, № 8, стр. 73.

² См. Н. С. Родзевич, Про будову складних слів у сучасній українській мові, «Укр. мова в шк.», 1952, № 6, стр. 14 и сл.; А. С. Новакович, Сложные слова в современном датском языке. Автореф. канд. дисс., М., 1952, стр. 21 и сл.

³ В. В. Виноградов, Вопросы современного русского словообразования в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию, «Р. яз. в шк.», 1951, № 2, стр. 4 (разрядка моя. — В. Г.).

⁴ Конечно, в различных случаях «игры слов» — индивидуальных образованиях типа *буагопоклонники* (фельетон Юр. Чаплыгина, «Правда» 25 I 54), *долларопоклонник* («Лит. газета» 1 III 55), *шалашеуправление* (И. Ильф и Е. Петров, Костылан нога), *трудопочи* («Лит. газета» 16 II 54), *ногоделье* (Т. Г. Шевченко, Дневник, 29 III 1858), *пешешествовать* («Лит. газета» 9 I 54), *частописание* (М. Горький, Письмо Е. П. Пешковой 17 V 1898) аналогия со словами — соответственно — *идолопоклонник, домоуправление, трудодни, рукоделье, путешествовать, чистописание* выступает, так сказать, на первый план, однако их связь и соотносительность со словосочетаниями

ных едва ли возможно говорить об аналогии и производительности (продуктивности)¹.

Из сказанного вытекает еще два важных положения: 1) если данное «сложное существительное» действительно образовано по аналогии с другими, то, очевидно, один из его компонентов уже превратился в аффикс; 2) всякое сложное существительное, например *водопровод*, *газопровод* и под., в общем до тех пор будет оставаться сложным словом современного русского языка, пока давшее ему жизнь и соотносительное с ним словосочетание, например *проводить воду*, *проводить газ* и т. д., сохраняется в качестве живого и общеупотребительного в той или иной речевой сфере.

С одной стороны, например, помета, которой сопровождается слово *хлопкороб* в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, — «[образ. по типу *хлебороб*]» — находится в противоречии с содержащейся в этом словаре характеристикой морфемы [роб] как «второй части составных (!) слов» и, очевидно, свидетельствует о том, что это слово суффиксальное, а не сложное и что *-роб* тем самым превратилась в суффикс, хотя и почти непродуктивный (ср. диал. *землероб*)². С другой стороны, диалектное слово, представляющееся «опрошенным» с точки зрения соотношений внутри литературного языка, может оказаться полноценным сложным словом в системе определенного диалекта. Ср., например, *пескозоб* «рыба бычок» и *зобать* («жевать, есть») *песок*; *палопрят* «убирание больших несгоревших стволов и пней с места, выжженного для подсеки» и *пал* («место, выжженное в лесу») *прятать*³.

Соотносительности второго компонента с знаменательными морфемами современного русского языка — критерий, выдвигаемый некоторыми исследователями⁴, — недостаточно для того, чтобы признать соответствующие существительные сложными. Так, несмотря на известную соотносительность морфемы *-дей* в *злодей*, *лиходея*, *прелюбодей*, *чародей* и под. с корнями слов *действие*, *деяние*, *деятель*; *деееспособный*, *деепричастие* и т. п., слова типа *злодей* в настоящее время, очевидно, нельзя признать сложными, поскольку глагол *дейать* и словосочетания *дейать зло* и под. уже не являются живыми фактами русского языка. Однако едва ли можно сказать, что *-дей* превратилась в суффикс: эта морфема не стала продуктивной в русском языке (хотя ср. проп. *стиходей* у В. Г. Бе-

несомненна; этим они, собственно, и отличаются от новообразований типа *борцмеханик* (В. Привальский, *Холодные люди*, «Веч. Москва» 17 I 55), основанных почти исключительно на созвучии отдельных компонентов и обычно мало удачных. Каламбур *психотехника* — *спикотехника* (Д. Гранин, *Искатели*) показывает, что игра слов, основанная на созвучии, только тогда и входит в широкий обиход, когда за вновь созданным сложным словом стоит словосочетание (ср. *техника спикирования*). Ср. еще индивидуальные каламбуры, построенные на созвучии: *Сасанарыло* (Н. Пльф и Е. Петров, Как создавался Робинзон), *миллиардёр* (М. Горький, Письмо А. В. Амфитеатрову, V 1906) и *верхолёт* («Грокодил» 30 VII 55, стр. 4 обложки). Роль исходного словосочетания нетрудно увидеть и в отдельных случаях иной контаминации. Ср., например, *дыросшиватели* (Н. Пльф и Е. Петров, Золотой теленок) и *скоросшиватели и дыроколы*.

¹ Недостаточным оказывается, очевидно, и определение продуктивных словообразовательных морфем как просто «широко используемых в современном языке для создания новых слов...» [Г. П. Мухомов, Морфологическое строение слова в современном русском языке, Харбин, 1955 (стенограф. изд.), стр. 63].

² Слово *хлебороб* — по происхождению украинизм, т. е. заимствовано из близко родственного языка.

³ См. Г. Куликовский. Словарь областного олонечкого наречья, СПб., 1898, стр. 30, 77, 81, 96.

⁴ См. М. И. Привалова, указ. дисс., стр. 34—36; Н. Д. Андреев, указ. соч., стр. 30. Ср. Е. Поливанов, Иностранная терминология как элемент преподавания русского языка, сб. «За марксистское языкознание», М., 1931, стр. 71—72.

линского в «Литературных мечтаниях»; *крючкодей* у А. В. Дружинина в «Полиньке Сакс» и под.). Таким образом, утрата сложным существительным соотносительности с исходным словосочетанием может привести к более или менее полной деэтимологизации сложения (ср. *мотовило*, *чертополох*, *лигорадка*, *сысоротка*, *бедокур*, *шиворот* и др. под.)¹. Старославянизмы — сложные слова книжного происхождения, значительная часть которых представляет собой кальки с греческого, в частности, потому и подвержены довольно сильной деэтимологизации, что в русском языке отсутствуют соответствующие им исходные словосочетания.

Особый интерес представляет, однако, иной результат утраты соотносительного словосочетания: в том случае, если первый или второй компонент сложного слова получает в языке способность к аналогическому воспроизводству, становится продуктивным, он тем самым приобретает необходимое качество продуктивного аффикса.

2

Предложенный выше критерий отличия сложного существительного от аффиксального, естественно, не следует применять механически². Система живого языка находится в состоянии непрерывного, по постепенного движения, развития, и отдельные ее элементы получают иную качественную характеристику и приобретают новое значение в связи с развитием других частей системы не сразу, а лишь в результате продолжительного процесса. Это соображение заставляет обратить особое внимание на конкретные факты превращения компонентов сложных существительных в аффиксы, прежде всего — на довольно многочисленные переходные и спорные случаи.

В настоящее время мы уже, очевидно, не можем считать такие слова, как *почвовед*, *страновед*, *краевед*, *законовед* (устар.), *языковед*, *востоковед* (ср. прон. *сверчковед* у П. Ильфа и Е. Петрова), сложными именно по той причине, что в системе современного языка отсутствуют соотносительные с ними словосочетания, поскольку глагол *ведать* претерпел существенные изменения в своем значении и потерял связь со второй частью подобных образований, которые тем самым возникают как суффиксальные слова по аналогии с уже существующими³.

Обращает на себя внимание тот факт, что при образовании новых слов посредством суффикса *-вед* словообразовательная модель остается старой, типичной для образования сложных слов. Производящая основа в суффиксальных словах *краевед*, *почвовед* и др. под. имеет особую форму на *о-*, *е-*. В этом и заключается специфика образования таких слов, сказыва-

¹ См. Л. А. Булахонский, Деэтимологизация сложений в русском языке, «Мовознавство», т. IX, 1954. Другие исследователи предпочитают говорить об опрощении. Ср.: «Понятие опрощения (Богородицкий) следует расширить за счет сложных слов. Из исследованных нами полностью утратили былую структурную и семантическую сложность слова: *асльмозжа*, *воевода*, *тицеславие*, *рукоделье*, *лицемер*, *злодей* и др.; в значительной мере утрачивают ее слова: *туняедец*, *жисопись*, *челобитчик*, *благословение* и нек. др.» (М. В. Федорова, Суффиксальные существительные в «Книге о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Автореф. канд. дисс., М., 1953, стр. 13). Некоторый субъективизм в такого рода перечнях пока, к сожалению, неизбежен, так как в разработке синтаксиса словосочетаний сделаны еще только первые шаги, а что касается истории конкретных неидиоматичных и малоидиоматичных словосочетаний и их различных типов, то это почти сплошное «белое пятно».

² Особенно должна учитываться специфика способов образования так называемых «интернациональных сложных существительных».

³ Оба значения глагола *ведать*, отмечаемые в словаре под ред. Д. И. Ушакова, имеют помету «устарелое». Подзначение «управлять, заведовать чем-н.» (*ведать избой-читальней*) не соотносительно со значением компонента *-вед* в рассматриваемых словах.

няются особенности происхождения нового суффикса. Старая морфологическая форма, так сказать, приспособлена к новому словообразовательному содержанию, подчинена ему.

Посредством нового суффикса *-сед* образуются имена существительные мужского рода, обозначающие лиц по их отношению к какому-нибудь предмету, кругу явлений, определяющему их профессию, специальность, научные интересы. Все подобные слова в настоящее время представляют собой строго определенный терминологический ряд. Особняком стоит одно только слово *сердцевед*. Соотносительный с суффиксом *-сед* суффикс *-ведение* служит для образования существительных со значением отрасли научного знания, профессии, специальности. Ср. *византиноведение*, *искусствоведение*, *источниковедение*, *картоведение*, *материаловедение*, *мажковедение*, *охотоведение*, *почвоведение*, *пушкиноведение*, *стиховедение*, *страноведение* и др. под.

Едва ли есть необходимость умножать примеры на слова с суффиксами *-вед* и *-ведение*: соответствующие материалы уже введены в научный обиход Н. Д. Андреевым в упоминавшейся выше статье. Следует ограничиться отдельными замечаниями в связи с вопросом о выделении суффиксов *-вед* и *-ведение*.

Морфема *-ведение* в словах *всеведение*, *сердцеведение* в настоящее время существенно отличается от *-ведение* в словах типа *лесоведение*, *славяноведение* и под.: управление вроде *всеведение пророка* (Лермонтов) для этих последних слов невозможно. Как те, так и другие должны быть признаны суффиксальными в современном языке, ввиду того что значение «знать» у глагола *ведать* стало архаичным. Однако еще в конце первой половины XIX в. дело, повидимому, обстояло иначе. Показательно в этом отношении, что А. И. Герцен в своих «Письмах об изучении природы» употребляет безразлично такие словосочетания, как *потребность знания* и *потребность ведения* (Письмо второе), *начало знания* и *начало ведения* (Письмо третье). Синонимичностью глаголов *седать* и *знать* в истории русского литературного языка можно объяснить возникновение таких дублетных форм, как *естествоведение* (А. И. Герцен, Письма об изучении природы. Письмо первое) и современное *естествознание*, или такой пары, как *языкознание* — *языковедение*, которая дождала до наших дней и для которой лишь в самые последние годы можно отметить победу термина *языкознание*, казалось бы, вопреки бурному развитию терминологического ряда слов с *-ведение* во второй части¹.

Не лишним будет заметить, что в сложном слове *голосоведение* вторая часть соотносительна с глаголом *вести*. Ср. омографы *книговведение* — *книговедение*, а также *счетоведение* (спец.) как синоним слова *счетоводство*. Для истории развития суффиксального значения у морфемы *-ведение* показательно заглавие книги, вышедшей в 1824 г. (место издания не указано): «Семiotика или *признаковедение*, то есть наука о признаках болезненного состояния человека. Перевод с немецкого Н. Заценина», — позволяющее поставить вопрос о калькировании как о факторе, который способствует изменению внутрисистемных соотношений языковых единиц.

По-разному — то как сложные слова, то как образования, содержащие во второй части «суффиксальные (или суффиксированные) словоэлементы», то как суффиксальные — рассматриваются в работах последних лет не только слова с *-вед* и *-ведение*, но и слова с компонентами *-вод*, *-водство*,

¹ Ср. «Введение в языковедение» А. А. Реформатского (1947) и его же «Введение в языкознание» (1955). Ср. также *искусствознание* — *искусствоведение* и *музыкознание* — *музыковедение*.

-носец, -фил, -фоб, -лог, -логия, -фикатор, -фикация, -ман и некоторые другие (с элементом -тека и под.)¹.

В рамках настоящей статьи нет возможности рассмотреть вопрос о так называемом сложении интернациональных основ. Что же касается морфем -вод и особенно -носец, то факты свидетельствуют о том, что их нельзя дифференцированно ставить в один ряд с -вед, поскольку степень их словообразовательного обобщения различна; в частности, у морфемы -носец она далеко не так высока, как у -вед, а соответствующие слова (орденоносец, письмоносец и под.) не порывают своей связи с исходными словосочетаниями.

В самом деле, основная масса слов с -носец во второй части соотносительна со словосочетаниями, состоящими из глагола *носить* — *нести* в его различных значениях и существительных, основы которых обнаруживаются в первых частях таких слов. Ср. *письмоносец* и *носить* (разносить) *письма* (ср. *соленонос* у Даля); *орденоносец* (пов.) и *носить орден(а)*: *звездоносец* (устар.) и *носить звезду* (ср. историч. *крестоносец*, а также проп. устар. *рогоносец*); устар. *богоносец*; историч. *венценосец*, *копьеносец*, *меченосец*, *оруженосец*, *порфириносец*, *хоругвеносец*, *щитоносец*; *броненосец*, *миноносец*, *танконосец* (А. Первепцев, Огненная земля), «*Громоносец*» (название парохода Черноморского флота в 50-е гг. XIX в.), *нотонос* «нотный стап» и приписываемое А. Г. Рубинштейну слово *струноносец* «рояль» (пренебреж.). Ср. также щедринские неологизмы *белибердоносец* и *надеждоносец*, образованные на базе фразеологических сочетаний *нести белиберду* и *нести надежду*, в которых глагол *нести* выступает в разных значениях. Ср. у него же: *ябоносец*.

Повидимому, только слово *авианосец*, образованное по аналогии с *миноносец* и *танконосец*, дает некоторое основание говорить о том, что морфема -носец уже переходит в разряд суффиксальных. Однако изолированность этого слова, ввиду яркого отпечатка контаминации, который оно несет на себе², и семантическая неоднородность, как показывает приведенный материал, самой морфемы -носец не позволяют считать процесс ее словообразовательного обобщения так же далеко зашедшим, как это имеет место в отношении компонента -вед, и вывести образование соответствующих слов за пределы процессов словосложения³.

Точно так же не может считаться суффиксальной ни одна из разновидностей морфемы -нос: слова типа *каучуконос*, *медонос*, *сахаронос* не порывают связи со словосочетаниями типа *нести в себе что-либо* (ср. соотносительные прилагательные на -носный)⁴; др.-рус. и диал. *водонос* «ведро» и слова типа *спиртоносы* «торговцы спиртом» (В. Шинников, Чертознай) образованы на базе словосочетаний *носить что-либо* (ср. *письмоносец* и под.)⁵.

¹ Ср. В. В. Виноградов, Русский язык, стр. 105—106, 139; «Грамматика русского языка», т. I, Изд-во АН СССР, М., 1952, стр. 273—277; «Соврем. русск. язык. Морфология», стр. 127.

² Это слово выпадает из ряда сложносокращенных с *авиа-* в первой части (*авиабаза*, *авиапарк* и др.; ср. *авиационна* и *авиопочта*), так как морфема *авиа-* в нем не является сокращением слова *авиационный*.

³ В то же время несомненно, что отдельные слова с -носец во второй части становятся до некоторой степени идиоматичными. Так, *орденоносец* может не носить ордена (орденов), используя орденские ленты и планки. Значение слова *орденоносец* расширяется, кроме того, за счет слова *медаленосец*, употребляемого только в разговорной речи.

⁴ Изолированным является ряд *плодоносить* — *плодоношение* и *плодоносие* (Салтыков-Щедрин).

⁵ Нельзя согласиться с тем, что суффиксальными стали и слова *мехоноша*, *книгоноша* (см. В. В. Виноградов, Русский язык, стр. 78), так как они связаны со словосочетаниями (раз)носить меха, книги. Ср. название города: *Золотоноша*.

Пеструю картину с точки зрения современных словообразовательных отношений представляют собой существительные с *-вод* и *-водство* во второй части. Сложные существительные типа *пчеловод*, *скотовод*, *птицевод* возникли на основе словосочетаний *водить пчел*, *скот*, *птицу* и т. д., в которых глагол *водить* выступал в значении «заниматься разведением домашних животных». Однако данное значение в настоящее время является уже устаревшим. Оно не регистрируется в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, а примеры, приводимые на него в «Словаре современного русского литературного языка», взяты из языка Л. Н. Толстого (*водить пчел*) и Лескова (*водить кур*), и только словосочетание *водить голубей* употребительно и в наши дни¹. Ср.: «До сих пор существует (в Краснодаре) окраина „Голубятники“. Когда-то это были деревянные хибарки на отлете, и мальчишки водили там голубей» (Фадеев)². Однако здесь заметен особый оттенок в употреблении глагола *водить*: *водить голубей* значит не «разводить голубей», а «заниматься голубятничеством», иначе говоря, словосочетание это стало фразеологизмом.

Слово *коновод* в значении «рядовой при лошадях» (воен.) соотносительно и сейчас, несмотря на свою идиоматичность, со словосочетанием *водить коня* (*коней*), где *водить* выступает как глагол движения. Легко восстанавливаются исходные словосочетания у таких слов, как *счетовод*, *деловод*³ — *вести счета*, *дела*. Несомненно, являются сложными возникшие уже в советский период слова *групповод*, *звеньевод*, *кружковод*, *экскурсовод* (ср. *вести группу*, *кружок*, *проводить* или *вести экскурсию*). Ср. устар. *домовод*. Сложным должно быть признано и слово *плотовод* (спец.), связанное со словосочетанием *(про)водить плоты*. Не потеряли связи со словосочетаниями и такие слова, как *пищевод*, *йцевод*, хотя в соответствующих словосочетаниях, как и в некоторых других случаях, глагол оказывается уже приставочным (*проводить*)⁴. Слово *коновод* (разг.) в значении «вожак», в силу своей идиоматичности и узкой сферы распространения исходного словосочетания, в значительной степени деэтимологизировалось, хотя его морфологическая членимость поддерживается словом *сержовод* (разг.) в близком значении⁵.

Если обратиться к существительным с *-вод* во второй части, осложненным суффиксом, то обнаруживается, что они также сохраняют и сейчас свой сложный состав. Семантически не разложимое слово *руководитель*, идиоматичность которого становится очевидной при сопоставлении с живыми словосочетаниями *водить* — *вести за руку*, не утрачивает своей морфологической членимости, как не утратило ее ныне уже устаревшее слово *письмоводитель* (ср. *вести письма*). Повидимому, к словосочетанию *водить грех* (ср. *водить хлеб-соль*, *дружбу* и под.) или *водиться с грехом* (ср. *за ним водится грех*) следует познать также устаревшее разговорное слово *грехосодник*⁶. Новообразование *пролетариатоводец* у Маяковского

¹ Едва ли о социалистическом коллективном хозяйстве (колхозе или совхозе) можно сказать, что в нем *водят кур*, *пчел*, *голубей* и т. п., хотя неприменимость таких выражений к домашнему хозяйству колхозника менее очевидна.

² См. «Словарь современного русского литературного языка», т. II, 1952, стр. 593.

³ Последнее слово, впрочем, уже не отмечается словарями, хотя изредка встречается в произведениях современных советских писателей (см. Вас. Гроссман, За правое дело).

⁴ Слов типа *водоевод*, *пищевод*, *йцевод* больше почти не образуется; новое слово *пильмовод* имеет синоним (видимо, более употребительный) *грунтопровод* — слово, которое входит в быстро растущий в связи с развитием техники ряд: *водопровод*, *газопровод*, *нефтепровод*, *путепровод*, *трубопровод*, *бензопровод* и под. В сложных существительных, связанных с научно-технической терминологией, вообще гораздо чаще, чем в других, второй компонент оказывается приставочной глагольной основой.

⁵ См. «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. I, стр. 257.

⁶ Слово *детоводница*, отмеченное в «Лексиконе» Ф. П. Поликарпова («няня,

отнодъ не свидетельствует о том, что слова *полководец* и *флотоводец* утратили связь со словосочетаниями *вести* (*водить*) *полки*, *флот* и стали суффиксальными¹; оно как раз показывает устойчивость данного значения глагола *вести* — *водить*, а также живучесть суффиксально-сложной модели образования слов с суффиксом *-ец*.

Переходя к рассмотрению основной массы образований с *-вод* во второй части, следует прежде всего отметить, что составляющие стройный терминологический ряд такие слова, как *животновод*, *коневод*, *кроликовод*, *лесовод*, *луговод*, *льновод*, *овощевод*, *овцевод*, *оленовод*, *ондатровод*, *полесовод*, *птицевод*, *пчеловод*, *растениевод*, *рыбовод*, *садовод*, *свекловод*, *свиновод*, *семеновод*, *скотовод*, *табаковод*, *устрицевод*, *хлопковод*, *хмелевод*, *цветовод*, *цитрусовод*, *шелковод* и многие др. под., в настоящее время, как правило, соотносятся со словосочетаниями, в которых вместо бесприставочного выступает приставочный глагол *разводить*².

Этот факт как будто заставляет признать, что во всех подобных словах компонент *-вод* в какой-то степени отрывается от конкретного глагола исходного словосочетания (ср. подобный же процесс, хотя и не получающий развития, в словах типа *пищевод*, *яйцевод* и под.; см. выше), делая тем самым первый шаг к обобщенному значению суффикса и в то же время несколько теряя в своей знаменательности. Однако обращает на себя внимание также и то, что среди первых компонентов перечисленных образований встречаются морфемы *поле-*, *шелко-* и некоторые другие, которые сами выступают в роли представителей словосочетаний и слов *полевые сельскохозяйственные растения*, *шелкопряд* и т. п. Ведь «при интегрировании в одно сложное слово многоморфемных слов возникают известного рода трудности, так как при сохранении всех элементов слагаемых слов получаются слишком громоздкие сложные слова. В этих случаях язык часто идет по пути сокращения менее ценных в семантическом отношении словообразовательных элементов (суффиксов и даже менее ценных корневых единиц)»³. Как показывают приведенные примеры, это характерно не только для новых «сложений определительного типа», что отмечено Б. М. Яцимирским, но и для некоторых старых сложных слов иных типов — слов, которые возникают не просто путем сведения, или интеграции, «словосочетания-названия в одно сложное слово», а на базе различных глагольных словосочетаний. Ср. соотношения: *хлебодар* и *одаривать хлебом*, *коногон* и *погонять коней*, *земледелец* и *возделывать землю* и под.

Таким образом, факт соотносительности слов типа *животновод*, *полесовод*, *хмелевод* и под. с приставочным глаголом *разводить*, вместо бесприставочного *водить*, сам по себе еще не свидетельствует об отрыве указанных слов от системы словосложения. Несмотря на известный параллелизм в терминологических рядах слов с морфемой *-вед*, с одной стороны, и *-вод* — с другой, несомненная соотносительность (хотя и ущербная — до какой-то степени) последних с живыми словосочетаниями современного русского языка не позволяет считать такие слова суффиксальными и уже сейчас вы-

зри детоводница»), видимо, возникло на основе словосочетания *водить детей*. Ср. современное специальное значение глагола *водить*: «выхаживать (детенышей; о домашней птице)». У П. А. Катенина в стихотворении «Дура» (1835): «В поле боится ходить, но дома всегда за работой: Пряжу прядет, *детей* качает и *водит* у брата...».

¹ См. Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика (Курс лекций), М., 1954, стр. 132.

² См. в толковых словарях определения значений слов с *-вод* и *-водство* во второй части.

³ Б. М. Яцимирский, Развитие способов словосложения в русском языке советской эпохи, «Уч. зап. Ивановского гос. пед. ин-та», т. VI. Филология. науки, 1954, стр. 29.

вести их за пределы сложных слов; можно лишь отметить такого рода тенденцию.

Поэтому в настоящее время в общем можно было бы признать верным определение морфемы *-вод* в «Словаре современного русского литературного языка»: «Вторая часть сложных слов, обозначающих преимущественно специалистов в какой-либо отрасли хозяйства, указанной в первой части сложения» (т. II, стр. 492)¹. Следовало бы только перед словом «хозяйства» вставить «сельского», а в иллюстрациях, приводимых в данной словарной статье, оговорить, что *счетовод* не стоит в одном ряду со словами *пчеловод*, *садовод* и *скотовод*².

Все слова со вторым компонентом *-вод* в указанном основном значении имеют соотносительные образования на *-водство*, которые не могут быть признаны производными от слов с *-вод* во второй части, поскольку те и другие могут возникать параллельно и как бы независимо друг от друга. Показательны в этом отношении такие щедринские образования, как *клоповодство* и *хреноводство*, при отсутствии слов *клоповод* и *хреновод*. В то же время должен учитываться факт несомненного параллелизма в образовании терминологических рядов слов с *-ведение* и *-водство* во второй части.

Как не может считаться полностью завершившимся процесс превращения морфемы *-вод* в суффикс, так нельзя признать законченным процесс семантической дифференциации между морфемами *-вед*, с одной стороны, и *-вод* — с другой, и соответственно *-ведение* и *-водство*. В этом, в частности, убеждает наличие отдельных образований на *-вод(ство)*, стоящих, с семантической точки зрения, в одном ряду с образованиями на *-вед(ение)*. Так, например, слово *лесоводство* обозначает не только «уход за лесом, разведение леса», но и «науку о лесном хозяйстве»³. Слово *товаровед* обозначает не только специалиста в области товароведения, «науки о товаре как предмете торговли», но и всякого работника «по браковке, сортировке, выбору и приобретению товаров, по их калькуляции и т. п.»⁴. Пожалуй, единственный случай четкого противопоставления находим в словах *собаководение* и *собаковод*, с одной стороны, и *собаководство* и *собаковод* — с другой. *Собаководение* имеет значение «наука о методах разведения и использования собак» (то же, что *кинология*), тогда как *собаководство* обычно определяется следующим образом: «разведение и улучшение пород собак как отрасль хозяйства»⁵. Здесь особенно заметно более «высокое» значение слов с морфемой *-вед(ение)*, закрепляющейся за названиями отраслей научного знания, по сравнению со словами на *-вод-*

¹ В словаре под ред. Д. Н. Ушакова *-вод* и *-водство* (а также *-вед*) не вынесены в отдельные словарные статьи, хотя для *-ведение* почему-то сделано исключение.

² Замечу кстати, что первые части слов с *-вод* не указывают «какую-либо отрасль хозяйства». Соответствующие коррективы следовало бы внести и в статью о морфеме *-водство* в большом академическом словаре (т. II, стр. 521), сформулированную чрезвычайно неудачно: «Вторая часть сложных слов, обозначающих ведение какой-либо отрасли народного хозяйства и управления. Слова *животноводство*, *освецоводство* и др., приводимые в качестве иллюстраций, обозначают не «ведение» соответствующих отраслей, преимущественно сельского хозяйства, а сами эти отрасли.

³ См. «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. II, стр. 48. Ср. в романе «Русский лес» Л. Леонова: «Без усвоения этих букварных истин, — заключал одну из глав Вихров, — лесоводство превращается в обычное лесопользование» (X, 1), а также употребление в значении «лесоводственная наука» слова *лесоведение* (там же, VII, 2), при малоупотребительности слова *лесовед*, которое (впрочем, так же, как и *лесоведение*) обычно не отмечается толковыми словарями. Ср. Н. Д. Андреев, указ. соч., стр. 26.

⁴ См. «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. IV, стр. 721.

⁵ См. там же, стр. 329. Другое значение: «отдельное хозяйство по разведению собак» — является вторичным.

(ство), употребительными в качестве обозначений прикладных отраслей хозяйства (особенно сельского хозяйства)¹.

*

Таким образом, одно из важнейших отличий словосложения от аффиксации как способа словообразования — по крайней мере в части словосложения имен существительных — заключается в том, что сложные слова возникают обычно на базе синтаксического сочетания знаменательных слов, тогда как аффиксальные (в особенности суффиксальные) слова образуются, как правило, аналогически. В связи с этим к компонентам сложного существительного неприменимо понятие морфологической продуктивности, а словосложение в целом или в отдельных разновидностях не дает оснований для включения его в ряд морфологических способов словообразования.

Историческая связь словосложения с различными типами словосочетаний очевидна (для сращений — и в настоящее время). Поскольку в современном русском языке представлено известное число морфологических моделей сложения слов, в какой-то мере оправдана в применении к нему иллюзия «основосложения», как будто могут существовать вне слов и словосочетаний самостоятельные основы, способные «складываться» в цельнооформленные словарные единицы. Однако внешний отрыв многих сложных существительных от словосочетаний не должен служить основанием для отрицания синтаксической природы словосложения².

Деэтимологизация сложных существительных вызывается обычно утратой ими соотносительности с исходными словосочетаниями в связи с выпадением этих последних из определенной сферы их употребления.

Переходные между словосложением и аффиксацией случаи не представляют собой единства и, в подавляющем своем большинстве будучи связанными или со словосложением, или с аффиксацией, не дают оснований для выделения «полуаффиксации» как особого типа словообразования.

Сформулированные выводы в основном опираются на материал сравнительно узкой группы сложных существительных с глагольным вторым компонентом. Насколько можно судить, материал именного словосложения в целом в современном русском языке подтверждает полученные выводы. Но для того чтобы эти выводы могли приобрести общетеоретическое значение, необходима их проверка на материале различных языков. В отношении русского языка, в связи с вышесказанными выше замечаниями, особенно актуальной представляется задача тщательного описательного и исторического изучения синтаксиса и фразеологии профессиональной речи. Одной из важных задач является также изучение суффиксально-сложных слов и «интернациональных сложных существительных» современного русского языка. Целесообразно было бы подчеркнуть всестороннему критическому анализу и понятие «полуаффиксации».

¹ Ср. также *семеноведение* и *семеноводство*. Весьма показательны по-разному толкуемые отдельными специалистами отношения между содержанием таких терминов, как *лесоводство* и *лесоведение*, а также *луговодство* и *луговедение* (см. БСЭ², т. 25, стр. 13—14 и 449—450).

² См. З. П. Донован, Сложные прилагательные в современном русском языке. Канд. дисс. (машинопись), М., 1950, стр. 2, 97, 152 и др.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. П. МАЖЮЛИС

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕЦИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Сравнительно-историческое изучение числительных (как и остального словарного материала) индоевропейских языков началось с появлением сравнительно-исторического языкознания. Многие проблемы, связанные с исследованием индоевропейских числительных, в настоящее время следует считать решенными; однако ряд важных вопросов требует уточнения. В нашей статье рассматриваются некоторые спорные вопросы, относящиеся к индоевропейской десятичной системе числительных¹.

*

Имеющиеся данные об индоевропейских числительных «2» — «10» говорят о том, что в индоевропейском языке-основе они существовали. Более того, своими истоками эти числительные уходят в очень древний период развития индоевропейского языка-основы. Древнеиндоевропейские числительные «2» — «10» не были заменены другими словами и после «распада» индоевропейского языкового единства; они дошли и до наших дней. Нет сомнения, что индоевропейские числительные «2» — «10» первоначально были словами, которые обозначали конкретные понятия, и лишь впоследствии путем абстракции стали названиями этих чисел; однако индоевропейцам еще не удалось установить первоначальные значения указанных слов ввиду большой древности и абстрактности данных числительных.

Что касается числительного «1» индоевропейских языков, то его нельзя возвести к одному общиндоевропейскому архетипу (в отличие от числительных «2» — «10»). Греч. *εἷς*, *μία*, *ἓν*, арм. *mi*, тох. В *ṣeme* указывают на архетип **sem-* (**sm-*); однако в остальных индоевропейских языках архетип **sem-* не представлен в значении числительного: гот. *samaþ* «вместе», др.-в.-нем. *samet* «вместе», др.-ирл. *som* «сам», ст.-слав. *самъ*, санскр. *sam-* «с-», авест., др.-перс. *ham* «с», лит. *sam-*, *san-*, *sa* «с-», ст.-слав. *сѣ*-и др. Данные слова восходят к архетипу **sem-*, который имелся в индоевропейском языке-основе, однако не в значении числительного, а в значении прилагательного², семантически

¹ В древнеиндоевропейском языке была только десятичная система, что удалось доказать Ф. Зоммеру (см. F. Sommer, *Zum Zahlwort*, München, 1951); он обосновал то, что в индоевропейском языке-основе десятичная система числительных не подверглась влиянию никаких сексагезимальных и т. п. систем числительных неиндоевропейских или протондоевропейских языков (вопреки мнению, господствовавшему до последнего времени).

² См. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М. — Л., 1938, стр. 409.

близкого, но не тождественного числительному «1» (из этого значения прилагательного впоследствии и развилось значение числительного «1»). Лат. *semel* «один раз», *simul* < *semol* «вместе», *similis* «похожий», *simplex* «простой», санскр. *sakṛt* «один раз», авест. *hakərət* «один раз», греч. ἄπαξ «один раз» и т. п. также восходят к индоевропейскому архетипу **sem-* (**sm-*), но эти примеры не обязательно свидетельствуют о том, что в индоевропейском языке-основе слово с архетипом **sem-* обладало значением «1» (ср. приведенные выше гот. *samaþ.* ст.-слав. *самъ* и др.), хотя в ряде случаев, например в санскр. *sa-kṛt*, авест. *ha-kərət*, лат. *semel* и т. п., создались условия для развития значения, весьма близкого к значению числительного «1».

Лат. *unus* < *oinos*, умбр. *uni* «один», др.-нрл. *ōen*, гот. *ains*, прусск. *ainan* (вин. падеж ед. числа), *ains*, лит. *vienas*, латыш. *viens* (оба к **ui-einas*¹), ст.-слав. *ѣдинъ* (< **einos*) и др. указывают на **oi/ei-nos*. Авест. *aera* «1», др.-перс. *aiva* «1» восходят к **oiṇos* (санскр. *ēkas* < **oi-* или **ei-* в отношении форманта *-k-* является, вероятно, индийским нововведением), не обладавшему первоначально значением числительного, ср. греч. *οἷος* < *οἷφος* «единственный, одинокий». Как и.-е. **sem-*, так и и.-е. **oi/ei-no-*, **oi-ṇo-* первоначально не обладало значением числительного «1» (ср. греч. *οἷφος*); подобным же образом и греч. *οἷον* «одно очко» (в игре в кости) не развилось в числительное «1» (причем в греческом языке и.-е. **sem-* получило значение числительного).

Суммируя вышесказанное, следует сказать, что архетип для числительного «1» в индоевропейских языках не является единым; к тому же архетип **sem-* в значении числительного никоим образом нельзя восстановить во всех индоевропейских языках; то же самое следует сказать и в отношении архетипов **oi/ei-no-*, **oi-ṇo-*. Этот разнобой в архетипах числительного «1» по сравнению с общностью архетипов числительных «2» — «10» индоевропейских языков говорит о том, что числительное «1» образовалось гораздо позднее, чем числительные «2» — «10» и даже «100» (о числительном «100» см. ниже). Данные факты позволяют утверждать, что понятие числа «1» и его название возникли в период «распада» (или, в крайнем случае, в начале периода «распада») индоевропейского языкового единства; следовательно, в индоевропейском языке-основе числительного «1» не было² (хотя никак нельзя отрицать наличия в древнеиндоевропейскую эпоху слов с архетипами **sem-*, **oi/ei-no-*, *oi-ṇo-* и т. п., которые не имели значения числительных).

В индоевропейском языке-основе количественное числительное «10» было несклоняемым словом с архетипом **dekṃ* (именно только **dekṃ*); ср. греч. *δέκα*, лат. *decem*, санскр. *daśa*, арм. *tasn* и др. Лит. *dešimtis*, прусск. *dessimpts*, латыш. *desmit* < *desimt* (диал. латыш. *desimt*³), ст.-слав. *дѣсѣтъ* также указывают на и.-е. *dekṃ*, однако с детерминативом *-t-*; подобный же детерминатив имеется и в германских языках, ср. гот. *taihun* (где наблюдается так называемое «сокращение окончания» —

¹ Некоторые лингвисты (даже и в последнее время) неправильно возводят лит. *vienas*, латыш. *viens* к **-oinos* (а не к **-einos*), например В. Пизани (см. V. P i s a n i, Glottologia indoeuropea, 2-e éd., Torino, 1949, стр. 15).

² Так, например, в языках некоторых народов Новой Гвинеи нет числительного «1», хотя имеются числительные свыше единицы (см. E. F e t t w e i s, Das Rechnen der Naturvölker, Leipzig — Berlin, 1927, стр. 53). Ср.: «Психология устанавливает, что первым числительным, которое осмысленно употребляется детьми, является не „1“, а „2“. Наше исследование так же показало, что числительное „1“ в культурно-историческом развитии счета не было первым осмысленно употребляемым числительным» (там же, стр. 88).

³ См. J. E n d z e l i n s, Latviešu valodas gramatika, Rīgā, 1951, стр. 492.

«Auslauts kürzung»)¹ и др. Наличие данного детерминатива в числительном «10» не относится к древнеиндоевропейскому периоду, а является нововведением позднейших эпох. Это нововведение было прежде всего результатом обобщения тех форм числительного «10», которые оно принимало как второй компонент словосочетаний числительных, имевших значение «20» — «90» («100») (см. ниже).

*

Числительные «20» — «100» индоевропейских языков восходят к древнеиндоевропейским словосочетаниям, первыми компонентами которых были количественные числительные «2» — «10», а вторыми — количественное «10». В связи с образованием словосочетаний со значением числительных «20» — «100» и их морфологическим оформлением п.-е. **dek̑mti* было распространено детерминативом *-t-*; отсюда — н.-е. **dek̑mt-*. Ср. другие факты в индоевропейских языках, где зубной детерминатив присоединен к древним основам на сонанты: санскр. *yakṛt*, греч. ἵκατος < **iēk̑mt-*, однако санскр. *yaknas* (род. п. ед. ч.), лит. *jėknos* «печень», лат. *jecinoris* < **jecinis* (род. п. ед. ч.) и др.

Древнеиндоевропейские словосочетания «20» — «90» в одних индоевропейских языках перенесли в сложные слова очень давно (в связи с этим н.-е. **dek̑mt-* > **k̑mt-*), в других — гораздо позднее (поэтому н.-е. **dek̑mt-* не претерпело подобного изменения, т. е. н.-е. **dek̑mt-* не перешло в **k̑mt-*), что рассматривается на конкретном материале ниже.

Древние черты сохранили греческие и латинские числительные «20» — «90». Греч. (беот., дор., фессал.) *ἱξᾶσι*, аттич. *εἴκοσι* < **e-ḱix̑si*², лат. *viginti*³ восходят к н.-е. **dui* **dek̑mti* < н.-е. **duiə* **dek̑mti* (ə) [*-gint-* проходит и в остальных десятках («30» — «90») латинского языка]. К тому же архетипу следует возводить и брет. *ugent*, арм. *k'san* < **gis̑an*, санскр. *vīmśati*, авест. *vīśaiti*, тох. В *īkam* и т. п.⁴

Греческое *τρίχοντα* «30», где *τρίχ-* и *-χοντα* — форма им.-вин. падежа мн. числа среднего (неодушевленного) рода. В первом случае долгое *-ā-* (в *τρίᾱ-*) восходит к **-ea₂-*, во втором — краткое *-ṛ-* (в *-χοντα*) — к **-ə* (ср. греч. *νύμφη* < *αὐνύμφᾱ* < **-ea₂*; зват. падеж *νύμφᾱ* < **-ə*); за исключением *τρίᾱ* в *τρίᾱχοντα* (ср. ном. *τρίχοντα*), окончание им.-вин. падежа мн. числа имен, представляющих древнеиндоевропейский неодушевленный род, в греческом языке только *-ṛ* < **-ə*, однако лат. *trīginta* представляет долгий конечный гласный, т. е. *-ā* < **-ea₂* (но лат. *trī-* в *trīginta* восходит к **triə*); как известно, в индоевропейском языке-основе роль множественного числа неодушевленного рода выполняло имя на **-ā* или на **-ə* с собирательным значением⁵. Что касается ступени огласовки *-o-* в греч. *-χοντα*, обнаруживающейся в греческих числительных «30» — «90» (*τεσσαράχοντα*, *πεντήχοντα* и др.), то она, вероятно, восходит не к древнеиндоевропейской эпохе, когда данные числительные были словосочетаниями, а к более позднему периоду, когда н.-е. **dek̑mt-* в результате словосложения стал **k̑mt-*. Данный корень (**k̑mt-*) впоследствии в ряде

¹ Ср. А. Мейе, Основные особенности германской группы языков, М., 1952, стр. 159 и сл.; F. Kluge, Urgermanisch, 3-e Aufl., Strassburg, 1913, стр. 134, 253.

² См. П. Шантреп, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 124.

³ «Озвончение *k* ⇒ *g* (ср. греч. дор. *ἱξᾶσι* «viginti») является неясным, но в латыни встречаются также и другие подобные случаи: ср. *quadrā-ginta* с *d* при *quattuor* с *t*) (J. Otrębski i J. Safarewicz, Grammatyka historyczna języka łacińskiego, cz. I, Wilno, 1937, стр. 462 — 463).

⁴ Ср. А. Мейе, Введение..., стр. 412.

⁵ См., например, П. Шантреп, указ. соч., стр. 17.

индоевропейских языков принял и другие ступени огласовки (в греч. -о)-, что связано по всей вероятности с местом древнего тона (ударения)¹: ср. греч. $\delta\omega\tau\tau\epsilon\rho$ и $\delta\omega\tau\omega\rho$, $\beta\omega\tau\tau\epsilon\rho$ и $\beta\omega\tau\omega\rho$, $\tau\acute{\eta}\tau\eta\tau\epsilon\rho$ и $\tau\acute{\eta}\tau\eta\tau\omega\rho$, $\pi\rho\acute{\alpha}\chi\tau\epsilon\rho$ и $\pi\rho\acute{\alpha}\chi\tau\omega\rho$, $\mu\eta\tau\rho\sigma\pi\acute{\alpha}\chi\tau\epsilon\rho$ и др.² Ср. также брет. *tregont* «30», арм. *eresun* «30». Лат. -*ginta* находим как в *trigintā*, так и в числительных «40» — «90»; лат. *trīgintā* восходит к и.-е. **triā *dek̑mtē₂*. Санскр. *triṃśāt* «30», *catvāriṃśāt* «40», *pañcāśāt* «50», авест. *θrisas* «30», *θrisatəm* «30», *čadwar̥satəm* «40», *pañcasatəm* «50» в морфологическом отношении представляют нововведения: это — производные, склоняемые в единственном числе. По происхождению санскр. -*śāt*, авест. -*sat*- в этих словах аналогично греч. -*χτ*- в *ἑκατ* и т. п.

Первый компонент $\tau\epsilon\tau\rho\omega$ - в греч. $\tau\epsilon\tau\rho\omega\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «40» также свидетельствует об им.-вин. падеже среднего (неодушевленного) рода мн. числа, где $\rho\omega$ - < **-r̥*- < **-rə³*; ср. лат. *quadrāgintā*, где *-rā-* в *quadrā-* восходит к **-r̥*- < **-rə³*. В последующих греческих числительных «50» — «90» находим общегреческое расширение -*η*-: $\pi\epsilon\nu\tau\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «50», $\xi\eta\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «60», $\epsilon\beta\delta\omicron\rho\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «70», $\epsilon\gamma\delta\omicron\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «80» (отсюда пон. $\epsilon\gamma\delta\omega\chi\omicron\nu\tau\alpha$), $\epsilon\nu\epsilon\nu\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ «90». Удлиненный -*η*- в $\pi\epsilon\nu\tau\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ (вместо **πεντέ-*, ср. греч. *πέντε* «5») появился под влиянием долгого **-r̥*- ($\rho\omega$ - < **-r̥*- < **-rə*) в греческом числительном «40», ср.

греч. $\tau\epsilon\tau\rho\omega\chi\omicron\nu\tau\alpha$ (т. е. $\tau\epsilon\tau\rho\omega$ - < **k^uetūr̥*- < **k^uetūrə* — им.-вин. падеж мн. числа). Аналогичным же образом возникло и латинское расширение -*ā*-: *quadrāgintā* «40», *quingūagintā* «50», *sexāgintā* «60», *septuāgintā* «70» (где *septuā-* — по аналогии с древним **octuāgintā*, ср. греч. $\epsilon\gamma\delta\omicron\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$), *nonāgintā* «90».

Итак, греч. $\tau\rho\acute{\iota}\alpha$ ($\chi\omicron\nu\tau\alpha$) < и.-е. **trie₂*, $\tau\epsilon\tau\rho\omega$ ($\chi\omicron\nu\tau\alpha$) < и. е. **k^uetūrə*, лат. *trī* (*gintā*) < и.-е. *triā*, *quadrā* (*gintā*) < и.-е. **k^uetūrə*; во всех этих случаях представлена форма им.-вин. падежа мн. числа среднего (неодушевленного) рода.

Из указанных выше фактов вытекает, что в индоевропейском языке-основе числительные «20» — «90» были словосочетаниями, составные части которых имели формы, закономерные для имен существительных среднего (неодушевленного) рода⁵: «20» — и.-е. **dwi₂ *dek̑mti(ə)*; «30» — и.-е. **tri(e)₂ *dek̑mt(e)₂*; «40» — и.-е. **k^uetūrə *dek̑mt(e)₂*; «50» — и.-е. **penk^ue *dek̑mt(e)₂* и т. д.

О том, что в индоевропейском языке-основе числительные «20» — «90» были словосочетаниями, а не сложными словами, свидетельствуют также балтийские, славянские и германские языки, в которых эти числительные перешли в сложные слова очень поздно; так, в литовском языке и в настоящее время числительные «20» — «90» выступают как словосочетания: *dvi dēšimty* (*dēšimti*) «20», *trys dēšimty* «30», *keturios dēšimty* «40» и т. д.

¹ См. Н. Hirt, *Der indogermanische Ablaut, vornehmlich in seinem Verhältnis zur Betonung*, Strassburg, 1906; J. Kurylowicz, *L'accentuation des langues indoeuropéennes*, Kraków, 1952, и др. Что касается др.-в.-нем. *zehan*, др.-сакс. *tehan*, то возведение к и.-е. **dek̑omt-* следует считать спорным (ср. Э. Покосш, *Сравнительная грамматика германских языков*, М., 1954, стр. 315.)

² См. E. Benveniste, *Noms d'agent et noms d'action en indoeuropéen*, Paris, 1948.

³ Ср.: F. Sommer, *Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre*, Heidelberg, 1914, стр. 45, 469; А. Эрну, *Историческая морфология латинского языка*, М., 1950, стр. 137, и др.

⁴ О том, что $\epsilon\beta\delta\omicron\rho\eta$ - в $\epsilon\beta\delta\omicron\rho\eta\chi\omicron\nu\tau\alpha$ не является порядковым числительным, см. F. Sommer, *Zum Zahlwort*; это относится и к числительным «80», «90» греческого и латинского языков.

⁵ Ср. А. Мейе, *Введение...*, стр. 412.

В сравнительной грамматике и этимологических словарях индоевропейских языков¹ лит. *dešimtis* «10» часто трактуется как имя, восходящее не только к древнебалтийскому, но и к древнеиндоевропейскому склонению по типу основ на *-i*. Однако в литовских говорах и в древнелитовских письменных памятниках мы находим достаточное количество фактов, свидетельствующих о более древнем — согласном склонении данного числительного, а именно: род. падеж мн. числа: *dviejū -dešimtū* «10», *trijų dešimtū* «30», *šešiū dešimtū* «60» (Kaniava)², *trijų deshimtū* «30» (BrB, IV Moz., 4), *keturų deshimtū* «40» (BrB, I Moz., 8), *penkių deshimtū* «50» (BrB, II Moz., 27), *triių deszimtū* «30» (DP 28₃₈₋₃₉), *trijų deszimtū* «30» (DP 153₂₆), *szesziū deszimtū* «60» (DP 580₂₇), *szeszių deszimtū* «60» (DP 507₅), *triu desimtu* «30» (Sz PS II 185₆); аллатив: *triump' deszimtump'* «30» (DP 580₄₈); род. падеж ед. числа: *dešimtės* «10» (Rimšė, Kaniava), *deszimtės* (DP 384₂₉; 586₃₇), *dėszimtės* (DP 381₁₅); им. падеж мн. числа *dešimtes* (Kaniava) и т. д.

Данные факты со всей очевидностью говорят о том, что в древнебалтийском языке второй компонент числительных «20» — «90», т. е. «10», склонялся по типу основ на согласный: род. падеж мн. числа **dešimtun*, им. падеж мн. числа *dešimtes* и т. п.; ср. ст.-слав. пять, десять и др. Следовательно, и в балтийских, и в славянских языках второй компонент числительных «20» — «90», т. е. «10» (н.-е. **dehmt-*), в древности склонялся по типу основ на согласный; это соответствует согласному склонению древнеиндоевропейского **dehmt-*, к которому он непосредственно и восходит. Древнеиндоевропейское **dekmt-*, как уже сказано, характеризовалось средним (неодушевленным) родом, однако балтийское и славянское «10» — женского рода. Переход из среднего рода в женский в балтийских и славянских языках в данном случае связан, в частности, с тем, что в первых компонентах числительных «20», «30», «40» (которые, несомненно, употреблялись чаще, чем остальные), т. е. в числительных «2», «3», «4», древние формы среднего и женского родов совпали; ср. ст.-слав. двѣ (жен. и ср. род), три (жен. и ср. род), четыре (жен. и ср. род), балт. **d(u)vei* (жен. и ср. род³).

Как в балтийских и славянских, так и в германских языках числительные «20» — «90» являются словосочетаниями (а не сложными словами, как в греческом, латинском и др.), ср. гот. *prins tiguns* (вин. падеж), *fidwor tigjus*, *fimf tigjus* и т. д.⁴, где *tigu-* восходит к н.-е. **dehmt-*⁵.

Еще задолго до того как осуществился переход балтийских, славян-

¹ См.: K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. II, Teil 2, Lief. 1, Strassburg, 1909, стр. 22; S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, Leiden, 1939, стр. 471; J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Lief. II, Bern, 1949, стр. 191 и др.

² Ниже в статье даем следующие сокращенные ссылки на источники: BrB — Biblia, tatai esti Wissens Schwentas Raschtas Lietuwischkai pergulditas per Janą Bretkuna... Karaliaucziūie, 1590 (использовалась фотокопия рукописи, хранящаяся в рукописном отделе библиотеки Вильнюсского гос. ун-та им. В. Каласукаса). Когда мы даем, например, BrB, IV Moz., 4 — это значит: IV книга Моисея, глава 4. DP — Postilla Catholica... Per Kūnią Mikaloiv Dvakszų... Wilnini, 1599 (использовалась фотографированное каунасское издание 1926 г.). Когда мы даем, например, DP 135₂₆ — это значит: 135 стр. 26, строка сверху. Sz PS — Šyrvids Punktay sakimu (Punkty Kazañ) I — 1629, II — 1644, hrsg. von Dr. Franz Specht, Göttingen, 1929. Когда мы даем, например, Sz PS II 185₆ — это значит: том II, стр. 185, строка 6 сверху. Написанные в скобках слова Kaniava, Rimšė обозначают названия местностей, где распространены восточноукраинские литовские говоры.

³ Ср. J. Endzelīns, Baltu valodu skaņas un formas, Rīgā, 1948, стр. 155.

⁴ О германских количественных числительных «70» — «100» см. Э. Прокош, указ. соч., стр. 316—317.

⁵ См.: Э. Прокош, указ. соч., стр. 316; Fr. Kluge, указ. соч., стр. 254, и др.

ских и германских числительных «20» — «90» из словосочетаний в сложные слова, морфологически оформилось (в ед. числе) название первого десятка (т. е. «10»), в древнеиндоевропейском несклоняемое (п.-е. **dékmt*): была обобщена форма, которую числительное «10» принимает в качестве второго компонента в словосочетаниях «20» — «90»¹; ср. лит. *dešimtis*, ст.-слав. дѣсѣтъ, гот. *taihun* и др. Что же касается санскр. *daśat*, *daśatis*, греч. δέκα, δέκαδος (род. п.), то они являются санскритским и греческим нововведениями и не восходят непосредственно² к п.-е. **dékmt-* (второму компоненту числительных «20» — «90»); ср. санскр. *daśa*, греч. δέκα.

Данный обзор показывает, что количественные числительные «20» — «90» в одной группе индоевропейских языков, а именно — в италийских, кельтских, греческом, армянском, индо-иранских, в очень древние времена превратились из словосочетаний в сложные слова; в балтийских же, славянских и германских языках этот процесс произошел гораздо позднее. В связи со сказанным мы решительно отвергаем положение А. Мейе о том, что «в германском, в балтийском и в славянском была восстановлена полная форма названия „десятка“ мужского рода» (разрядка моя. — В. М.)³.

Для числительного «100» данные отдельных индоевропейских языков позволяют без всяких трудностей восстановить архетип п.-е. **kmtóm*; ср. лат. *centum*, тох. А. *känt*, тох. В. *kante*, *-känte*⁴, лит. *šimtas* и др. В индоевропеистике уже давно существует мнение, что данное числительное восходит к п.-е. **kmtóm* < **tēkmtóm* < **dēkmtóm* < **deēkmtóm* (т. е. **dekm + tóm*).

А. Мейе также считает, что древнеиндоевропейское «100» выражалось производным ср. рода от **dekm* с суффиксом **-to-* и регулярным склонением: **(d)kmtó-*⁵; однако он не объясняет, откуда же появился этот суффикс *-to-*. Следует отметить, что в индоевропеистике, даже в современной, нет достоверного объяснения данного **-to-*. В недавно опубликованной статье Х. Янсена «Индоевропейские числительные 10, 100, 1000»⁶ делается попытка найти этимологическую связь **-tom* в п.-е. **kmtóm* < **deēkmtóm* с лат. **-tom* (*nomina collectiva*) в словах *arbustum* «место, где посажены деревья» (ср. *arbos*, *arbor* «дерево»), *cārectum* «место, поросшее осокой» (ср. *cārex* «осока»), *fructētum* «кустарник, место, поросшее кустами» (ср. *frutex* «куст») и т. п. Однако такое этимологизирование находится в явном противоречии с тем, что п.-е. **kmtóm* расчленяется не на **km-tóm*, а на **kmt-ó-m* (см. ниже). Лат. *-tum* в *arbustum* и т. п., по всей вероятности, причастного происхождения, ср. *arbustus*, *-a*, *-um* «усаживаемый деревьями», *barbatus*, *-a*, *-um* «бородатый» и др., где *-tus*, *-a*, *-um* тождественно *-tus*, *-a*, *-um* в *laudatus*, *-a*, *-um* «похвальный» и др. (перфектное пассивное причастие). К тому же, если утверждать, что в п.-е. **kmtóm* имеется суффикс **-to-*, остается неясным, каким же образом в числительных «20» — «90» второй компонент **deēkmt-*, склонявшийся по типу основ на согласный, соотносится с п.-е. **kmtóm* < **deēkmtóm*, склонявшимся по те-

¹ См. выше.

² Ср. два типа соотношений:

I, например, лит. *dešintis: dešimti, trīs dešimtes*;

II, например, греч. δέκα: εἴκοσι (дор. ἑἱκατὶ), τριάκοντα.

³ А. Мейе, Введение..., стр. 412.

⁴ П.-е. **kmtóm* в тохарском представлено как *kante*, *-kānte* (*känt*). См. у Винтера: «Поскольку едва ли возможно, что *m* отражается иначе, чем **n-*, необходимо примирить два пути фонетического развития: *m > an'än* и **n > en*» [W. Winter, An Indo-European prefix **n-*..., «Language», vol. 28, № 2, (p. 1), 1952, стр. 188].

⁵ См. А. Мейе, Введение..., стр. 413, и др.

⁶ H. Jansen, Die indo-europäischen Zahlwörter 10, 100, 1000, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 1952, Heft 1/2, Berlin.

матическому типу. Наконец, выделение суффикса **-tom* в н.-е. **k̑mtóm* неправильно и потому, что существуют такие факты: лат. *-gint-(viginti, triginta* и др.) и *centum* «100», греч. *-xxτ-* (*Éíxxτi*) и *é-xxτ-ón*, санскр. *-sat-* (*vimśati* и др.) и *śat-ām*, авест. *-sat-* (*θrisatəm* и др.) и *sat-əm* и т. п. Нет сомнения, что такие соответствия являются не случайными: лат. *-gint-*, греч. *-xxτ-*, санскр. *-sat-*, авест. *-sat-* представляют тот же самый корень, что и лат. *cent-um*, греч. *é-xxτ-ón*, санскр. *śat-ām*, авест. *sat-əm*. Следовательно, никакого суффикса **-tom* в н.-е. **k̑mtóm* никогда не было, и правильным морфологическим членением н.-е. **k̑mtóm* является н.-е. **k̑mt-óm* (а не н.-е. **k̑m-tóm* < н.-е. **dȇk̑m-tóm*).

Н.-е. **k̑mtóm* нельзя считать каким-то особым образованием, не связанным с предыдущими числительными «20»—«90» (о чем, в частности, уже говорилось выше). Эта связь вытекает из того, что словосочетаниями были не только «20» — н.-е. **duiā-dȇk̑mti(ə)*, «30» — н.-е. **tri(e)ə₂-dȇk̑mt(e)ə₂*, «90» — н.-е. **neum-dȇk̑mt(e)ə₂*, но первоначально и «100» — н.-е. **dȇk̑m-dȇk̑mt(e)ə₂*. Ввиду алитерационного повторения словосочетание «100» — н.-е. **dȇk̑m-dȇk̑mt(e)ə₂* было заменено одним словом в собирательном значении (помен *collectivum*), т. е. «100» — н.-е. **dȇk̑mté₂*, которое затем перешло в н.-е. **dȇk̑mtā* > **d̑k̑mtā* > **tk̑mtā* > **k̑mtā*. Впоследствии при более частом употреблении словосочетаний со значением числительных «200», «300» и др. н.-е. **k̑mtā* «100» включилось как второй компонент в данные сочетания. В дальнейшем н.-е. *k̑mtā* в этих сочетаниях закономерно было обобщено как форма множественного числа среднего (неодушевленного) рода¹. В связи с этим для обозначения «одной сотни» от н.-е. **k̑mtā* (им.-вин. падеж мн. числа среднего рода) была образована форма единственного числа, т. е. н.-е. **k̑mtóm* (в этой связи следует напомнить, что в индоевропейском языке-основе числительного «1» не было, см. выше). Что касается перехода первоначального согласного склонения н.-е. **k̑mtā* «100» < н.-е. **dȇk̑mtā* (см. выше) в тематическое н.-е. **k̑mtóm*, то это связано с тем, что: 1) н.-е. **k̑mtóm* «100» появилось гораздо позднее, чем н.-е. **k̑mtā* «100», 2) во время образования н.-е. **k̑mtóm* из н.-е. **k̑mtā* для формы им.-вин. падежа мн. числа среднего (неодушевленного) рода стали возможными случаи совпадения атематического и тематического типов склонения².

*

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Количественное числительное «1» индоевропейских языков не восходит к индоевропейскому языку-основе.

2. Числительные «20» — «90» в индоевропейском языке-основе являлись¹ словосочетаниями (среднего — неодушевленного — рода), первые компоненты которых — количественные числительные «2» — «9», а вторые — н.-е. **dȇk̑mt-*. Данные словосочетания в одной группе индоевропейских языков, а именно — в италийских, кельтских, греческом, армянском, индо-иранских, перешли в сложные слова в очень древние времена, а в другой группе — в балтийских, славянских, германских языках — данный процесс произошел гораздо позднее (в литовском он происходит в настоящее время).

3. Традиционное возведение н.-е. **k̑mtóm* к н.-е. **dȇk̑m-tóm* (где предполагается суффикс **-to-*) является неправомерным. Н.-е. **k̑mtóm* образовано от н.-е. **k̑mtā*, восходящего к н.-е. **tk̑mtā* < н.-е. *d̑k̑mtā* < н.-е. **dȇk̑mtā*.

¹ Следует обратить внимание на то, что древнеиндоевропейские количественные числительные «20»—«90» также были среднего рода, что не могло не оказать влияния на род н.-е. **k̑mtā*.

² Ср. А. Мейе, Введение..., стр. 330.

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЭСКИМОССКОМ ЯЗЫКЕ

Этимологический анализ эскимосских числительных не раз привлекал внимание исследователей эскимосского языка и этнографии. Раскрытие лексических значений первоначальных основ количественных числительных первого десятка, а также числительных «15» и «20» указывает на их образование от именных и глагольных основ, которые в качестве самостоятельных слов употреблялись в языке еще до появления числительных в их современном виде. Кроме того, этимология числительных приводит к выводу о том, что в их основе лежат слова, общие для всех эскимосских диалектов, разбросанных ныне на обширных арктических пространствах.

Мы отмечали ранее, что, несмотря на чрезвычайную раздробленность и длительную изолированность эскимосских диалектов, в них сохранилось значительное количество слов, содержащих и поныне первоначальное общее лексическое значение и одинаковый звуковой облик¹. К таким общим по происхождению и значению словам относятся и имена числительные, образовавшиеся в языке, повидимому, еще в период территориальной общности эскимосских племен. Этимологический анализ числительных свидетельствует также о том, что к периоду их образования в эскимосском языке наличествовал не только богатый словарный запас, но и в достаточной степени развившийся грамматический строй, элементы которого явились основанием формального выражения этой категории слов.

Выдающийся датский исследователь эскимосского языка и этнографии В. Талбицер в работе «Числительные в эскимосском языке»² дал интересное и обстоятельное описание системы числительных и их этимологии в языке гренландских эскимосов в сравнении с отдельными диалектами реки Макензи и Аляски. В. Талбицер подробно описал способы эскимосского счета до «20» и показал, что в основе его лежит пятеричная система, обусловленная счетом на пальцах рук и ног³. Главной задачей В. Талбицера в указанной работе было доказательство того, что в основе эскимосских числительных нет каких-либо элементов неэскимосских или праэскимосских слов, и что эскимосские числительные образовались внутри первоначального языка, общего для всех эскимосских племен⁴. С этими откровенными положениями В. Талбицера можно согласиться,

¹ См. Г. А. Меновщиков, Об устойчивости грамматического строя и основного словарного фонда эскимосского языка (по материалам эскимосских диалектов), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

² W. Th al b i t z e r, The Eskimo numerals, «Journal de la Société finno-ougrienne», XXV, Helsingissä, 1908.

³ См. там же, стр. 6.

⁴ См. там же, стр. 24.

отметив, однако, что к моменту дробления эскимосских племен на мелкие территориальные группы наименования числительных первого десятка окончательно еще не установились. Возникнув в период территориальной общности эскимосских племен от общих слов, числительные различным образом развивались в территориальных диалектах. На эти особенности указывает как материал, приведенный В. Талбицером, так и материал по числительным диалектов языка азиатских эскимосов, впервые в сравнительном плане публикуемый в настоящей статье.

Сравнительное изучение лексики многочисленных территориальных диалектов эскимосского языка имеет большое значение не только для выводов о степени родства эскимосских племен, но и дает материал для установления путей исторического развития их древнейшей культуры, миграции и территориального дробления. Эти положения в известной мере подтверждаются новейшими данными из области изучения материальной культуры различных периодов истории древнего эскимосского общества¹.

В какой мере сохранилась лексическая общность в области числительных, а также из каких компонентов образовались числительные в диалектах языка азиатских эскимосов, мы и попытаемся показать в нижеследующем изложении, привлекая сравнительные материалы по числительным из языка гренландских и аляскинских эскимосов, а также частично из алеутского языка.

Описание системы числительных и их этимологий в эскимосских диалектах, как нам представляется, даст ценный сравнительный материал для курсов общего языкознания, читаемых в университетах и институтах, а также для лингвистов, разрабатывающих вопросы сравнительного языкознания.

Количественные числительные от «1» до «10» в чаплинском (ун'азиг'мит) диалекте имеют следующее формальное выражение: «1» — *атасик'*, «2» — *малг'ук*, «3» — *пин'аут*, «4» — *стамат*, «5» — *талгимат*, «6» — *аг'винлык*, «7» — *маг'раг'винлык*, «8» — *пин'аюнын' ин'люлык*, «9» — *стаманын' ин'люлык*, «10» — *к'уля*.

Количественные числительные от «11» до «19» (исключая числительное «15») представляют собой сложные синтаксические сочетания числительного «10» с наименованиями единиц и деепричастной формы слова *синнык'лэюку* «слишком», ср.: «11» — *к'улям² атасик' синнык'лэюку*, «12» — *к'улям малг'ук синнык'лэюкык*, «14» — *к'улям стамат синнык'лэюки*, «15» — *к'улям талгимат синнык'лэюки* (также *акимиг'ак'*), «16» — *к'улям аг'винлык синнык'лэюку*, «17» — *к'улям маг'раг'винлык синнык'лэюку*, «18» — *к'улям пин'аюнын' ин'люлык синнык'лэюку*, «19» — *к'улям стаманын' ин'люлык синнык'лэюку*, «20» — *югинак'*.

Количественные числительные от «21» до «29» образуются посредством сочетания количественного числительного «20» с наименованием единиц и прибавлением слова *синнык'лэюку* «слишком», ср.: «21» — *югинак' атасик' синнык'лэюку*, «22» — *югинак' пин'аюнын' ин'люлык синнык'лэюку* и т. д.

¹ См.: K. Birket-Smith, Present status of the eskimo problem, Indian Tribes of Aboriginal America «Proceedings and Selected Papers of the XXIX-th International Congress of Americanists», Chicago-Illinois, 1952; С. И. Руденко, Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема, М.—Л., 1947. В указанном труде С. И. Руденко имеется подробный перечень источников по эскимосской проблеме.

² Компонент *-и* при слове *к'уля* «десять» является суффиксом относительного (Relativ) падежа. Здесь указывается на одностороннюю притяжательную связь двух имен.

Количественное числительное «30» образуется из сочетания числительных «20» и «10» с добавлением слова *синнык'лэюку* «слишком».

Наименования количественных числительных десятков от «40» до «100» обозначаются следующим образом: «40» — *югыгмалг'у* (от слитного сочетания слов *югык* «два человека» и *малг'ук* «два»), «50» — *югыгмалг'у к'уля синнык'лэюку* «сорок десять слишком», «60» — *юк пин'аю* «человек три (тройка)», «70» — *юк пин'аю к'уля синнык'лэюку* «шестьдесят десять слишком», «80» — *юк стама* «человек четыре (четверка)», «90» — *юк стама к'уля синнык'лэюку* «семьдесят десять слишком», «100» — *юк талгима* «человек пять (пятерка)».

В.Талбицер выражает сомнение относительно наличия у эскимосов Гренландии счета свыше «20». Он утверждает, что счет, превышающий «20», для многих эскимосов представляет надуманное понятие¹. При записи числительных в языке азиатских эскимосов в 1948 г. и вторично в 1954 г. нам удалось установить, что многие пожилые эскимосы, не знающие русского языка, совершенно свободно считали до «100» и более на своем родном языке.

Числительные от «1» до «10» этимологически связаны с рукой, числительное «10» и наименования всех последующих десятков и сотен связаны с понятием «человек» (исключая в отдельных диалектах числительное «15» — *акмигак'*). В некоторых диалектах счет от «11» до «19» связан также с ногой (переход счета по пальцам с рук на ноги). В процессе счета постоянно используются слова, связанные с обозначением действий, относящихся к рукам и ногам. Ниже даются этимологии числительных у азиатских эскимосов, причем этимологии числительных «1», «3», «4» отличаются от этимологии В. Талбицера, впервые этимологизируется числительное «15» и все числительные второго десятка в трех диалектах языка азиатских эскимосов.

«1» — *атасик'* образовалось из сочетания именной основы *ата* «отец, глава чего-либо» и суффикса орудийного значения *-сик'*. От основы *ата* образовались также слова *атанык'* «глава, начальник, старший; основная балка в жилище», *атата* «дядя», «дедушка» (диалект Барроу)² и др. Суффикс же *-сик'* во всех эскимосских диалектах является весьма продуктивным и образует целый ряд слов с орудийным значением, ср.: *игак'* «письмо» — *игасик'* «карандаш»; *к'аюк'* «чай» — *к'аюсик'* «чашка»; *к'ынг'ак'* «работа» — *к'ынг'асик'* «орудие труда, механизм» и т. п.

Слово *атасик'* первоначально могло, повидимому, означать «главный, ведущий, начальный». Такое предположение становится вероятным при последующем счете. Эскимосский счет до десяти сопровождается загибанием пальцев сначала левой руки, затем правой, при этом каждое число до десяти получает соответствующее наименование в зависимости от положения пальцев (но названия самих пальцев при наименовании числительных не принимаются во внимание).

В. Талбицер в указанной выше работе дает другую этимологию числительного *атасик'*. Он полагает, что *атасик'* (*ata^u 'useq*) восходит к глагольной форме *ataunga* «я соединяю, делаю что-либо». Но такая этимология представляется неубедительной уже потому, что само слово *ataunga* «я соединяю, делаю что-либо» (или *atawoq* «он один соединен с чем-либо») является производным от основы *ата* (*ата*), которая в современном эски-

¹ См. W. Thalbitzer, указ. соч., стр. 9.

² Все названия числительных и другие лексические примеры в латинской транскрипции, не относящиеся к языку гренландских эскимосов, заимствованы автором из книги Д. Дженнесса (D. Jenness, Comparative vocabulary of the Western Eskimo Dialects, «Report of the Canadian Arctic Expedition 1913—18», vol. XV: «Eskimo language and technology», Ottawa, 1928.

мосском языке означает «отец». В эскимосском языке любое имя в функции сказуемого преобразуется в глагол, поэтому форму слова, подобную *ataunga*, можно образовать и от любого числительного; ср. в языке азиатских эскимосов: *атасигун'а* «один я есть», *малг'угук'ун'* «двое мы есть» и т. п. Числительное *атасик'* является, несомненно, производным словом от *ата* «отец, глава» и по своему происхождению от указанной основы стоит в одном ряду с такими словами, как *атанык'* «главный, начальник, главный столб», *атата* «дядя» и им подобными производными словами от основы *ата*, которая первоначально означала, по видимому, понятия «начальный, главный, являющийся основанием чего-либо».

«2» — *малг'ук* образовалось от основы *малик* «следовать за чем-либо», от которой в большинстве эскимосских диалектов происходит глагол с указанным значением (ср. в чапл. диалекте *малигутаг'ук'* «идет следом», *малихтик'ук'* «следует за кем-либо, договяет», в гренл. *malippa* «следует за ним», в диалектах Барроу, Макензи, Коропации *maliktoq* «следует за чем-либо») ¹.

В. Талбицер считает, что в основе слова *малг'ук* «2» лежит слово *malik* «волна», которое в этом значении употребляется в гренландском диалекте, а также в диалектах Барроу, Макензи (*mäl'ik*) и диалекте Валес (*mölik*) ². В азиатских диалектах эскимосского языка слово *малик* в значении «волна» утратилось. Как и при образовании числительного «1» *атасик'*, В. Талбицер исходит здесь от именной основы *малик* «волна», являющейся, по видимому, производной от глагольной основы *малик* «следовать за чем-либо». Трудность установления первичности или производности значений основ «волна» и «следовать» заключается в том, что основа *малик* в данном случае морфологически не расчленяется. Так или иначе понятия «волна» и «следовать» образуются, несомненно, от одной основы *малик*, так как во всех глагольных формах конечный *-к* этой основы не выпадает, а сохраняется или получает соответствующее чередование (ср. *малихтик'ук'* «догоняет», *малигутаг'ук'* «идет следом», или в том же значении в указанных выше диалектах Барроу и Макензи — *maliktoq*) ³.

Исходя из того, что все имена, обозначающие какое-либо действие, движение или состояние, в эскимосском языке, как правило, являются производными от глагольных основ, мы считаем более убедительным образование числительного «2» *малг'ук* от усеченной основы *малик* «следовать за чем-либо». Вполне вероятно, что при образовании числительного *малг'ук* от основы *малик* «следовать за чем-либо» с присоединением суффикса *-г'у* (в двойственном числе *-г'ук*) произошло стяжение основы, в результате которого конечный глухой *-к* при встрече с последующим звонким увулярным *-г'* получил озвончение (явление регрессивной ассимиляции), а затем выпал. Гипотетически образование числительного *малг'ук* представляется в следующем виде: *малик + г'ук > *маликг'ук > *малигг'ук > малиг'ук > малг'ук*. Две последние формы сосуществуют в различных эскимосских диалектах. Выпадение гласного *-и* в основе слова *малг'ук* отмечается в большинстве диалектов, тогда как в диалектах нунивакском и ниглештатском сохраняется полногласная форма *малиг'ук*. В диалектах имакликском (Большой Диомид), Мальный Диомид и гренландском образовалось своеобразное явление метатезы, где слово *малиг'ук > малг'ук* «2» приняло форму *маг'люк*, т. е. произошла перемена местами звуков *-лг' > -г'л*.

Что касается наличия в эскимосском языке суффикса *-г'у/-г'о*, то В. Талбицер в указанной выше работе убедительно показывает его слово-

¹ См. Д. Дженнес, указ. соч., стр. 74.

² См. там же.

³ См. там же.

образующую роль на целом ряде примеров: ср.: *amaroq* «волк», *iteroq* «плохая моча», *talëroq* «передняя лапа», *al·eroq* «челюсть», *qo·roq* «долина; морщина» и др. При этом следует иметь в виду, что увулярный конечный *-k'(-q)* указывает обычно на единственное число предмета, а конечный заднеязычный *-k* выступает показателем двойственного числа, поэтому числительное *малг'ук* «2» оформляется этим показателем.

То, что числительное *малг'ук* образовалось от основы *малик* «следовать за чем-либо» (ср. *малихтик'ук'* «догоняет», *малигутаг'ук*, «идет следом»), то же в гренландском *malipra* «следует за ним»), является убедительным также и при рассмотрении слов «следовать» и «волна» в плане их семантического значения, так как сам процесс колебания волн, «следования» их одна за другой, представляет собою понятие, близкое глаголу «следовать». Это же явление мы наблюдаем и при счете: *атасик'* «1» (загибается первый палец левой руки), *малг'ук* «2» («второй за первым следует», загибается второй палец) и т. д.

«3» — *пин'аюм* не поддается вполне точной этимологизации. В. Талбицер считает, что числительное *пин'аюм* (*pingajut* > *pingasut*) образовалось от основы *pingo*, *pingutaq* «холм», но такая этимология является сомнительной потому, что в основе слова *пын'утак'* (**пын'у* «холм») и в основе числительного *пин'аюм* «3» мы имеем разные фонемы *-ы* и *-и*, которые графически не различаются в гренландской транскрипции Талбицера, что и приводит его к указанному толкованию этимологии этого числительного.

Весьма возможно, что числительное *пин'аюм* «3» образовалось от корневого слова *пи-*, которое в современном эскимосском языке в оформленном и неоформленном виде стало выражать целый ряд понятий, означающих то или иное действие. Так, основа *пи-* выражает понятия «действовать, идти, говорить, быть». Глаголы, образованные от основы *пи-*, могут выступать также в значении заместителей лексически самостоятельных глаголов в целях избежания повторения.

Если предположить, что основа *пи-* в прошлом обладала также и именным значением, то второй форматив числительного *пин'аюм*, а именно — форматив *-н'а*, можно рассматривать как притяжательный (ср., например, притяжательные формы существительных *папан'а* «копье его», *тафсин'а* «пояс его», где суффикс *-н'а* указывает на принадлежность предмета кому-либо). Остается неясным значение суффикса *-юм (-jut)*, *-сют (sut)* в числительном *пин'аюм* > *пан'асют*. В. Талбицер в цитируемой выше работе указывает, что суффикс *-sut/-jut* представляет собою окончание архаической формы причастий гренландского языка — *juq/-suq*, оформленное показателем множественного числа *-t*, однако в подтверждение наличия такой причастной формы он приводит притяжательную форму числительного *пин'аюм*, выступающую в значении порядкового числительного, которая совсем не раскрывает причастного значения указанного суффикса (см. *pingajuat*, что В. Талбицер переводит как «то, что является от двух третьим»).

Таким образом, в числительном *пин'аюм* > *пин'асют* не выявляются четкие морфологические показатели, которые могли бы способствовать точной его этимологизации.

«4» — *стамат* (ср. науканский диалект *ситамам*, кускоквинумский диалект *стауман*, гренландский и Барроу диалекты *сисамат*) по своему образованию восходит, по видимому, к глагольной основе *ста-* > *сита-* > *сисд-* «скатываться, скользить вниз», что в полной мере соответствует положению четвертого пальца руки, который оказывается «скатывающимся» по отношению к среднему (при счете третьему) пальцу руки, с какой бы стороны ее не начинался счет. В языке азиатских эскимосов от основ

ста- образуются слова *стак'ук'* «скатывается, скользит», *стаг'ак'* «скатывание»; в гренландском — *sisugooq* «скатывается, скользит». От этой же основы подобные слова образуются и в других диалектах. Морфема *-ма* в числительном *стамат*, как можно предполагать, восходит к слову *ма* «окружающая местность, окружающее пространство».

В нашей статье «Указательные местоимения в эскимосском языке»¹ было уже показано, что многие слова, обозначавшие первоначально различного рода пространственные понятия, обладали свойством вступать в соединение и образовывать таким образом сложные слова. Одним из таких компонентов и было слово *ма* «окружающая местность, окружающее пространство», которое как самостоятельное встречается и в современном эскимосском языке. Следовательно, соединение основ *ста-* и *ма-* с последующим оформлением их суффиксом множественного числа *-т* и явилось основанием для образования числительного *стамат* «4», которое выражало, повидимому, понятие «пространство для скатывания» или просто «скатывающиеся». При этом весьма вероятным является предположение и о том, что морфема *-ма*, имевшая первоначально только пространственное значение, в связи с постепенным развитием грамматического строя языка абстрагировалась и стала выражать также значение прошедшего времени в глаголах (ср. суффикс прошедшего времени *-ма*, как, например, в глаголах *игамак'* «писал», *итх'умак'* «вошел» и др.).

В. Талбицер в указанной выше работе не дает этимологии числительного *стамат* > *ситама* > *сисама*, ссылаясь на то, что он не нашел в эскимосских словарях значения основы *sita* (ср. азиатск. диалект. *-ста* > *-сита* «скатываться»). Однако он высказывает предположение, что основа *sita*, может быть, имеет отношение к гренландской основе *sérqooq* «колено» и к основе *sitqooq* с тем же значением в западных диалектах эскимосского языка (Барроу, Макелзи и др.). Ссылка В. Талбицера на слово *sitqooq* «колено» представляет интерес в том смысле, что оно, несомненно, восходит к основе *ста* > *сита*, но именно эта основа с ее лексическим значением «скатываться, скользить» должна приниматься во внимание при этимологии числительного *стамат* «4», так как, во-первых, слово *sitqooq* «колено» является самопроизводным от указанной основы, а во-вторых, понятие «скатывающиеся» или «скатившиеся» соответствует как семантике слова *стамат*, так и положению пальцев при счете, так как четвертый палец руки по сравнению с третьим (средним), как было отмечено выше, находится в положении «ската».

«5» — *талъимат* образовалось от сочетания слова *талъик'* «рука» и морфем *-ма* и *-т*, на значение которых было указано выше (см. этимологию числительного *стамат* «4»). Такую же этимологию этого числительного, но без указания значения морфемы *-ма* первоначально дал в упомянутой выше работе В. Талбицер для языка гренландских эскимосов и позже В. Г. Богораз для языка азиатских эскимосов².

«6» — *аг'винлык* по своему образованию восходит к основе *аг'винык'* «переход, переправа, переезд» (а также «перешедший, переправившийся, пересехавший»). С присоединением суффикса *-лык* (со значением «имеющий, обладающий») к основе *аг'винык'* образовалось числительное *аг'винлык* «6», что буквально означает «переход имеющий». При образно-описательном эскимосском счете слово *аг'винлык* «переход имеющий» означает то, что счет пальцами на одной руке закончен и переносится на другую руку.

¹ Г. А. Меновичков. Указательные местоимения в эскимосском языке, III, 1955, № 1.

² В. Г. Богораз, Юнтский (азиатско-эскимосский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III. М.—Л., 1934.

Именно первый загнутый палец на другой руке и будет означать числительное *аг'винлык* «6». От неформальной основы *аг'ви-* «переходить» образуется ряд производных слов, подтверждающих правильность этимологии этого числительного; ср.: *аг'вик'ак'* «пролив, водораздел»; *аг'виг'вик'* «переправа (место), переход (место), брод»; *аг'виг'ак'ук'* «перенравляется через что-либо» и др. Первыми этимологию числительного *аг'винлык* дали В. Г. Богораз и В. Талбицер.

«7» — *маг'раг'винлык* представляет собою в языке азиатских эскимосов слияние числительных *малг'ук* «2» и *аг'винлык* «6», что буквально означает «второй имеющий переход», т. е. второй загнутый при счете палец на другой руке. То, что в слове *маг'раг'винлык* слились два слова *малг'ук* и *аг'винлык*, доказывается простым сравнением этого же сочетания слов, обозначающих числительное «7» в западном диалекте гренландского языка, где это сочетание слов имеет обратный порядок: *arfinelit marluk*, дословно: «шесть два», что буквально означает «переход имеющие два», т. е. два загнутых при счете пальца на другой руке.

В науканском диалекте языка азиатских эскимосов числительное «7» обозначается раздельно двумя словами, при этом слово *малг'ук* «2» имеет форму творительного падежа, а слово *аг'винлык* — форму абсолютного падежа; ср.: *малг'угнын' аг'винлык* «7», что буквально означает «вторым переход имеющий», а дословно: «с двумя шесть». Сходную с науканской форму числительного «7» наблюдаем и в имакликском диалекте; ср.: *маг'люгнын' аг'винлык*, тогда как в аляскинских диалектах встречаем форму этого числительного *малг'унлигын* «7».

«8» — *пин'аюнын' ин'люлык*, буквально означает «третьим пару имеющий», т. е. третий палец на другой руке при счете. Вторая рука, на которую перешел счет, выступает парой для первой.

«9» — *стаманын' ин'люлык*, буквально означает «четвертым пару имеющий», т. е. четвертый палец на другой руке при счете.

Необходимо заметить, что в других диалектах, в том числе науканском и имакликском, числительное «8», а в гренландском и «9» образуются по типу числительного «7», т. е. посредством сочетания числительных «2» и «3» со словом *аг'винлык* «имеющий переход», ср.: наук. диалект *пин'аюнын' аг'винлык* «8», *стаманын' аг'винлык* «9»; имакл. диалект *пин'асюнын' аг'винлык* «8»; гренл. диалект *arfineq marluk* «7», *arfineq pingasut* «8», *arfineq sisamat* «9».

Числительное «9» в науканском, нунавакском и ряде других эскимосских диалектов, в отличие от чилийского (*ун'азиг'мит*) и гренландского, образуется от числительного *к'уля* > *к'улит* «10» посредством грамматической формы отрицания; ср. в науканском диалекте *к'уль'угутниль'ук'* «десяти не имеющий», т. е. «9», в диалектах нунавакском и Барроу *qolinorotailinit*, в кукоквинумском диалекте (Аляска) *qulinuneri-taran* и т. д.

«10» — *к'уля*, буквально означает «верх, верхний»¹. Числительное *к'уля* «10» получило различное оформление по диалектам: у азиатских эскимосов *к'уля*, гренл. *qulin*, *qulit*, Макензи *qulit*, Аляска *qoln* и т. д. Слово *к'уля* «верх» в период образования числительных было использовано для обозначения числительного «10», повидимому, потому, что при окончании счета на пальцах рук считающий одновременно с произношением слова *к'уля* поднимал обе ладони вверх или ладонью правой руки покрывал поднятые вверх пальцы левой руки. Манера подобного счета на пальцах рук сохранилась и до настоящего времени у азиатских эски-

¹ См. эту же этимологию числительного «10» в указанных сочинениях В. Талбицера и В. Г. Богораза.

мосов, особенно у стариков, с которыми автору приходилось сталкиваться при записывании текстов.

Слово *к'уля* со значением «верх» особенно часто употребляется в эскимосском языке в косвенных падежных формах и в значении послелога, как, например, в предложении: *Найг'ам к'улан'ани тын'агак'ук' к'ауах-нак* «Над горой летит орел» (*к'улан'ани* «на верху ее» — лично-притяжательная форма слова *к'уля* «верх» в местном падеже, которая в сочетании *найг'ам к'улан'ани* буквально означает «горы на верху ее»).

Числительные количественные от «11» до «19», как было показано выше, образуются путем сочетания числительного «10» с единицами и прибавлением слова *синнык'лэюку* «слишком». Исключение составляет числительное «15», которое обозначается как одним словом *акимигак'*, так и сочетанием *к'улям талзимат синнык'лэюки* (дословно: «десять пять слишком»).

Иначе образуются количественные числительные второго десятка в языке гренландских эскимосов. Количественные числительные от «12» до «15» в гренландском образуются от сочетания единиц с числительным *арганеа* «11»¹ (буквально: «нижний, спустившийся вниз»; ср. *аргавоа* «является нижним», *аргарпоа* («идет вниз, спускается»)): *арганеа марлук* «12» (дословно: «нижний два»), *арганеа пингасут* «13», *арганеа сисамат* «14», *арганеа талимат* «15».

«15» — *акимигак'* (*акимигаа > акимиаа*) не имеет точной этимологии. Возможно, что это числительное образовалось от основы *аки* «предмет для обмена; цена, плата» с последующим наращением суффикса *-мига(к')*, *-миа(к')*, *-мик*, значение которого, повидимому, утратилось, так как в имеющихся эскимосских словарях и грамматиках не обнаруживается слов с таким суффиксом. Можно предполагать, что слово *акимигак'* в древнейший период языка обозначало какую-то меру предметов, предназначенных для обмена. Такое предположение подтверждается наличием целого ряда производных слов, образующихся от основы *аки*, в которых во всех случаях в той или иной степени сохраняется ее семантика; ср. *акилисяк'* «плата за услуги», *акикак'а* «продает что-либо», *акилэпыгаг'сик* «место торговли, магазин», *акилэпыгаг'ак'ук'* «торгует», *акилах'тусан'ак'ук'* «получает плату» и т. п.

Необходимо заметить, что числительные количественные от «6» и выше по-разному образуются в отдельных диалектах эскимосского языка. Общей основой счета остается понятие «человек», а способ образования отдельных количественных числительных различается. Так, например, в наукапском диалекте, в отличие от чаплинского, счет до «30» имеет следующее морфологическое выражение: «1» — *атисик'*, «2» — *малг'ук*, «3» — *пин'ают*, «4» — *ситамаат*, «5» — *талзимат*, «6» — *аг'синлык* («переход имеющий»), «7» — *малг'уснын' аг'винлык* («вторым переход имеющий»), «8» — *пин'аюнын' аг'синлык* («третьим переход имеющий»), «9» — *к'улан'угутинилн'ук'* («десяти не имеющий»), «10» — *к'улит* («верхние»), «11» — *атх'анилык* («спуск имеющий»)², «12» — *малг'уснын' атх'анилык* («вторым спуск имеющий»), «13» — *пин'аюнын' атх'анилык* («третьим спуск имеющий»), «14» — *акимегутинилн'ук'* («пятнадцати не имеющий»), «15» — *акимек'*, «16» — *акимек' атасимын'* («пятнадцать с одним»), «17» — *акимек'*

¹ В некоторых диалектах эскимосского языка (Макензи, западногренландском и др.) числительное «11» выражается также словом *исиганеа*, образовавшимся от основы *иигаа > исигаа* «нога». Суффикс *-неа* в данном случае придает этому слову значение «пожлой» или «соотнесенный к ноге», т. е. характеризует перенесение счета по пальцам рук на ноги, так же как и в слове *арганеа* (см. об этом W. Thalbitzer, указ. соч.).

² Слово *атх'анилык* «спуск имеющий» (от глагольной основы *атх'а* — «спускаться») в данном случае указывает на переход счета от пальцев рук к пальцам ног.

малг'угнын' («пятнадцать с двумя»), «18» — *акимек' пин'аюнын'* («пятнадцать с тремя»), «19» — *югинагутнилн'ук'* («двадцати не имеющий»), «20» — *югинак'* («весь человек»), «21» — *югинак' атасимын'* («двадцать с одним»), «22» — *югинак' малг'угнын'* («двадцать с двумя»), «23» — *югинак' пин'аюнын'* («двадцать с тремя»), «24» — *югинак' ситаманын'* («двадцать с четырьмя»), «25» — *югинак' талыманын'* («двадцать с пятью»), «26» — *югинак' аг'винлымын'* («двадцать с шестью»), «27» — *югинак' малг'угнын' аг'винлымын'* («двадцать с семью»), «28» — *югинак' пин'аюнын' аг'винлымын'* («двадцать с восемью»), «29» — *югинак' к'улн'угутнилыгмын'* («двадцать с девятью»), «30» — *югинак' к'улмын'* («двадцать с десятью»).

Как следует из сравнения, в науканском диалекте числительные второго десятка «11», «12», «13» образуются не из сочетания десятков и единиц, как в чаплинском диалекте, а описательно, посредством употребления слова *атх'анилык* «спуск имеющий» («11») и присоединения к нему наименований единиц («12», «13»). Иначе образуются также числительные «14» (*акимегутнилн'ук'* «пятнадцати не имеющий»), «16», «17» и «18». Последние три числительных представляют собою сочетания числительного «15» с единицами («16» — *акимек' атасимын'* «пятнадцать с одним» и т. д.). Весьма характерным для этого диалекта является то, что к четным десяткам присоединение единиц осуществляется непосредственно, а к нечетным десяткам посредством присоединения наименований числительных второго десятка от «11» до «19»; ср.: «30» — *югинак' к'улмын'* «двадцать с десятью», «31» — *югинак' атх'анилык* «двадцать с одиннадцатью», «32» — *югинак' малг'угнын' атх'анилык* «двадцать с двенадцатью», «33» — *югинак' пин'аюнын' атх'анилык* «двадцать с тринадцатью», «34» — *югинак' ситаманын' атх'анилык* «двадцать с четырнадцатью», «35» — *югинак' акимек'* «двадцать пятнадцать», «36» — *югинак' акимек' атасимын'* «двадцать пятнадцать с одним» и т. д.

Что же касается наименований десятков от «40» и выше, то они имеют следующее выражение: «40» — *малг'ум ипе* «двух (человек) содержание», «50» — *малг'ум ипе к'улмын'* «двух содержание с десятью», «60» — *пин'аюм ипе* «трех содержание», «70» — *пин'аюм ипе к'улмын'* «трех содержание с десятью», «80» — *ситамам ипе* «четырёх содержание», «90» — *ситамам ипе к'улмын'* «четырёх содержание с десятью», «100» — *талымам ипе* «пяти содержание», «200» — *к'улым ипе* «десяти содержание», «300» — *акимег'ым ипе* «пятнадцати содержание», «400» — *югным ипе* «двадцати содержание», «1000» — *камлутым имаг'ка*.

Своеобразные отличия в счете от «6» до «20» при сравнении с другими диалектами имеются также и сирениковском диалекте языка азиатских эскимосов, впервые записанном нами в 1954 г. Количественные числительные этого диалекта представляют следующую картину: «1» — *атыг'ысыг'*, «2» — *малг'ух*, «3» — *пин'ыюх*, «4» — *ситымын'ий*, «5» — *тасимын'ий*, «6» — *ин'лыг* «другая сторона», «7» — *малг'уг'нын' ин'лыкыг'ых'* «вторым на другой стороне», «8» — *пин'ыюгнын' ин'лыкыг'ых'* «третьим на другой стороне», «9» — *ситымынын' ин'лыкыг'ых'* «четвертым на другой стороне», «10» — *тасигта*, «11» — *унгаму* «к низу», «12» — *унгаму малгух* «к низу два», «13» — *унгаму пин'ыюх* «к низу три», «14» — *унгаму ситымий* «к низу четыре», «15» — *итхым ин'лыг* «ступни другая сторона», «16» — *итхым ин'лыг атыг'ысыг' сигнык'ылку* «ступни другой стороны один с остатком», «17» — *итхым ин'лыг малг'ух сигнык'ылку* «ступни другой стороны два с остатком», «18» — *итхым ин'лыг пин'ыюх сигнык'ылку* «ступни другой стороны три с остатком», «19» — *итхым ин'лыг ситымий сигнык'ылку* «ступни другой стороны четыре с остатком», «20» — *югинах'* «человек полностью».

В отношении счета от «20» до «100» и выше следует заметить, что в струк-

турном отношении он имеет также известные особенности в разных диалектах, но там уже вступают в силу различного рода синтаксические сочетания этимологизированных нами количественных числительных первых двух десятков.

Характерно, что в сирениковском диалекте переход счета от первого ко второму десятку (от рук к ногам) осуществляется от «11» до «14» посредством указательного местоимения *унга* «тот внизу», «тот у моря» в форме дательного-направительного падежа (*унгаму*), а счет от «15» до «19» посредством слова *итых* «ступня» в форме относительного падежа (*итхым*) и слова *ин'лых* «другая сторона». Слово *сигных'* «лишек» сирениковского диалекта совпадает по значению и в известной степени по форме с алеутским *сигнах'* «лишек». Различие в том, что в сирениковском диалекте это слово в сочетании с числительным употребляется не в исходной форме (абсолютный падеж), а в форме деепричастия с суффиксом *-лку*, что сближает его по оформлению с этим же словом и в том же значении из чаплинского диалекта *сипнык'лгюку* «слишком» (от *сипнык'* «лишек») ¹.

В гренландских диалектах (в восточном и западном) понятие перехода счета с рук на ноги выражается словами *arganeq* «нижний» и *isikaneq* «ножной» ², сочетающимися с соответствующими числительными. Посредством этих слов осуществляется счет от «11» до «15», а счет от «16» до «20» образуется посредством соединения соответствующих числительных со словом *arfersaneq*, которое может быть переведено как «процесс перехода», что и должно означать переход счета с одной ноги на другую ³.

В юго-западных диалектах Аляски и в диалекте реки Макензи в количественных числительных после «10» помещаются слова *сикпалык* «имеющий излишек» (Макензи) и *сиплгюку* «с лишним» (Аляска), что сближает числительные этих диалектов с числительными чаплинского диалекта, легшими в основу настоящего исследования. В науканском же (мыс Дежнева в Беринговом проливе) и гренландском числительные второго десятка и последующие выражаются посредством простого сочетания числительных единиц со словами, входящими в состав сложных числительных в качестве основных компонентов; ср. чапл. «12» — *к'улям малг'ук сипнык'лгюкык* «десяти два слишком», наук. «12» — *малг'угнын' атх'анилык* «вторым имеющий спуск», гренл. «12» — *arganeq marluk* «нижний второй» и т. д.

«20» — *югинак'* образовалось от основы *юк* «человек» и суффикса *-ина(к')* со значением «весь, целиком, полностью». Это же слово употребляется в языке в значении «весь человек, человек полностью» по аналогии, например, с такими словами как *мыг'инак'* «вся вода, только вода» (от *мык'* «вода»), *панан'инак'* «только копье, копье целиком» (от *пана* «копье») и т. п. В гренландском языке числительное «20» образуется двояким способом: а) *arfersaneq talimat* «процесс перехода пяти», что означает перевод счета с одной ноги на другую и окончание его; б) *inuk nardlugo* «человек целиком», от *inuk* «человек» и *nardlugo* «целиком», «до конца» (*nardlugo* от основы *nawa* «доводить до конца»). Таким образом, значение, которое в языке азиатских эскимосов в числительном «20» — *югинак'* выражено лексическим способом, в гренландском языке выражено грамматическим способом.

В алеутском языке, находящемся с эскимосским в известном родстве,

¹ Надо сказать, что морфологическая модель сирениковского диалекта имеет поразительное сходство, с одной стороны, с алеутским языком, с другой — с языком эскимосов острова Нунавук (окончание большинства имен на увулярный щелевой *x'*, а не на увулярный смычный *k'*, как в других диалектах). Об этом будет сказано в специальной статье об эскимосско-алеутских лексических параллелях.

² Ср. этимологию этих слов у В. Талбицера, указ. соч., стр. 12.

³ См. там же, стр. 13—14.

только числительное *attaqan* «один» по своему происхождению восходит к общей эскимосской основе *ata* (ср. эск. *ata* > *ataſiq*, алеут. *atta* > *attaqan*). Числительное *alax* «2» в алеутском языке восходит к основе *алах* «второй», что соответствует эскимосскому *аля* > *алъя* «другой», «второй». Числительное *ſaſ* «5» в алеутском языке образуется от основы *ſax* «рука», что в плане типологическом соответствует эскимосскому *талъик* «рука» (*талъимат* «5»). Но это типологическое сходство не является показательным, так как числительное «5» во многих языках мира восходит к основе «рука». Сходство в способе образования числительных в эскимосском и алеутском языках обнаруживается в числительных от «11» до «19», ср.: эск. «11» — *к'улям атасик' сипнык' лъюку* «десяти один слишком», алеут. «11» — *атим аттак'ан сигахта* «десяти один лишек его» и т. д.¹

В связи с этим следует отметить типологическое сходство в образовании числительных второго десятка в эскимосских языках и языках чукотско-корякской группы. Известно, что эскимосский язык не является родственным чукотско-корякским языкам, однако в последних присоединение единиц к десяткам, как и в эскимосском, осуществляется посредством прибавления слова «лишний». Так, например, в чукотском числительное «11» выражается сочетанием слов *мынгыткэн ыинэн парол* «десять один лишний», при этом слово *парол* «лишний, лишек» употребляется всякий раз при присоединении единиц к десяткам. Если *мынгыткэн* «10» буквально в чукотском означает «двоеручный», то *к'ликкин* «20» этимологизируется как «отнесенный к человеку» [от *к'лик* «человек» и суффикса относительных прилагательных *-кин* (-кэн)]. Следовательно, числительное «20» в чукотском языке восходит, как и в эскимосском, к основе «человек»². Весьма возможно, что развитие счета у отдельных палеоазиатских народов происходило при взаимном языковом влиянии в период территориальной общности в районе Камчатского п-ва, а возможно еще ранее где-либо в районах восточной Сибири. Предположение ряда ученых этнографов и археологов о том, что алеуты и эскимосы до расселения их по островам обитали на побережье Камчатки, подтверждается сходством предметов материальной культуры и элементами изобразительного искусства (см. отмеченную выше работу Биркет-Смита), поэтому их контакт с другими палеоазиатскими племенами мог, повидимому, иметь место.

Надо полагать, что в разрешении этногенетической эскимосской проблемы могут и должны сыграть положительную роль материалы языка. Огромнейшие различия в лексике алеутского и эскимосского языков свидетельствует о наличии в алеутском чужеродных элементов с одновременным сохранением эскимосской морфологической модели в построении слова. Сравнительное изучение палеоазиатских языков, включая и эскимосские, может дать ценный материал для установления древнейших языковых связей, а вместе с тем пролить свет на пути миграций эскимосских племен на север и их возможных тесных этнических, а следовательно, и языковых связей с другими племенами в палеоэскимосский период³.

Этимологии эскимосских числительных представляют собою лишь один из многих аспектов лингвистического анализа, способствующего

¹ См.: Н. Б е н н а м и н о в, Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка, СПб., 1846, § 58—62; В. И. П о х е л ь с о н, Унаганский (алеутский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934, §§ 28, 29.

² См. В. Г. Б о г о р а з, Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь, М.—Л., 1937.

³ Характеристику палеоэскимосского периода см. в указанных выше трудах С. И. Руденко и Биркет-Смита.

установлению языковых и этнических связей. Но такой частный лексический анализ не может разрешить затронутого вопроса полностью. Сложный вопрос этнических связей различных эскимосских племен между собою и с иноязычными народами в древнейший период может быть разрешен в какой-то степени совместными усилиями археологов-историков, этнографов и лингвистов путем всестороннего и глубокого изучения исторического прошлого не только эскимосов, но и тех народов, с которыми эскимосы могли встретиться в своем продвижении с востока на север.

О чем все же свидетельствует этимология числительных эскимосского языка? Эскимосские числительные образовались, повидимому, в палеоэскимосский период, когда носители этого языка были объединены в единый этнический коллектив родственных племен, говоривших на ряде контактирующих диалектов. В основу счета положены понятия «рука», «нога», «человек». Числительные первого десятка, а также числительные «15» и «20» образовались от именных и глагольных основ. Эти именные и глагольные основы еще задолго до образования числительных употреблялись в языке в значении самостоятельных слов. Все остальные числительные представляют собою различного рода грамматические формы и сочетания указанных выше числительных первого десятка и числительного «20» (а в науканском диалекте также числительного «15»). Различия в способах образования количественных числительных от одних и тех же основ свидетельствуют о том, что к моменту территориального дробления числительные не получили в языке всеобщего употребления, а следовательно, и единого лексико-грамматического выражения. Окончательное оформление числительных завершалось в территориальных диалектах, что и явилось причиной различия в способах их образования, в то время как основы числительных (исключая алеутский язык) остались общими. Что же касается количественных числительных алеутского языка, то они, как и вся лексика этого языка, свидетельствуют о более древнем территориальном отделении алеутов от эскимосского этнического коллектива и вероятном иноязычном влиянии на этот язык. Длительное изолированное существование алеутов на отдаленных от азиатского побережья островах еще в большей степени способствовало образованию различий между этими когда-то близко родственными языками.

Б. И. НАДЭЛЬ

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ФРАКИЙСКОГО И ИЛЛИРИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ

1

Как известно, при исследовании фракийского и других местных языков Балканского полуострова наибольшее затруднение вызывает почти полное отсутствие связных текстов на фракийском и балкано-иллирийском языках¹, что часто отмечалось исследователями². Так, на фракийском языке имеется всего одна небольшая надпись, вырезанная на перстне V в. до н. э., найденном в местности Езерово (Болгария) в 1912 г. Надпись эта толкуется по-разному³. Во всяком случае, в связи с незначительным объемом надписи, нельзя ждать от нее коренного обогащения наших сведений о фракийском языке, даже после того как она будет окончательно прочтена⁴.

Итак, до того момента, когда будут найдены более богатые по объему и содержанию фракийские надписи, мы вынуждены в исследованиях по фракийскому языку базироваться на глоссах⁵, а также на данных ономастологии (имена собственные⁶ и этнические) и топонимики⁷.

Поэтому первостепенное значение приобретает здесь сравнительно-историческая реконструкция, опирающаяся на данные не только древних

¹ Под балкано-иллирийским подразумевают иллирийский язык Балканского полуострова в отличие от венетского и мессапского. См. ниже, стр. 78—79.

² Ср. S. Pușcariu, *Die rumänische Sprache*, Leipzig, 1943, стр. 203; Б. И. Надэль, Р. И. Потровский, К вопросу о народнолатинской основе молдавского языка, «Октябрь» (Кипинев), 1952, № 6, стр. 70, прим. 1; И. М. Дупаевская, О характере и связях языков Древней Малой Азии, ВЯ, 1954, № 6, стр. 75.

³ См. J. Friedrich, *Kleinasiatische Sprachdenkmäler*, Berlin, 1932, стр. 148; Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, София, 1952, стр. 28, прим. 2 и 88, прим. 3; A. Blumenthal, *Indogerm. Forschungen*, II, № 2, 1933, стр. 113 и сл.

⁴ Это относится также к фрагментарным надписям VI—V вв. до н. э., обнаруженным недавно при раскопках на острове Самофраке. Полагают, что они составлены на одном из фракийских языков-диалектов. См.: K. Lehmann, *Documents of the Samothracian language*, *Hesperia*, «Journal of the American School of Classical Studies at Athens», XXIV, № 2, 1955; G. Bonfante, *A note on the Samothracian language*, там же.

⁵ Около полсотни глосс касаются ботанической терминологии (названия целебных трав, сохранившиеся у ученого медика Педания Диоскорида, современника Нерона). Ср. D. Detschew, *Die dakischen Pflanzennamen*, София, 1928 (Годишник на Софийския ун-т. Пет.-филол. фак-т, кн. XXIV, 1).

⁶ Число их превышает несколько сот. А. Филиппиде (A. Philippide, *Originea românilor*, vol. 1, Iași, 1923 [обл.: 1925], § 195) приводит список 318 фракийских имен, среди которых имеются некоторые нефракийские (например, иранские Cutius, Godes), хотя и принадлежавшие фракийцам.

⁷ Весь этот материал исчерпывающей для своего времени полнотой был собран в работе В. Томашека (W. Tomaschek, *Die alten Thraker*, «Sitzungsberichte der Phil.-hist. Klasse der Akad. der Wissenschaften», Bd. 128, 130, 131, Wien, 1893—1894). Новое собрание фракийских языковых материалов подготовил Д. Дечев (D. Detschew, *Thrakischen Sprachreste* [в печати]). Ср. «Anzeiger [der Phil.-hist. Klasse der Oesterr. Akad. der Wissenschaften]», Jg. 86, № 1, 1950, стр. 28).

индоевропейских языков, но и живых балканских языков, для которых можно предположить родственные связи или же отношения контакта с фрако-иллирийскими языками. Ниже мы попытаемся показать это на материале главным образом албанского и балкано-романских языков.

2

1. Известно, что в албанском языке начальный слог, особенно гласный, произносился очень слабо (чаще всего в неударном положении)¹. Слабость неударенного начального слога в албанском языке связана с характером ударения. Силовое ударение в албанском приводит к заметной редукции неударенных гласных, особенно тех, которые находятся непосредственно перед или после ударенного слога в многосложных словах. Так, например, *të búkura* (им.-вин. падеж мн. числа от *i bukur* «красивый») произносится приблизительно *t' búk(u)ra*² и т. д. Естественно, что в таких условиях неударенный начальный гласный мог легко редуцироваться и даже исчезать³. Это явление можно хорошо проиллюстрировать судьбой латинских слов, вошедших в албанский и дако-романский языки⁴. Ср.:

Лат.	Алб.	Рум.	Молд.
<i>angustus</i> «узкий»	<i>ngushtë</i>	<i>îngúst</i>	<i>ынгъст</i> (диалект)
<i>aprilis</i> «апрель»	<i>prill</i>	<i>priér</i>	<i>приёр</i> ⁵
<i>*experlurare</i> «промывать»	<i>çpëljaj</i> «подоскаты»	<i>a spălă</i> «мыть»	<i>a спэля</i>
<i>implere</i> «наполнять»	<i>mbloj</i>	<i>a împleá (impleá)</i>	<i>a ымплэ</i>
<i>orare</i> «говорить»	<i>uroj</i>	<i>a urá</i> «желать»	<i>a урэ</i>
<i>ungere</i> «мазать»	<i>ngjyjej</i> «красить»	<i>a unge</i>	<i>унже</i> ⁶

¹ Ср. D. C a m a r d a, Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese, Livorno, 1864, § 121; G. P e k m e z i, Grammatik der albanesischen Sprache, Wien, 1908, стр. 38, 49—51; G. S. L o w m a n, The phonetics of Albanian, «Language», vol. VIII, № 4, 1932, стр. 272. При этом надо иметь в виду, что разные гласные показывают различную степень устойчивости (см. ниже, стр. 74).

² Пример заимствован из грамматики Г. Пекмези (G. P e k m e z i, указ. соч., стр. 49—50). Относительно соотношения между ударенными и неударенными слогами в трехсложном охулонон, которое приводит Пекмези ($1\frac{1}{2} : 1 : 3$), следует заметить, что необходима тщательная экспериментальная проверка, особенно для гласных в потоке речи. Изолированные слова, насколько мы могли судить по предварительной кимографической записи речи т. Маруфа Хаджимусая из Эльбасана, не дают такой резкой картины поглощения неударенных слогов. Автор считает приятным долгом выразить здесь свою благодарность студенту из Албании т. М. Хаджимусая, руководству лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ в лице доктора филол. наук Л. Р. Зиндера, аспирантке ЛГУ им. Герцена С. П. Николаевой и преподавателю И. И. Дукельскому за любезное содействие и помощь в осуществлении кимографической записи.

³ При этом надо иметь в виду, что современная албанская акцентуация восходит к такому первоначальному состоянию, когда ударение стояло только на двух последних слогах (см. G. P e k m e z i, указ. соч., стр. 48).

⁴ Следует иметь в виду, что sporadически отпадение начального гласного (аффера) встречается и в романских языках, причем и таких, где о влиянии фрако-иллирийского субстрата не может быть и речи. Ср., например, итал. *chiesa*, прованс. *glieisa* при исп. *iglesia*, франц. *église* < лат. *ecclesia* «церковь» (см. также Э. Б у р с ь е, Основы романского языкознания, перевод с французского, М., 1952, § 161). Тем не менее материалы албанского языка убедительно показывают, что для балкано-романских языков мы должны учитывать не только общероманские, но и местные (субстратные) корни этого фонетического явления.

⁵ Необходимо отметить, что аффера, вообще говоря, характерна для разговорной речи и изредка проникает в письменную речь. Так, в сборнике проповедей 1580 г. читаем: «cinci zeci de zile de în Paști în luna lu Prieră...» (цит. у В. P e t r i c e i с у Н a s d e u, Etymologicum magnum Romaniae, т. II, București, [1887], стр. 1357) и И. Крянги встречаем: «tâta mare!» вместо «atâta mare!» (I. C r e a n g â, Opere, București, [1954], стр. 35) и т. д. Последней ссылкой я обязан любезности Р. Г. Пиотровского.

⁶ Для албанского, румынского, молдавского и других романских языков переводы даются лишь в тех случаях, когда значения слов расходятся с латинским.

Из этого можно было бы заключить о слабости начального слога в языке-субстрате дако-романского языка и языке-предке албанского языка, во всяком случае при некоторых гласных (*a*, *e*, *i*). Однако более подробное рассмотрение двух групп слов латинского происхождения, вошедших в дако-романский и албанский языки, позволяет сделать более детальные выводы¹. К первой из названных групп относятся латинские слова, общие в албанском и дако-романском (согласно Филиппиде — 376 слов); ко второй — латинские слова, вошедшие только в албанский язык (таких слов Филиппиде насчитывает 272). Соотношение случаев отпадения и сохранения начального латинского гласного в обеих группах выглядит таким образом:

I группа

Отпадение гласного			Сохранение гласного	
гласные	дако-романский	албанский	дако-романский	албанский
<i>a</i>	2+1 ²	6+1	17+4	13+4
<i>e</i>			1+1; 3+3 ³	1+1; 3+3 ³
<i>i</i>		9+4	12+2	1+0
<i>o</i>			5+0	3+0 ⁴
<i>u</i>		1+0	2+1	1+1
<i>h</i> + гласн.	1+0	3+1	5+2	3+1
Всего	3+1	19+6	45+13	25+10

II группа

Гласные	Албанский язык	
	отпадение	сохранение
<i>a</i>	8+4	0+2
<i>e</i>	4+9	2+1
<i>i</i>	6+7	2+1
<i>o</i>	2+0	2+0 ⁵
<i>u</i>	0+1	2+0
<i>h</i> + гласн.	1+1	2+0
Всего	21+22	10+4

¹ Ср. A. Philipride, указ. соч., т. II, 1927 [обл.: 1928], стр. 631 и сл.

² При помощи знака + отделяем спорные и сомнительные случаи от достоверных.

³ После точки с запятой даны цифры для слов, начинающихся с лат. *ex-*, дако-романск. *sk-*, алб. *shk-*.

⁴ Кроме того, имеются случаи, когда из начального латинского *o* развивается в албанском группа *ve-* (лат. *ovum* — алб. *ve* «яйцо»; лат. *orbis* — алб. *verbër* «сленой» и др.).

⁵ Кроме того, 2 случая перехода лат. *o* в группу *v* + гласный в албанском (*oleum* «оливковое масло» — *val* и *oleaster* «дикая маслина» — герск. *vóshter*).

Из первой таблицы видно, что в дако-романском языке отпадение начального гласного — более редкое явление, чем в албанском¹. Вторая таблица подтверждает вывод о том, что отпадение начального гласного в албанском преобладает над случаями его сохранения. Можно думать, что здесь сказывались какие-то диалектные различия между языком-субстратом дако-романского и языком-предком албанского².

Что же касается хронологии разбираемой афезы, можно заметить следующее. В современном албанском языке, даже при быстром темпе речи, она не встречается, во всяком случае у молодого поколения (об этом нас информировал М. Хаджимусай). Это можно подтвердить и такого рода соображениями. На 300 с лишним слов, помещенных под буквой «А» в русско-албанском словаре Института наук ИРА, встречается только несколько слов с отпавшим начальным слогом, и то таких, как *gusht*, *lter* (при рум. *altar* < лат. *altare*) и другие, которые восходят к эпохе контакта предка албанского языка с народнолатинским языком. Если обратиться к словам, вошедшим в албанский язык из других языков, то случаи отпадения начального гласного крайне редки. Так, находим в словаре Франгу и Барзе, более известного под латинизированным именем *Franciscus Blanchus* (1606—1643) *Natolia*³ вместо лат. *Asia*, совр. албан. *Azi* «Азия» наряду с греко-алб. *anadollî* «восток» < новогреч. ἀνατολή⁴; в тоскском употреблялись *llonar* и *allonar* «июль» < новогреч. ἰουλιος⁵; алб. *dramidhe* «ковер» < новогреч. ὑδρομήδης при древнегреч. ἐνδρορίς «шерстяное покрывало» («плащ»). Во всяком случае, поскольку нам почти неизвестны случаи, когда албанские слова, заимствованные из староитальянского, турецкого и славянского языков, показывали бы отпадение начального слога⁶, мы склонны думать, что приведенные выше примеры албанских заимствований из греческого языка следовало бы отнести к среднегреческой эпохе. Это дало бы возможность считать их

¹ Любопытно, что молдавский и румынский языки, а также арумынский и истро-румынский диалекты обычно сохраняют начальные латинские гласные, в то время как в мегленецком диалекте они часто отсутствуют:

Молд.	Рум.	Арум.	Истро-рум.	по Мегл.
<i>адук</i> «привожу»	<i>aduc</i>	<i>aduc</i>	<i>aducu</i>	<i>duc</i>
<i>ажут</i> «помогаю»	<i>ajut</i>	<i>adžut</i>	<i>(a)žut</i>	<i>žut</i>
<i>адун</i> «собираю»	<i>adun</i>	<i>adun</i>	<i>aduru</i>	<i>dun</i>

Вопрос этот нуждается в дальнейшем исследовании.

² Следует иметь в виду, что в дако-романском языке рефлекс субстрата должны быть значительно слабее представлены, чем подобные явления в албанском языке — потомке фракийского (мнение Ю. В. Зыцаря).

³ См. M. R o q u e s, Le dictionnaire albanais de 1635. I — F. B l a n c h u s, Dictionarium latino-epiroticum, Paris, 1932, стр. 6 (фототип. изд.).

⁴ См. G. M e y e r, Albanesische Studien, V — Beiträge zur Kenntniss der in Griechenland gesprochenen albanesischen Mundarten («Sitzungsberichte der Phil.-hist. Klasse der Akad. der Wissenschaften», Bd. 134, Wien, 1896, стр. 67).

⁵ См. G. M e y e r, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg, 1891, стр. 8. При пользовании этим словарем надо иметь в виду, что: 1) он весьма неполно отражает индоевропейские корни албанских слов; 2) многие албанские слова новогреческого и турецкого происхождения, приводимые в словаре Мейера, совсем или почти совсем не употребляются уже в Албании, а некоторые не употреблялись и раньше в общеразговорной речи. Все это дает основание английскому албанисту С. Манну определять словарь Мейера как «... a Dictionary of albanian jargon» (S. E. M a n n, An historical albanian — english dictionary, London—New York—Toronto, 1948, предисловие, стр. V). Аналогичную критику находим у А. Буду («О создании единого албанского литературного языка», «Известия [АН Арм. ССР]». Обществ. науки, 1951, № 6), а также у В. Н. Сухотиной и А. Косталари («Основные проблемы албанского языкознания», ВЯ, 1953, № 4, стр. 90).

⁶ Исключение — приводимые у Мейера (G. M e y e r, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, стр. 48) формы *brîk* «кувшина» — *ibrik* «кувшин (из глины или металла)» < турецк. *ibrik* «кувшин (для воды)». Ср. также W. C i m o - c h o w s k i, Le dialecte de Dushmani. Description de l'un des parlers de l'Albanie du Nord, Poznań, 1951, стр. 26—27.

синхронными разобранным раньше словам латинского происхождения типа *aprilis* — *prill* и т. д., которые дают представление об акцентуации фрако-иллирийских языков периода складывания дако-романского языка, т. е. не раньше V—VI вв. н. э.

2. Для фракийского языка прослеживается колебание гласных *a*—*e*¹: Νῆσσος (Стефан Визант.) — Νέσσος (Фукидид, II, 96, 4 и др.), совр. река Места в Болгарии²; Δαυθῆλητος (Страбон, VII, 5, 12) — Δενθῆλητος (Полибий, XXIII, 8), фракийское племя в верховьях реки Стримона; *Rhascuporis* (Светоний, Тиберий, 37, 9) — *Rhescuporis* (Тацит, Анналы II, 64), фракийский царь (12—19 гг. н. э.); *Eplacetus* (CIL, VI, 3247)³ — *Eptetras* (CIL, VI, 228), сокращ. от *Eptetralis* (Е. Kalinka, *Antike Denkmäler Bulgariens*, № 34); *Aulu — zanus* (CIL, VI, 2601, 2991, 3397) — Αὐλοζῆτης (Kalinka, указ. соч., 34); Δαυδάπαρ — Πρῆσσυπάρ (Прокопий, О постройках, IV, 4, 1—3); Ζάλδαπα — Μουδέπα (Прокопий, там же, IV, 11); *Germisara* (CIL, III, 1395) — *Germihera* (карта Пейтингера); ср. *Germigera* (Аноним Равеннский).

Д. Дечев считает, что мы имеем здесь дело «с особенностями этрусского вокализма», сохранившегося от автохтонного населения (о неприемлемости тезиса Д. Дечева о том, что фракийский язык возник в результате скрещенния иранского языка с этрусским, мы подробнее писали в другом месте)⁴. Не трудно заметить, что колебание *a* — *e* встречается в разных фонетических положениях: начальный слог (Νῆσσος — Νέσσος), конечный слог (Βαλῆς — Βαλής) одноосновных имен, слог, содержащий соединительный гласный в *composita* (Βουρβείστας — Βουρβίστας), и др. Можно думать, что это явление связано с неударным вокализмом, как известно из истории албанского и дако-романского языков. Ср.:

Лат.	Алб.	Рум.	Молд.
<i>camisia</i> «рубаша»	<i>kēmishë</i>	<i>cămeșă</i>	<i>кэмешэ</i>
<i>damnare</i> «осуждать»	<i>dëmoj</i> «вредить»	<i>a dăuna</i> «вредить»	<i>а дэунă</i> ⁵ — «вредить».

К такому же выводу приводит нас сравнение некоторых фракийских слов с их албанскими соответствиями. Ср.:

Фрак.	Алб.
Βουρ-βείστας	
Βουρ-βίστας	<i>burrë</i> «муж»
μαυτῖα «серенька»	<i>mau</i> «столовая ягода» ⁶
σχιτρη «кардовник»	<i>shqer</i> «изорвать», «царапать» ⁷
Καρπί-της «Карпаты» (горы)	<i>karpë</i> «скала»

¹ В целях разгрузки ссылочного аппарата мы даем более или менее подробную филологическую документацию только для примеров первых веков нашей эры, отсылая в других случаях к сходным работам Томашека, Филиппиде, Дечева и Крае. Заметим попутно, что, несмотря на исключительно широкие географические (территория Балканского полуострова и частично Северного Причерноморья) и хронологические рамки (от Фукидида до Прокопия Кесарийского) источниковедческого материала, сделанные здесь наблюдения не могут быть случайными.

² Д. Дечев, *Тракийски названия на наши реки*, «Известия на Пн-та за български език», кн. III, София, 1954, стр. 281 и сл.

³ Латинские надписи цитируются по «Corpus inscriptionum latinarum», Berolini, 1863 и сл. (CIL).

⁴ Ср. нашу рецензию в ВЯ (1955, № 2, стр. 141).

⁵ См. А. Philippide, указ. соч., т. II, стр. 635, 639; С. Пушкарю (S. Pușcariu, указ. соч., стр. 332) оспаривает субстратное происхождение этой фонетической особенности.

⁶ Ср. Д. Дечев, *Характеристика на тракийски език*, стр. 48—49 и 109.

⁷ См. W. Tomaschek, указ. соч., «Sitzungsberichte der Phil.-hist. Klasse der Akad. der Wissenschaften», т. 130, 1893, стр. 26.

Из этих примеров явствует, что в определенных положениях фракийские диалекты имели возможность заменять неударный гласный ($a — e$) гласным неопределенного (смешанного) тембра $\ddot{e}$ ¹.

Для нас важно отметить, что эта особенность встречается также в балкано-иллирийском². Ср.:

Andretio (карта Пейтингера) — *Endretio* (Аноним Равеннский)³; *Brattia* (Плиний, III, 26) — *Brettia* (Стефан Визант.); *Dalmatia* (Плиний, I, 3; II, 44) — *Delmatia* (Плиний, III, 25; Тацит, История, II, 32); $\Delta\alpha\sigma\chi\rho\eta\tau\iota\omega$ (Страбон, VII, 316) — $\Delta\epsilon\sigma(\sigma)\chi\rho\eta\tau\iota\omega$ (рукоп. вариант, Птолемей, III, 12); *Plator* (CIL, III, 1271, 2773) — *Plaetor* (CIL, III, 3149), *Pletor* (CIL, III, 10723)⁴.

Это же колебание встречается и в дифтонгах. Так, мы имеем фракийское Πρυτχλίχ (Прокопий, О постройках, IV, 4, 1—3) — *Peutalia* (Карта Пейтингера) и иллюрийское *Lausaba* (Аноним Равеннский, IV, 19) — *Leusaba* (Карта Пейтингера)⁵.

Следует также отметить, что колебание $a — e$ известно также и в других языках балкано-малоазийского ареала: фриг. $\dot{\eta}\tau\tau\chi\rho\sigma — \dot{\eta}\tau\tau\chi\rho\sigma$ «козел»; $\gamma\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha\rho\sigma — \gamma\acute{\epsilon}\lambda\alpha\rho\sigma$ «жена брата»⁶.

Итак, перед нами какая-то артикуляторная особенность данных языков. Скорее всего наличие звука, занимающего некое среднее положение между a и e , что и создавало для письменных систем, в которых его нет (греческий алфавит для фригийского, греческий и латинский алфавиты для фракийского), большие затруднения в его передаче, и отсюда колебания при его начертании при помощи a и e . Думается, что для фракийского речь идет, очевидно, о гласном неопределенного тембра, напоминающем молд. $\ddot{e}$, рум. a и алб. $\ddot{e}$ ⁷. В закреплении этого звука в победившей звуковой системе дако-романского языка могло в

¹ Сюда, очевидно, примыкают и такие случаи, как, например, алб. *jastëk — jestëk* «подушка» < турецк. *jazdëk*. Любопытно, что в произношении М. Хаджимусай перед кириллицей фрак. имя *Ettela* звучало как [atëla], причем оно было повторено несколько раз. То же находим в дако-романском; *Afëndul* — имя собственное (историч.); ср. макед.-рум. *afendul* (вместо рум. «*lată*») < турецк. *efendi* (ссылки на источники см. у Hasdeu, *Etymologicum magnum Romaniae*, t. I, București, 1886, стр. 430) и др.

Не исключено, что случаи перехода $a — e$ могли иметь место и под ударением. Если в виде эксперимента попытаться читать фракийские имена по правилам ударения современного албанского языка, то как раз такие случаи представляют имена $\text{Ζχλδ-ἄπχ} — \text{Ζχλδ-ἑπχ}$, $\text{Δχρῆλχς} — \text{Δχρῆἑλχς}$ и др. Если это так, то этим объясняются такие случаи, как рум. *altar* — алб. *eler*, дакм. *kesa* — рум. *casa* из лат. *altare, casa*.

² При этом следует учитывать, что в иллюрийском языке в отличие от фракийского сохранялось различие между долгими и краткими a и o . Работа X. Крае «Der illyrische Lautwandel $\ddot{e} > \ddot{a}$ », («Indogerm. Forschungen», LIX, 1944, стр. 62—83) нами, к сожалению, не могла быть использована при работе над данной статьей.

³ Использованы главным образом географические названия и собственные имена, которые содержатся в работах X. Крае (см.: H. K r a e, *Die alten balkanillyrischen geographischen Namen*, Heidelberg, 1925; а также *Lexikon altillyrischer Personennamen*, Heidelberg, 1929).

⁴ Многочисленные ссылки на надписи см. у X. Крае («Lexikon...», стр. 91—95).

⁵ Необходимо заметить, что древнегреческая диалектная орфография не может быть признана источником колебания $a — e$ (типа ион. η дор. $\ddot{a}$: $\eta\mu\epsilon\rho\eta — \ddot{a}\mu\epsilon\rho\eta$) применительно к фракийским языковым остаткам, так как это колебание подтверждается фрако-иллирийскими словами и латинской транскрипции.

⁶ См. H. H i r t, *Gehören die Phryger und Thraker zu den satem- oder centum-Stämmen?*, «Indogerm. Forschungen», Bd. II, 1893, стр. 147; F. S o l m s e n, *Zum Phrygischen*, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd. XXXIV, 1897, стр. 39 и 63.

⁷ Ср.: G. G. M a t e e s c u, *Ephemeris Dacoromana*, I, Roma, 1923, стр. 99, примеч. 1 и стр. 128; N. I o r g a, *Histoire des Roumains*, vol. I, partie 1, București, 1937, стр. 116—117; C. T a g l i a v i n i, *Le origini delle lingue neolatine*, 2-e ed., Bologna, [1952], стр. 112.

какой-то мере сказаться также влияние славянской редукции неударного $\bar{a}$ ¹.

Надеемся, что при более детальном исследовании этих особенностей вокализма дако-романского и албанского удастся уточнить кое-какие черты фракийских диалектов.

3. Следующая особенность, которая бросается в глаза при анализе фракийских собственных имен, — это колебание в передаче звонких и глухих смычных $b - p$, $d - t$, $g - k$, а также $z - s$. Ср.: Βηρισάδης (Демосфен, XXIII, 8 и 170) — Παρισάδης (Диподор, XVI, 52 и XX, 22), Σπαρτάδοχος (Фукидид, IV, 101) — Σπάρτακος (Диподор, XII, 31 и 36)²; Γρηστωρία (Фукидид, II, 99) — Κρηστωρία γῆ (Геродот, VII, 127); Ἄρζος — река (Птолемей, III, 11, 6) — Arso — город (Итинерарий Антонина, 136, 7).

Это же явление засвидетельствовано для иллирийских названий и имен. Ср.: Budua (в средневек. текстах, см. Н. Krahe, Geogr. Namen, стр. 18) — Butuanum (Плиний, III, 22); Dazas (CIL, III, 13861) — Dasa (CIL, III, 1262). Ср. мессап. имя daszes (Н. Krahe, Lexikon, стр. 38).

Оно встречается также в мессапском, где в этой черте склонны видеть диалектные различия³. В дако-романском и албанском находим лишь следы такого состояния: Ср. лат. baptizare «крестить», молд. а ботезá, рум. а ботезá, алб. pagëzoj, pakëzoj.

В самом албанском это явление обычно встречается в конечном исходе (например, гегск. bunk и bung-и «дуб» — форма с артиклем).

В таком же положении это явление известно и в диалектах румынского языка. Ср. lâncet — langed «обессиленный» (р-н г. Сталин), а также в истро-рум. zbutit-a (рум. а deşteptá «будить» из хорв. izbuditi).

Возвращаясь к древнебалканским языкам, необходимо подчеркнуть, что это колебание не может служить достаточным основанием для постулирования отсутствия фонологической разницы между звонкими и глухими. Речь идет здесь о таких артикуляционных особенностях фракийского и других балкано-малоазиатских языков, где, как во фракийском, различались p, t, k с очень слабым придыханием и p, t, k без придыхания (соответствуют генетически индоевропейским b, d, g , которые произносились с оглушением)⁴. Но необычные для греческого уха особенности в произношении двух рядов глухих смычных и некоторых щелевых и создали впечатление колебания между ними. Отсюда греческая графика обычно передает эти звуки через θ (фрак. th и t), через χ (фрак. k, g, x), через π (фрак. p, b), через τ (фрак. t, th, d), через ζ (фрак. z, s, dh и d перед e, i, j) и через σ (фрак. s, z, th и t перед e, i, j).

4. Для фракийского языка не характерна субституция $t - k$, $p - k$, $d - g$, $d - b$ ⁵. С этим явлением мы встречаемся в иллирийском языке. Ср.:

¹ См. Р. Г. Пиготровский, Славянские элементы в румынском языке, «Вестник Ленингр. ун-та», 1951, № 1, стр. 144.

² Βηρισάδης и Σπαρτάδοχος — фракийские цари (V—IV в. до н. э.), Παρισάδης и Σπάρτακος — боспорские правители фракийского происхождения того же времени. См. Я. Годоров, Тракийские царе, «Годишник на Софийския ун-т. Ист.-филол. фак-т», кн. XXIX, 7, 1933; В. Latyshev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini, vol. II, Petropoli, 1890, стр. XV и сл. (на русском языке: В. В. Латышев, Повторя, СПб., 1909, стр. 60 и сл.) и В. Ф. Гайдукевич, Боспорское царство, М.—Л., 1949, стр. 54—57.

³ См. Н. М. Тронский, Очерки из истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 59.

⁴ Такое же произношение b, d, g характерно для албанского языка. Ср. G. Weigand, Albanesische Grammatik im südgegischen Dialekt, Leipzig, 1913, стр. 6—7; G. S. Lowman, указ. соч., стр. 273—274; W. Simonski, указ. соч., стр. 13.

⁵ Следы этого можно обнаружить в вышеприведенном алб. pagëzoj, pakëzoj (рум. а ботезá, молд. а ботезá), где лат. группе $pt > t$ соответствуют алб. g, k . Ср. также алб. patatë «картофель» — греко-алб. batakë (см.: G. Meyer, Albanesische Studien, V, стр. 69; Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, стр. 29).

'Αυδῆτρον (Страбон, VII, 55) — 'Αυδέτρον (Птолемей, II, 17); *Arypio* (Карта Пейтингера)¹ — 'Αρσυχία (Птолемей, II, 17); *Bardulis* — *Bargulis* — *Bargilius* (рукоп. варианты у Цицерона, de off., II, 11, 11)²; *Derdas* (Фукидид, I, 57, 3) — *Berdas* (Курций Руф, VII, 6, 12; VIII, 1, 7)³.

Любопытно, что дако-романский язык показывает сохранение этой особенности артикуляции. Так, в молдавском и румынском языках довольно часто встречается *g'ine* (д'ине) вместо *бине*⁴. По данным лингвистического атласа Румынии только западные районы сохраняют губные, в то время как в других районах наблюдается замена их заднеязычными. Наиболее последовательно она наблюдается в арумынском диалекте (например, *k'atra* «камень» вместо рум. *piatră*)⁵.

Таким образом, мы можем в указанной черте видеть особенность фонетики дороманизованного населения, которая характеризовала иллирийские языки в противоположность фракийским, но тем не менее перешла в дако-романский язык⁶. Надо думать, что с этим явлением связана такая хорошо известная особенность балкано-романских языков, как переход лат. *ct* > *pt* (в дако-романском и далматском) и *ft* (в албанском), например: лат. *lucta* «борьба», молд. *луптэ*, рум. *luptă*, алб. *luftë*.

Любопытно, что следы перехода *ct* > *ft* находим также в южно-итальянских районах, где сохранилось греческое население (Апулия). Думается, что это явление связано не столько с языком греческого населения Южной Италии, сколько с языком догреческих иллирийских насельников (мессаны и др.).

3

Разумеется, далеко не все звуковые особенности местных балканских языков перешли в победившую романскую языковую систему. Достаточно здесь остановиться на двух примерах: 1) колебание *o* — *a*, 2) спонтанное удвоение согласных.

1. Колебание *o* — *a* довольно часто представлено во фракийском языке. Ср.: *Σάρατος* (Плутарх, Красс, VIII, 2) — *Σάρατος* (B. Latyshev,

Пекмези (G. Pékmezî, указ. соч., стр. 42, прим. 8) ограничивает это явление суффиксальными словами: *tërmët* — *tërmëk* (герск. < лат. *terrae mōtus* «землетрясение» (ср. фриульск. *taramol* при итал., исп. *terremoto*).

¹ Форма *Arypio* (Карта Пейтингера) относится к началу III в. до н. э. Эта же форма (*Agripio*) засвидетельствована в Итинерарии Антонина (274, 2), не раньше времени Константина.

² Сведения Цицерона происходят к Феопомпу. Другие греческие авторы (Поллибий, Диодор, Луклан) знают этого иллирийского царя середины IV в. до н. э. под именем Βαρδουλis (Βαρδούλλis) — Βαρδουλis.

³ *Derdas* — племянник македонского царя Александра I; *Berdas* — спутник Александра Великого. X. Берве читает его имя как [D]erdas (цит. в кн.: Н. Krahle, Lexikon..., стр. 42), однако конъектура здесь не нужна.

⁴ См.: D. Mascia, Problema de fonetică, Ed. Acad. RPR, 1953, стр. 52—89 (глава III — Paratalizarea labialelor în limba română, с картами); II. Д. Чебаи, Современное состояние научной разработки молдавского языка и его истории, сб. «Вопросы молдавского языкознания», М., 1953, стр. 170—172.

⁵ В мегленицком диалекте палатализация наблюдается лишь в отдельных словах, например *k'atră*, но *peđică* (молд. *педикэ*, рум. *pieđică* «принятие»). В истро-румынском только в *kl'ept* (вместо молд. *n'ept*, рум. *piept* «грудь»). Встречается также молд. разг. *k'ept*. Ср. S. Pușcariu, указ. соч., стр. 308, где указано другое объяснение.

⁶ Такую же картину рисуют данные по дифтонгизации в романских языках Балканского полуострова. Далматский язык показывает как будто большую склонность к дифтонгизации, чем дако-романский, особенно для древнейшего периода, когда имел место контакт с иллирийским (ср. дифтонги в иллиро-паннонских именах Anduenna, Breucus, Dennaus, Volsouna). Фракийский язык характеризуется более слабой дифтонгизацией; подробнее см. в нашей рецензии на книгу Д. Дечева «Характеристика на тракийския език» (ВЯ, 1955, № 2, стр. 143).

IOSPE II, стр. 318, указатель); *Σκάρδον* (Страбон, VII, 329) — *Scordus* — гора (Тит Ливий, XLIII, 20; XLIV, 31)¹.

Реже оно, повидимому, встречается в балкано-иллирийском "Αφωρος (Птолемей, II, 16) — "Οφρα (Константин Багрянородный, De adm. imp. гл. 29), и "Ορτοπλα — "Αρτοπλα (рукоп. вариант, Птолемей, V, 16).

Трудно сказать, имеем ли мы перед собой результат древнего неразличения тембров *o* — *a*, как в праславянском², или же явление вторичное, связанное с ударением. Как известно, неударное *o* в некоторых случаях переходит в *ǎ*³ в дако-романском и албанском, что в какой-то мере могло быть связано с воздействием славянского населения, появившегося на Балканах около VI в. н. э.⁴

2. Спонтанное удвоение согласных хорошо представлено в фракийских и иллирийских языковых остатках. Ср. фрак.:

Arulos (Карта Пейтингера) — "Αρῶλος (Птолемей, III, 13, 35); *Σίρις* — *παίονες* (Геродот, V, 15) — *Σίρρας* (Аристотель, Полит., 1311 в.) *Sisus* — *Sissa* (CIL, III, 14421).

Таким образом, это явление наблюдается не только в группе, фракийских имен, образованных от слов детской речи ('Απρία — 'Αφρία — 'Αρία, Πάπος — Παππούς), и не только в одноосновных именах (например, Μᾶνις) под влиянием двуосновных (Μαυι — μαῖος, откуда начертание Μᾶνις с одним -ν), как думает Д. Дечев (стр. 27—28 и 87—88).

Поскольку с этим удвоением мы встречаемся также в иллирийском языке (ср. *Dasius* — *Dassius*, *Licaios* — *Liccaius*, *Pines* — *Pinnes*, *Vines* — *Vinnia*⁵ и в малоазийских языках⁶, можно думать, что мы имеем здесь перед собой явление очень древнее, корнящееся, может быть, в языке дофракийского населения.

¹ Относится географически к Иллирии (см. Н. Krahe, Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, стр. 35—36), но был населен фракийцами; ср. Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, стр. 53, прим. 3, стр. 115, прим. 1.

² Ср. А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, § 61. Об этом могли бы свидетельствовать отдельные случаи перехода *a* > *o* (и наоборот) под ударением, как, например, алб. *fashë* «повязка» < лат. *fascia*, получившее затем значение «пелёнка», и *foshnjë* «малютка» (буквально: «ребенок, которого пеленают»). Ср. G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, стр. 100. Такие, вероятно случаи представляют чередования типа тоск. *va*:- гегск. *vo*-(*val* — *vol*, *voj* < лат. *oleum*), где тоск. *va*- происходит и *ua* (развившемся из *uo*), хотя начальное *va*- встречается также в гегском диалекте (например, *valë* «волна»). См. N. Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen, Berlin — Leipzig, 1923, стр. 209—211.

³ Ср. рум. *Arbănași* (название местности и Бузю) из этнонима *Arbănaș* «албанец» и *Orbonaș* (фамильное имя); см. I. Iordan, Nume de locuri românești în Republica Populară Română, vol. I, [Bucharest], 1952, стр. 225; *andróc* — *ondróc* «домотканная перстяная юбка»; ср. B. Petricoiu — Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae, t. II, стр. 1187. Алб. *dallendyshë* «мсточка» встречается у Каваллиотиса (1770 г.) в форме *dollendyshe*; ср. G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, стр. 59. Может быть, это явление связано с соседством сонантов (*l*, *r*, *n*).

⁴ См. A. Philippide, указ. соч., т. II, стр. 78 и 576. Р. Г. Плотровский, указ. соч., стр. 145.

⁵ CIL, III, 14825 ∼ dipl. 62 suppl.; 3224 ∼ 14216 № 8; 14216 № 8 ∼ 8933.

⁶ См. P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen, 1896, стр. 335, 368, 369 и др. Об удвоении в ликийском см. И. М. Дунаевская, указ. соч., стр. 67. Ср. также карийск. "Αρβησις "Αρβησις (P. Kretschmer, указ. соч., стр. 359). Связаны ли с указанным явлением все случаи двойного начертания согласных в латинских надписях Балканского полуострова (для Дакии ср. P. Drăgoiescu, Limba latină pe inscripțiile din Dacia, Râmnicul Vâlcea, 1931, стр. 33—37), сказать трудно. Скорее всего, для латинских слов и имен, содержащих сонант или -s-, прямой связи нет, так как это довольно общее явление в латинских надписях разных провинций. Ср., например, в надписях Галлии: *Apollonius* (CIL, XII, 5683, 31) вместо *Apollonius* и *puelae* (XIII, 1983) вместо *puellae*, *dulcisima* вместо *dulcissima* (XII, 1972), *ocupavit* (XIII, 2200) вместо *occupavit*, хотя смычные здесь гораздо реже подвержены этому колебанию, чем сонанты (*l*, *n*, *m*) и *s*.

4

Подведем итоги изложенным выше наблюдениям.

1. Фракийские и иллирийские языки в области фонетики характеризуются рядом общих черт: наличием гласных неопределенного тембра (колебание *a — e*), артикуляционными особенностями в произношении глухих и звонких смычных, колебанием *o — a*, спонтанным удвоением согласных и др.¹

2. Внутри этой группы языков имеются расхождения диалектного порядка (характер дифтонгизации, слабость начального слога, так называемая «горизонтальная» палатализация смычных), которые не совпадают со схематичным делением древних северобалканских языков на фракийские и иллирийские.

3. Этот момент хорошо отражают романские языки Балканского полуострова, которые показывают разные субстратные рефлексy применительно к фрако-иллирийской группе языков.

4. Фракийский язык, как и другие древние языки Балканского полуострова, должен поэтому изучаться не только с привлечением материалов древних языков (например, фригийского, мессапского, древнегреческого), но также и живых балканских языков².

¹ Указанные фонетические критерии позволяют также вскрыть принадлежность к фракийской языковой среде ряда имен скифо-иранского происхождения из Северного Причерноморья, например Σαβδάχος — Σαβδδχος, Μητχος — Μάδαχος, Τανχis — иран. *dāpi* «река» и др.

² Весьма ценны материалы древнегреческих диалектов, свидетельствующие о наличии в словах, заимствованных из догреческих языков, как раз таких фонетических особенностей, которые характерны для фрако-иллирийской группы языков (например, субституция *t — k*, *b — g — d* и др.: τίτχνος — χίττχνος «известь», «гипс»; βῆφουρα — γῆφουρα — δῆφουρα «мост»).

В. А. МАТВЕЕНКО

ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ

Лингвистическому анализу новгородских берестяных грамот посвящен в настоящее время ряд статей и исследований¹. В коллективной монографии, выпущенной в 1955 г. Институтом языкознания АН СССР², детально исследованы палеографические и языковые черты 9 грамот из раскопок 1951 г. и 15 — из раскопок 1952 г. В настоящее время уже полностью опубликованы находки 1952 г. (всего 73 грамоты) и часть грамот из раскопок 1953 и 1954 гг. (всего 12 грамот)³.

В предлагаемых заметках рассматриваются некоторые палеографические и лингвистические черты грамот последних публикаций, не вошедших в число исследованных в упомянутом сборнике. Вновь опубликованные грамоты, как и прежде, представляют собой документы частного характера: хозяйственные распоряжения, записи долгов, письма. Прочтение и перевод грамот в подавляющем большинстве случаев не вызывает больших затруднений. Среди этих грамот, как и среди прежних, нет ни одной датированной; мы располагаем только датировкой, установленной А. В. Арциховским на основе данных археологии. По стратиграфическим данным исследуемые нами грамоты распределяются следующим образом: XV—XVI вв. — №№ 11, 12; XV в. — №№ 98 (начало XV в.), 14, 15, 16, 18, 19; 97 (вторая половина XV в.); рубеж XIV—XV вв. — №№ 22, 29, 125; XIV в. — №№ 134 (начало XIV в.); 30, 31, 32, 33, 37, 42, 44, 45, 50, 66, 92 и 94 (вторая половина XIV в.); рубеж XIII—XIV вв. — №№ 47, 57, 58, 59; XIII в. — №№ 51, 52, 55, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72; рубеж XII—XIII вв. — № 73; XII в. — №№ 75, 76, 77, 79, 80, 82; рубеж XI—XII вв. — № 105; XI в. — №№ 109, 119. Грамоты №№ 135 и 136 найдены не при раскопках, их даты установлены А. В. Арциховским палеографически: первая — XV в., вторая — XIV в.⁴

Палеографические черты названных грамот в основном описаны при их публикации, вопросам палеографии грамот посвящен также самостоятельный раздел в коллективной монографии, написанный Л. П. Жуковской; однако детальное изучение палеографии берестяных грамот является еще задачей будущего. Стратиграфическая датировка ввиду возможного в отдельных случаях споса грамот из более верхних слоев в более нижние нуждается в подтверждении данными палеографии и истории языка. Поэтому исключительно важно тщательно изучить палеографическую и лингвистическую сторону грамот.

Начертания букв в берестяных грамотах в основном совпадают с начертаниями, известными нам по памятникам, написанным чернилами на пергамене. Это в какой-то мере может свидетельствовать о синхронности того и другого типа письма и позволяет нам использовать в некоторой степени данные памятников, написанных на пергамене, при датировке берестяных грамот. Так, черты раннего устава: геометричность форм, симметричность частей букв, небольшое число надстрочных знаков — прослеживаются и в берестяных грамотах, стратиграфически датированных XI—XII веками (грамоты №№ 109, 119, 105, 82 и 75). Переход к позднему уставу и полууставу —

¹ В. И. Борковский, Драгоценные памятники древнерусской письменности, ВЯ, 1952, № 3; Ф. Ф. Кузьмин, Новгородская берестяная грамота № 9, там же; В. И. Борковский, Новые находки берестяных грамот, ВЯ, 1953, № 4; В. К. Чичагов, Филологические заметки, ВЯ, 1954, № 3; М. В. Щенкина [Ред. на кн.:] А. В. Арциховский и М. И. Тихомиров. Новгородские грамоты на бересте, ВП, 1954, № 4.

² «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955 (в дальнейшем даем просто — коллективная монография).

³ См. А. В. Арциховский, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.), М., 1953; его же, Раскопки 1953 года в Новгороде, ВП, 1954, № 3; его же, Раскопки 1954 года в Новгороде, ВП, 1955, № 2.

⁴ Нумерация грамот дана А. В. Арциховским в порядке их нахождения.

XIII—XV вв. — отмечен и в берестяных грамотах теми же чертами, что и в памятниках на пергамене. В позднем уставе (XIV—XV вв.) в пергамениных памятниках изменяется начертание букв и, и, ю, ю, ю; перекладина у и становится косой, у и — прямой, или изменится только буква и, а и сохраняет архаический вид; поднимаются перекладины букв ю, ю, ю. Эти изменения отражают и исследуемые нами берестяные грамоты №№ 12, 14, 19, 18, 42, 94, 92. Как в пергамениных, так и в берестяных памятниках указанного времени, однако, возможны и архаические и, и. (См. грамоты №№ 136, 134, 11, 22, где сохраняются эти написания; например, в грамоте № 11, стратиграфически относимой к XV—XVI вв., наряду с бесспорными палеографическими показателями XV в. — вязь, манерное к, явно полууставное к, наличие тенденции к курсивному письму, — находим также и, и, характерные для более ранних эпох.)

Отражены в грамотах и особенности письма, характерные для полуустава. Типичное для последнего начертание буквы к (с верхней петлей, продолженной до самого низа мачты или превращенной в линию, параллельную мачте) находим в грамотах №№ 42, 31, 18, 15, 14, 94, 98, 136, 135, 125. Свойственная полууставу некоторая манерность в начертании букв имеет место и в берестяных грамотах. Интересна, например, эволюция начертания буквы ч; как и раннее ч, буква пишется в два приема: черта слева — в уровень строки с наклоном вправо, черта справа — с хвостиком, выходящим за строку. Написание правой части может варьироваться: это или излом (ср., например, начертание ч в грамоте № 42, где излом не соприкасается с левой частью, или плавный загиб хвостика, как в грамотах №№ 125, 22). И. П. Жуковская отмечает следующее написание буквы ч в грамотах №№ 17, 27: «Буква ч пишется своеобразно и напоминает современную букву „к“ без нижней половины ее мачты. Писалась она в два-три приема. Сначала проводилась перпендикулярно к строке левая часть буквы — прямая мачта. К нижней точке мачты справа, под углом 45—60°, проводилась линия, образующая правую часть буквы ч. Сверху справа она начиналась небольшим крючком. Из нижней части мачты с поворотом «пера» вправо и последующим изгибом вниз писался довольно длинный крючок, занимающий все межстрочное пространство... Такое ч отмечено в Требнике Шереметева XIV в. Оно встречается еще в берестяной грамоте № 27 (из числа рассматриваемых нами)¹. К типу, отмеченному И. П. Жуковской, относится буква ч в грамоте № 94. Следует добавить также, что сходное написание буквы ч мы нашли в Московском евангелии 1339 г.²

Полууставное ж, у которого верхняя дуга превращена в прямую линию, не пересекающую мачту посредине или выше, а как бы накрывающую мачту сверху, находим в грамоте № 42. Впрочем эта грамота по содержанию и стилю (духовное заветание) резко отлична от остальных, содержит несколько церковных штампов; возможно, что и начертанием букв она в большей степени, чем другие грамоты, обязана влиянию церковной письменности. Связь письма на пергамене и письма на бересте можно проследить и наблюдая общую эволюцию обозначения звука у в берестяных грамотах. В ранних грамотах (№№ 119, 105; по стратиграфическим данным — XI в.) находим, как и в пергамениных памятниках, только написание су (примеры с су имеются лишь после согласных). В грамоте XIII в. № 68 и в грамотах XIV в. №№ 92, 94, 136 соблюдается правило, известное и по пергамениным памятникам: написание су в начале слова, написание ч после согласных, например: нчу, юму судевритиса — № 94; су нтра (начало строки), на зунке, на стуконик — № 92; се доковнцху, труфале, г. седед, д. ру, г. кун/ници, пудь/меду, лну, сусуповъ (в начале строки), бхараъ су пекну — № 136.

В XIV—XV вв. двубуквенное сочетание су для передачи ч употребляется все реже и реже, заменяясь посредством ч также и в начале слова. Это явление отражено и в берестяных грамотах №№ 19, 37, 31, 30, 22, 14, 98, 97, 134, 135, 125. Ср., например, ст/кчу, куде, старому, судню, счхн, есть ч миш (в начале строки) в грамоте № 19.

Грамота № 20 отражает переходный этап, когда единое обозначение у еще не установилось. Здесь в начале слова находим и ч, и су: ч давидовы (в начале строки), а на су тымки. В трех берестяных грамотах (№ 55 — XIII—XIV вв.; №№ 59, 62 — XIII в.) отмечено употребление лигатуры s (ук), что в пергамениной письменности этого времени является большой редкостью. Интересно написание токаръ s в грамоте № 44 — с с в первой части и лигатурой во второй. Это может свидетельствовать о том, что знак s не являлся для пишущего лигатурой; он не знал его значения, вследствие чего и счит возможным употребить в качестве второго элемента в двубуквенном сочетании. Однако не все начертания букв в берестяных грамотах сходны с начертаниями пергамениных памятников, известными до сих пор по данным палеографии. Палеография как наука сложилась на основании обобщения того материала, который дают памятники, написанные черпилами на перга-

¹ См. Коллективная монография, стр. 35.

² См. А. И. Соболевский, Славяно-русская палеография, СПб., 1908, 2-е изд., стр. 2.

мене. Понятно, что совершенно иной материал, иное орудие письма (предположительно костяная палочка) не могли не отразиться на характере начертания букв, а также на системе их употребления. Даже предварительное исследование палеографической стороны показывает, что берестяные грамоты представляют собой особый, самостоятельный тип письма, со своими специфическими особенностями. Отличия берестяных грамот в отношении их палеографии сравнительно с рукописями на пергамене можно в общем разбить на три группы.

К первой группе относятся особые случаи употребления того или иного знака в берестяных грамотах, иногда связанные также с отсутствием эволюции знака, известной по пергаменной письменности тех же эпох. Так, буква *ы* пишется преимущественно в берестяных грамотах с *ъ* в левой части, *и* десятиричным в правой и с соединением обеих частей поперечной перекладной (см. грамоты разных веков: №№ 109, 82, 72, 68, 65, 61, 57, 45, 33, 32, 30, 136, 135); меньше грамот, где *ы* написано без поперечной перекладной (№№ 71, 59, 42). В грамоте № 15 (XV в.) находим пока что единственный для берестяных грамот случай написания *ы* с *ъ* в левой части, без поперечной перекладной. В грамоте № 68 находим написание *ы*, в котором как будто можно усмотреть *ъ* в левой части, что, однако, весьма спорно, так как по верхней части букв второй строки проходит трещина на бересте, в двух же остальных случаях в этой грамоте буква *ы* написана с *ъ* в левой части. Известно, что *ы*, состоящее из *к* и *и* десятиричного, появляется в русской пергаменной письменности с XIV—XV вв., в связи с так называемым вторым южнославянским влиянием, и вытесняет постепенно *и*, хотя последнее в течение значительного времени еще продолжает употребляться наряду с *ы*. Почти полное отсутствие в берестяных грамотах, найденных до сих пор, буквы *ы* с *ъ* в левой части может служить одним из доказательств того, что в этом новом для науки типе письма второе южнославянское влияние отразилось очень слабо.

В берестяных грамотах не соблюдается известное правило о передаче на письме сочетания *je* в начале слога. В пергаменной письменности до XIV в., как правило, последовательно держится употребление *ю* в этом положении; случаи пропуска его редки и связаны чаще всего с экономией места. В дальнейшем, к XIV в., *ю* замещается в пергаменных памятниках посредством особого написания: или *е* широким, или так называемым *ш* якорным. Наоборот, в берестяных грамотах до XIV в. отсутствие знака йотации при передаче сочетания *je* вполне обычно. В грамоте № 109 во всех имеющихся четырех случаях находим *е*, а не *ю* в начале слога. В грамоте № 119 — один пример с *е* при отсутствии других примеров. Напомним, что и в грамоте № 9 (из раскопок 1951 г.; стратиграфически — XI в.) в двух имеющихся случаях находим различное написание: *деси*, *василъюви*, причем буква *ю* в последнем случае имеет очень небольшую мачту, что, по наблюдению Л. П. Жуковской, не отмечено в пергаменной письменности¹. Такие же отношения представлены и в грамоте № 105 (рубеж XI—XII вв.): ср. написание *еси*, *юси* с очень небольшой, мачтой у *ю* в последнем случае; *е* вместо *ю* находим также в грамотах №№ 82, 68, 67, 61 (XII—XIII вв.) и в одной грамоте XIV в. — № 50. Возможно, что преимущественное употребление буквы *е*, а не *ю* при передаче *je* в берестяных грамотах XI—XIII вв. является следствием того, что писцы не вполне владели принятой графикой. Но окончательный вывод может быть сделан лишь после детального изучения графической системы по данным большого количества грамот. Возможно, что мы и имеем здесь дело с отклонениями более закономерного характера. Важно, что во всех ранних грамотах (а их вообще пока найдено небольшое число) *ю* отсутствует, а в более поздних мы находим как обычное *е*, так и *ю* (причем чаще *ю*, чем *е*). Можно считать, таким образом, что и в берестяных грамотах, найденных до сих пор, не отразилась эволюция в передаче *je*, которая в пергаменных памятниках выразилась в появлении *е* широкого, *ш* якорного или каких-либо иных букв, отличных от *е* после согласных. Внешне сходная с якорным буква *е* в грамотах №№ 18, 14, 15 употребляется в них при передаче *е* после согласных.

В памятниках пергаменного письма с самого раннего времени установилось правило: обозначение *а* после мягких согласных посредством *я*, а сочетания *ja* — посредством *иа*. Это правило имеет место уже в Остромировом евангелии. Берестяные грамоты характеризуются отсутствием такого разграничения: *’а* и *ja* одинаково передаются посредством *а* с небольшими вариациями в его написании. Имеется лишь несколько случаев с *иа*: *итаз* — № 37 (грамота не поддается разделению на слова; возможно, *тазъ* = *я*); *иколь* — № 12; *Шякова* — № 30; *а кунъ тазъ дала* — № 125). В середине слов после гласных *и* встретилось лишь в двух случаях: *на заце*

¹ «Подобное написание буквы *ю* не отмечено в других памятниках: ни в указанной выше работе Я. П. Трусевича, ни в учебнике В. Н. Щепкина, ни в «Славянской кирилловской палеографии» Е. Ф. Барского (Л., 1928), ни в «Русской палеографии» Н. А. Шляпкина» (Коллективная монография, стр. 54).

— № 92; *квзлзъ* — № 109 (в последнем случае находим даже *д*, а не *ц*, и не после *й*, но после мягкого согласного *з*).

Вторая группа палеографических отличий берестяных грамот от пергаменных рукописей — это отличия в манере начертания самих букв. В силу специфики письма на бересте начертания всех букв являются несколько измененными, но далеко не все эти отличия можно считать существенными с палеографической точки зрения. Однако начертания некоторых из букв представляют интерес.

В ранее опубликованных берестяных грамотах было отмечено начертание буквы *д*, неизвестное в пергаменных памятниках: сплюснутый с боков овал, не всегда замыкающийся в своей нижней части. Такое *д* имеют и рассматриваемые нами грамоты XIII — начала XV в.: №№ 70, 58, 50, 98, 94, 92, 134, 136 и грамота XII в. № 82; несколько сходное с ним *д* имеется в грамоте № 42.

Во многих берестяных грамотах мы находим совершенно новый, неизвестный по пергаменным памятникам тип буквы *д*: большой треугольник, к основанию которого снизу приписаны два маленьких треугольника. Л. П. Жуковская отметила такое *д* в №№ 78, 69, 43, 25, 8, 2, 1 (XIII—XV вв.). Характерно оно и для грамот дальнейших публикаций разного времени, начиная от самых ранних — XI в. — до грамот XV в., а из числа исследуемых нами — для №№ 47, 50, 55, 58, 61, 65, 75, 98, 119 и др. В грамоте № 50 такое *д* встречается четырнадцать раз, в № 55 — четыре раза, в № 58 несколько начертаний, одно — с небольшими треугольниками; в двух случаях треугольники не окончены, в остальных находим *д* просто со штрихами; в №№ 61, 68, 59, 82 находим *д* и с треугольниками, и со штрихами. В некоторых грамотах нижние треугольники явились, повидимому, результатом продолжения сторон большого треугольника и пересечения их с боковыми штрихами. Кое-где нижние треугольники не дописаны, что объясняется, вероятно, трудностью самого процесса письма на бересте (процарапывание). В некоторых грамотах (№№ 119, 94) нижние треугольники выписывались, как видно, отдельно; стороны их не являются продолжением сторон большого треугольника. Л. П. Жуковская и др. предполагают, что такой тип буквы *д* является отголоском глаголической письменности¹.

Третья группа палеографических особенностей представлена некоторыми общими принципами письма, такими, как оформление строки и сигнальной линии, угол наклона букв, пропорциональность частей букв, характер их сочленения. В этом отношении берестяные грамоты резко отличаются от пергаменной письменности, но эти отличия не представляют собой собственно палеографических примет, т. е. не закреплены как норма, не общеобязательны, не постоянны (насколько об этом можно судить по имеющимся опубликованным грамотам).

Береста не разгиновывалась предварительно, поэтому линии строк не выдерживались, строки идут вкривь и вкось, в связи с чем в берестяных грамотах часто отсутствует очень важная палеографическая особенность: написание букв или полностью, или не полностью в строке. Например, в грамоте № 119 полностью в строке написаны не только буквы *к*, *ц* (палеографическая примета начала XI в.), но и *ч*, а также *д*, что для пергаменных памятников совершенно не характерно. В грамоте № 105 полностью в строке написаны буквы *к*, *ч*; даже предлог *ѣ* с вынесенным наверх *т* полностью помещается в строке. В некоторых грамотах (№№ 134, 98 и др.) заметна тенденция писать в строке все буквы, в том числе *д*, *к*, *р*, *ч*, *ѣ*. Вниз за линию строки в грамоте № 134 выходит только хвост букв *з* и *р*. Буква *к* в пергаменной письменности имеет высокую, выше верхней линии строки мачту уже в XI в. В берестяных же грамотах №№ 73, 134, 14, 136, 125, 97, 98 находим *к* с мачтой, полностью или почти полностью помещенной в строке. Все без исключения берестяные грамоты отличаются нечетким сочленением частей букв, что зависит от материала и орудия письма и становится уже своеобразной палеографической приметой.

*

Как видим, ряд палеографических особенностей берестяных грамот нуждается в детальном изучении, для того чтобы исследуемый материал стал ценной составной частью русской палеографии.

Берестяные грамоты представляют также большую ценность при изучении исторической фонетики русского языка. Живой, бескусственный характер отраженной в них речи, свободной от языковых штампов, значительно облегчает анализ материала с целью выявления черт произношения. В этом преимущество рассматриваемых грамот перед многими памятниками, написанными на пергамене. Однако существенны и трудности, возникающие при изучении этого нового типа письменности, поскольку датировка данных памятников остается в ряде случаев приблизительной, общие принципы графической системы еще не изучены, языковой материал, представленный каждой отдельной грамотой, невелик по объему. Кроме того, письмо многих грамот является фактически малограмотным; в подобных грамотах написания нередко не соответствуют ни нормам произношения, ни нормам графики. Расчленив простые

¹ См. Коллективная монография, стр. 74.

описки и случаи более или менее регулярных отклонений от принятых норм графики в таком письме часто не представляется возможным.

При рассмотрении отдельных фонетических явлений представляется целесообразным особо выделить грамоту № 109, во многих отношениях весьма характерную, в которой представлены и преимущества берестяных грамот, и серьезные трудности их лингвистического изучения. Стратиграфически, по мнению А. В. Арциховского, это самая ранняя грамота из числа новгородских находок: «Грамота № 109 обнаружена в двадцать первом строительном ярусе и, следовательно, попала в землю не позже середины XI века. Она на три яруса старше найденной в 1951 году грамоты Гостыты...»¹. Первоначальное ознакомление с грамотой указывает, казалось бы, на ряд существенных несоответствий нормам письма XI в., которые, будучи сосредоточены в небольшом по объему тексте, возбуждают даже сомнение в том, можно ли относить данную грамоту к XI в. и тем самым соглашаться с ее предлагаемой датировкой².

Прежде чем перейти к анализу фактов, возбуждающих сомнение в датировке грамоты, отметим несколько моментов, связанных с ее прочтением А. В. Арциховским и с пониманием им некоторых форм. Тщательное изучение подлинника грамоты № 109 привело нас к предположению о том, что в слове *пльске* после *л* следует читать *ъ*, а не *к*, как читает А. В. Арциховский. В грамоте однородны все начертания буквы *ъ*, — как употребленной самостоятельно, так и в качестве составной части буквы *ш*. Все начертания имеют слева у поперечной перекладки ограничительный штрих, наклоненный к мачте, иногда даже выходящий вверх, что неизбежно при письме процарапыванием; поперечная перекладка буквы *ъ* во всех случаях заходит за мачту вправо, однако последняя не возвышается по отношению к поперечной перекладке, а лишь касается ее своей верхней точкой. Такое же написание *ъ* имеем и в слове *пльске*. Сходство с буквой *к*, созданное тем, что поперечная перекладка заходит за мачту вправо, рассеивается, когда мы видим в оригинале отсутствие возвышения мачты над перекладкой и имеем возможность установить тождество начертания *ъ* во всех случаях.

Кроме того, следует иметь в виду, что грамота № 109 последовательно имеет *є* на месте этимологического *е* во всех встретившихся словах: *к миколѣ*, *пльске*, *тѣхъ* (возможно, и *конѣ*; см. ниже) при отсутствии обратной мены, т. е. употребления *к* вместо *є* или *к*. Случай подобного употребления в слове *пльске* при его прочтении с *к* (*плъске*) был бы, таким образом, в грамоте единственным в своем роде.

Важное значение для последующего анализа грамоты имеет толкование слова *конѣ*. Поскольку в тексте нет других примеров замены *к* на *є*, а на месте этимологического *ѣ* везде находим *є*, — допустимо считать *конѣ* формой вин. падежа мн. числа с *є* вместо *к*, а не вин. падежа ед. числа с *є* вместо *к*. Та и другая трактовка формы одинаково проблематична, но вторая лучше согласуется с теми соотношениями в употреблении букв *к* и *є*, которые находим в данной грамоте. Однако даже если настаивать на том, что форма *конѣ* — вин. падеж ед. числа, то также можно видеть в появлении *є* факт морфологического происхождения (влияние звательной формы), на что указывал и свое время еще А. Н. Соболевский³, а не замену *к* на *є*, связанную с фонетическими процессами.

Требует особых замечаний и написание союза *ати*. По памятникам этот союз известен в виде *аще*, *аше* (старославянская форма) и *ачи* (русская форма); известен также союз *атъ*, однако союза, имеющего написание типа *атки* или *атке*, по памятникам не отмечено. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что в грамоте № 109 мы имеем дело не с воображаемым союзом *атки*, по отношению к которому можно было бы ставить вопрос о пропуске *к* или *ъ*, но с известным союзом *ачи*, а написание *ти* — лишь способ (правда, несколько необычный) передачи звуком *ч*. Приводим текст грамоты полностью с предлагаемой поправкой в передаче слова *пльске*:

грамота *атъ* жи¹номира *къ* миколѣ *коупилъ* *єси*. *рекоу* | *плъске* а ныне *ма* | въ томъ
ала *къ*закъ | а ныне *са* дру²жина по *ма* *персучила* а ныне *ка* *песъ* | аи *къ* томоу.
моужевн. грамотоу: *єли* | *оу* *каго* *река* а *є* *ти* *хечоу*: *кѣ* *коупи* | *въ* и *къ* *пльскѣ* *моужѣ*
въсѣднѣ *та* на *с* | *веды* а *ты* *ати* *єси* не *къ* *зала* *коупи* | *тѣхъ* а не *є* *ма* | ни *ничъ* | *тоже* *оу*
него.

В области употребления редуцированных *ъ* и *ь* внимание исследователя прежде всего привлекает отсутствие в грамоте буквы *ь*. Во всех соответствующих случаях вместо *ь* находим *ъ*: *къ* *пльскѣ*, *моужѣ*, *ничъ* | *тоже*, в томъ, *плъске*. Подчеркнем, однако, что

¹ А. В. Арциховский, Раскопки 1954 года в Новгороде, стр. 62.

² Учитывая противоречия языковых данных, археологи предприняли дополнительную проверку стратиграфической датировки грамоты, что подтвердило прежний вывод.

³ См. А. [Н.] Соболевский, Исследования в области русской грамматики, Варшава, 1881, стр. 40 и сл.

рядом с постоянной заменой **ь** на **ѣ** в изучаемой грамоте представлено последовательное сохранение редуцированных в слабой позиции (примеров на сильные редуцированные в грамоте нет). Регулярное употребление буквы, указывающей на редуцированный гласный (в нашей грамоте всегда **ѣ**), находим в исходе предлогов и знаменательных слов, в приставках и даже в первом предударном слоге в корнях таких слов, как **кѣнажѣ**, **кѣнажѣни**, в которых употребление **ѣ** является редкостью уже в XI в. (ср. в надписи на Тмутароканском камне 1068 г.: **кѣнажѣ** без **ѣ**). Тот факт, что слабые редуцированные переданы в нашей грамоте только при помощи **ѣ**, даже и в тех случаях, когда следует ожидать употребления буквы **ь**, сам по себе не является чем-то исключительным, так как замены **ь** на **ѣ**, встретившиеся в нашей грамоте, известны и древнерусских памятниках XI в. именно в аналогичных случаях. Лишь благодаря небольшому объему грамоты встретившиеся пять случаев привлекают к себе особое внимание. Напомним, что **мѣ** вместо **мь** в отдельных случаях встречаем в форме твор. **надежа** ед. числа в Изборнике 1073 г., в Новгородских Минях 1095—1097 гг., хотя фонетическое отвердение **м** могло происходить лишь после наделения редуцированных и массовое опущение **ь** и замена его на **ѣ** имеет место только начиная с XIII—XIV вв.

В употреблении **ѣ** после шипящих также едва ли следует видеть указание на живое произношение. Как показатель отвердения шипящих **ѣ** появляется после шипящих лишь в XIV—XV вв. Употребление **ѣ** не может явиться в наших грамотах и показателем падения редуцированных, поскольку обозначение слабых редуцированных является в нашей грамоте таким последовательным. Неупорядоченной замены **ѣ** на **ь**, и наоборот, в грамоте также нет. При рассмотрении случаев замены **ь** на **ѣ** после шипящих следует опять-таки помнить, что, например, и в Остромировом евангелии — датированном памятнике XI в., еще не отражающем падения редуцированных, имеются примеры графической мены **ь** — **ѣ**, в том числе после шипящих: **кѣнажѣ**, **кѣнажѣни**, **кѣнажѣ** и под., аналогичные встретившимся в грамоте № 109 написаниям: **кѣнажѣ**, **мѣжѣ**, **ничѣжѣ**.

Известны факты подобного рода и в старославянском языке, приводимые И. И. Еленским в недавно защищенной кандидатской диссертации. Он пишет, что в некоторых памятниках старославянского письма отражается процесс лабиализации **ь** после согласных, видимо, находившийся в различных стадиях. Так, в Саввиной книге лабиализация распространена широко и после многих согласных. В Маринском евангелии после **ч**, **ж**, **ш**, **жѣ**, **ц** решительно господствует **ѣ**, а не **ь**. Известны аналогичные примеры в Супрасльской рукописи. Изборник Святослава 1073 г. в котором отмечено около ста случаев после шипящих, по мнению И. И. Еленского, «сохраняет картину старославянского говора, знавшего лабиализацию, вероятно, на одной из начальных ступеней...»¹. Это колебание в графике в Изборнике 1073 г. автор приписывает последнему южнославянскому (нерусскому) переписчику памятника.

Бесспорно, что объяснение, возможное (хотя и здесь не единственное) для памятников канонического содержания, заведомо переписанных со старославянского языка не может удовлетворить нас, когда мы анализируем памятник живого русского языка. Однако нельзя не отметить, что в орфографии русских памятников, притом и древнейших, прослеживаются две тенденции, одна из которых связана с передачей мягкости шипящих на письме, а другая — с отказом от такой передачи. Количественно по памятникам как будто преобладает первая тенденция; особенно это относится к написаниям **жѣ**, **чѣ**, **шѣ** и **цѣ** и, в меньшей степени, к сочетаниям **жѣ**, **чѣ**, **шѣ** и **цѣ** (или с **ѣ**), действительно преобладающим над написаниями с последующим **ь** или **ѣ**. Однако достаточно широко применялся и другой прием — без обозначения мягкости, выражавшийся в употреблении неотирированных букв после шипящих. В Остромировом евангелии известны оба типа написаний, в Новгородских Минях второй даже преобладает.

Написание **хѣчѣ**, представленное в берестяной грамоте № 109 рядом с примерами, где имеем замену **ь** на **ѣ** после шипящих, свидетельствует о том, что перед нами такой вариант письменности, когда **ѣ** не обозначает мягкости шипящих. Имеются немногочисленные примеры, отражающие такую систему письма и в других ранних берестяных грамотах: **гѣрѣжѣчѣ** — № 119 (XI в.); ср. также отмеченное Р. Н. Аванесовым **мѣжѣ** — № 78² (XII или XIII в.), при преимущественном написании **ь** после шипящих и **ц**.

В грамоте № 109 не обозначена также мягкость **н**: **кѣнажѣ**. Если здесь не опечатка (такие случаи, как употребление **и** вместо **ь** после мягких согласных, наблюдаются иногда и в современных малограмотных написаниях), а также не свидетельство о нерусском происхождении писца (так объяснил А. А. Шахматов подобные случаи, наблю-

¹ И. И. Еленский, Редуцированные гласные в Святославовом Изборнике 1073 года. Канд. дисс., М., 1955, стр. 59.

² См. Коллективная монография, статья Р. Н. Аванесова, стр. 97

дающиеся в некоторых двинских грамотах¹), то можно считать, что в грамоте № 109 тенденция не обозначать мягкость распространяется не только на шипящие. Примеры типа *взала, всакъ, княза, князоу* имеются также в Остромировом евангелии и пока что не объяснены². Таким образом, данные об употреблении редуцированных гласных в грамоте № 109 не дают повода говорить о смещении *ъ* — *ь* как отражении их падения, исчезновения из произношения. Имеющиеся в грамоте отступления известны и в других памятниках XI в. Скорее следует считать, что в грамоте отразилась определенная тенденция не обозначать мягкость шипящих. Употребление редуцированных в других, более поздних, берестяных грамотах носит совсем иной характер. Отклонения от простейших графических норм в некоторых из этих грамот столь велики и беспорядочны, что легко объясняются крайней безграмотностью писцов. Такова, например, грамота № 82 (XII в.), в которой имеется и написание редуцированных вместо гласных полного образования, и замена одного редуцированного другим. Текст грамоты: *Ѣ твѣримира ко фѣмъ князюся кратъ прихажѣ в дѣро: оѣъ ти приѣдѣ върѣхъ да ведѣи рѣ... ѣъ вѣда шѣрѣи и тѣе—а от ѣ въѣсѣи дѣскѣи. Не вызывает сомнения, что эта грамота написана в период после падения редуцированных, т. е. во всяком случае не раньше конца XII в. Такова и стратиграфическая датировка. Палеографические приметы в таких случаях не играют решающей роли, даже если вся совокупность их свидетельствует о более раннем времени³, ибо известно, что палеографические особенности нередко являются более консервативными.*

Разнообразие написаний, отражающих падение редуцированных, дают и другие более поздние грамоты, как, впрочем, и памятники пергаменной письменности соответствующих периодов. Примеров этимологически правильного написания *ъ, ь* в сильном положении почти нет. Пример *хрѣстѣанска жѣна* в грамоте № 70 (стратиграфически — XIII в.) не показателен, поскольку это собственное имя иноязычного происхождения, да и *ъ* здесь является результатом контаминации со словом *крѣсть*. В следующем за *ъ* слогом мы находим *ѣ* на месте старого слабого редуцированного *и*.

Грамоты XII, XIII и следующих веков (по стратиграфической датировке) отражают тот этап в истории русской письменности, когда редуцированные уже исчезли, а новые отношения еще не нашли устойчивого отражения на письме. В этот период возможны и такие написания, как *о* вместо *о* *късѣмъ*, *пѣлѣтрѣицѣдѣсѣто* вместо *пѣлѣтрѣицѣдѣсѣтъ* — № 61 (*дѣсѣтъ* представляет собой редуцированную форму от *дѣсѣтъ* в составе сложного числительного), *дѣсѣкѣ* вместо *дѣсѣкъ* — № 68, *торѣтъвати* вместо *тѣрѣкѣати* — № 55, *дѣмѣанѣко* вместо *дѣмѣанѣко* — № 72, где знаки *ъ* — *ь* употребляются для обозначения этимологических гласных полного образования и наоборот. Такие написания дольше держатся (в отличие от пергаменной письменности) в берестяных грамотах. Ср. *вѣтъмѣка* — № 97 (стратиграфически — XV в.).

Грамоты XIII, XIV и XV вв. дают большое количество случаев написания *о* на месте слабого конечного *ъ*, который фонетически должен был исчезнуть: *дѣсѣкѣ*, *остѣвиѣ*, *сѣно*, — № 68; *поклоѣ* — №№ 59, 65, 67, 98; *приказѣ* — № 134; *сѣно* — № 72; *ко дѣро* — № 82; *зѣтѣстоѣ*, *пѣдѣко*, *о* *късѣмѣ*, *пѣлѣтрѣицѣдѣсѣто* — № 61; *ѣзо* — № 59; *се сѣменѣмѣ* — № 45; *сѣ велѣсѣмѣ*, *за сѣксандрѣмѣ*, а также *уѣлѣи* вместо *уѣлѣи* — № 50. Употребление *о* вместо *ъ* слабого, а также *ѣ* вместо *ь* (*зѣксѣ* — № 19; *ка тѣ* — виш. падеж ед. числа — № 136; *сѣлѣ* — № 32; ср. *сѣлѣ* в этой же грамоте), широко известное в русских памятниках различных земель после падения редуцированных, свидетельствует о ломке старых графических норм и об отсутствии или о недостаточной устойчивости новых. В берестяных грамотах — письмах простых людей — число таких ошибок велико.

Чертой, отмечаемой только в погородских памятниках, является замена конечного *ъ* на *ѣ* в определенных грамматических категориях, а именно — в им. падеже существительных мужского рода старого склонения с основой на *-о* и в причастии муж. рода ед. числа на *а*. Эта черта имеет место и в берестяных грамотах, начиная от самых ранних вплоть до XV — XVI вв., что уже отмечалось в прежних публикациях. В изучаемых грамотах находим, с одной стороны, такие примеры, как *позвалѣ тѣе сѣлѣ а* — № 14; *хѣдѣлѣ ѣспѣдѣицѣ* — № 22; *кѣуѣнѣлѣ ѣси рѣску, ѣи вѣзѣлѣ кѣуѣнѣ* — № 109 и ряд примеров правильного употребления *ъ* в им. падеже ед. числа муж. рода. Но, с другой стороны, имеются и примеры: *Ѣ сѣмѣка кѣ кѣуѣлѣтѣкѣ ѣо ѣо то ѣси кѣзѣлѣ ѣсѣдѣкѣ вѣкѣ [ричѣ тѣхѣдѣлѣ колѣи то ѣси] прихѣдѣи в рѣсѣкѣ... кѣзѣлѣ сѣуѣиѣ лѣзѣвѣкѣ перѣсѣлѣкѣ* — № 105⁴; *вѣдѣлѣ ѣсѣмѣ тѣрѣтъкѣиѣсѣ* — № 119; *сѣксандрѣ далѣ, вѣлѣсѣ* — № 50; *како ѣи тѣи кѣнѣлѣсѣ како ѣи что далѣ ѣси рѣкѣ... — № 30; сѣмѣ Ѣи рѣзѣнѣкѣлѣ да пѣмѣдѣ, а хѣлѣкѣ зѣдѣксѣ* — № 19; *пѣлѣ* — № 20; *поклоѣ Ѣсѣмѣиѣка фѣиѣи цѣ оставѣиѣ... — № 11; кѣуѣиѣлѣ* — № 32.

¹ См. А. А. Шахматов, Исследование о Двинских грамотах XV в., СПб., 1903, стр. 96.

² Ср. М. Колосов, Очерк истории звуков и форм русского языка, Варшава, 1882, стр. 65.

³ Ср. А. В. Ардиховский, Новгородские грамоты на бересте, стр. 81.

⁴ В слове *перѣсѣлѣкѣ* после *ѣ* и в слове *рѣсѣкѣ* читаем *кѣ*, а не *ъ*, исходя из большего сходства в написаниях этих букв с *кѣ*, имеющимися в грамоте, чем с *ъ*.

Данное явление давно известно по новгородским памятникам. Еще в трудах Соболевского, Потебни, Ляпунова, Ягича, Шахматова при объяснении этого явления наметились как фонетическая, так и морфологическая точки зрения.

Не вдаваясь здесь в рассмотрение истории разработки указанного вопроса, отметим, что круг примеров с *е* вместо *ѣ* в окончаниях не ограничивается причастиями на *а*, по отношению к которым В. И. Борковский выдвинул гипотезу о появлении здесь гласного переднего ряда под влиянием предшествующего среднего *і*, действительно встречающегося в новгородских говорах¹. Если даже принять, что появление *е* связано с влиянием *і* среднего, то трудно предположить непосредственный фонетический переход *ѣ* в *е*. Если же *е* появилось здесь как вторичное (*ѣ* > *ѡ* > *е*), то для доказательства предположения необходимо было бы иметь примеры, отражающие переходную стадию с *ѡ*. Однако единственный пример виден в грамоте № 23 является, вероятнее всего, результатом графической мены *ѣ* на *ѡ* или *е* на *ѡ*², на что указывают имеющиеся в той же грамоте примеры с *о*лѡсѣи (= с олексей), *исподѣи* (= господѣи, зват. форма), *нѡ много* (= не много), *лѡнтѡлѡксѡмѡ*, (= с лѡѣ). Грамота знает и другие замены для редуцированных: *пѡскѡнѡ* (= пѡскѡнѣ), *былѡ ѡсѡи* (= былѣ), *раздѡилѡ* (= раздѡилѣ), с *гаѡанѡмѡ* (= с гаѡанѡмѣ или гаѡанѡей).

В исследуемых нами грамотах нет ни одного примера с *лѡ* в причастии, тогда как *лѡ* — обычное явление, имеющее место даже в грамотах XI — XII вв. (№№ 119 и 105). Непонятным остается, при предположении *і* среднего, и отсутствие *е* после *а* в других категориях, т. е. не в причастиях, хотя, действительно, соответствующих примеров пока имеем мало. Ср. *пѡскѡрѣтѣлѡ* — № 45, *пѡскѡртѣлѡ* — № 61, *сѡскѡлѡ* — № 54.

Между тем диалектные данные свидетельствуют, как это отмечает и В. И. Борковский, что распространение среднего *і* не ограничивается причастиями на *а*. С другой стороны, грамоты новых публикаций представляют, как указывают примеры, *е* вместо *ѣ* не только после *а* и не только в указанной грамматической категории, но также широко в им. падеже ед. числа слов мужского рода после различных согласных: *к*, *р*, *с*, *к*, *н*. Ср. в грамотах ранних публикаций: № 7 *сѡрокѣ* (в толковании Жуковской³), № 25 *нѡмѡщѣи сѡ сѡе пѡводѣ сѡжѡилѣ*.

Как нам кажется, при рассмотрении данного вопроса (разрешение которого, видимо, должно явиться предметом специального исследования) все же следует иметь в виду, что окончание *е* чаще всего встречается параллельно в причастии на *лѡ* и в им. падеже существительных мужского рода на *ѣ*: *олександрѣ*, *далѣ*, *вѡлѡсѣ* — № 50; *ѡшѡкѣ*, *сѡлѣ*, *купѡлѣ* — № 32; *лѡзѡвѡкѣ*, *вѡлѡлѣ* — № 105. Ср. также в грамоте № 25: *далѣ нѡмѡщѣи сѡ сѡе пѡводѣ сѡжѡилѣ*. Самый ранний известный по пергаменной письменности пример *вѡдалѣ* встречается рядом с существительным *Вѡрѡлѡмѣ* (вкладная грамота Варлаама Хутынского монастырю 1192 г.). Думается, что это не случайное совпадение примеров.

Как видно, берестяные грамоты не дают по вопросу об употреблении *е* вместо *ѣ* ранее не известных науке фактов. Ценность нового материала — в том, что он подтверждает мнение о принадлежности этого явления живому новгородскому говору, а также в том, что этот материал дает примеры более древние, чем примеры из памятников пергаменной письменности.

В берестяных грамотах последних находок имеются некоторые новые данные относительно употребления *ѣ*. Напомним характеристику этого употребления в работе о ранее найденных грамотах. «Данные о *ѣ* новгородских берестяных грамот, как и других новгородских памятников, свидетельствуют о различении *ѣ* как особой фонемы и об изменении *ѣ* в *і* перед мягкими согласными в более поздний период (по данным берестяных грамот в XV в.). При этом нет заметных указаний на различия в судьбе этимологического *ѣ* в ударенном и безударных слогах. Подобные различия, характерные в той или иной степени для современных северновеликорусских говоров, в прошлом могли отсутствовать»⁴.

В новом материале, при преобладающем количестве примеров, свидетельствующих о сохранении *ѣ* как особой фонемы, в самых ранних грамотах находим случаи употребления *и* вместо *ѣ*. Так, в грамоте № 105 правильно употреблен *ѣ* в четырех словах: в заударных слогах во флексии существительных *кѣ* *кѡлѣтѣкѣ*, *нѣсѣдѣ*, в слогах *ѣкѣрѣчѣ*, *дѣлѣ*. В случае *пѡрѣсѣлѣлѣкѣ* укажем *ѣ* на месте и в заударном слоге, наконец, и вместо *ѣ* в слове *тихѣ*. Взаимное смещение букв и — *ѣ* в двух приведенных случаях может объясняться или морфологически, или свидетельствовать о том, что *ѣ* (узкий, напряженный звук) был близок по звучанию к *и*.

Отметим далее примеры замены *ѣ* > *и* в грамоте № 59 (стратиграфически — рубеж XIII — XIV вв.): *кѣ теѣи*, *кѣ сѡѣи*, а также *нѣ надѡи* — № 44, и *кѣри* — № 32 (XIV в.), из которых два первых примера в большей степени можно истолковать

¹ См. В. И. Борковский. Новые находки берестяных грамот, стр. 130—131.

² См. Коллективная монография, статья Р. И. Авапесова, стр. 85—86.

³ См. Коллективная монография, стр. 49.

⁴ Коллективная монография, статья Р. И. Авапесова, стр. 87—88.

фонетически. Примеры, встретившиеся в той части изучаемых грамот, которая относится к XIV в. (в основном, в формах дательного — предложного надежей существительного), в большей степени подлежат морфологическому объяснению.

Сравнительно велико количество примеров с написаниями *є* на месте этимологического *ѣ* в изучаемых грамотах. Однако, как нам кажется, о звуковой близости *ѣ* и *є* в соответствующих говорах на основании случаев подобной мены можно говорить лишь при наличии взаимной мены *ѣ* и *є* и употребления той и другой буквы в одних и тех же морфемах, как это, например, имеет место в некоторых грамотах XIII в.: *келе*, *ко мнѣ*, *ѣ Фемниѣ жене* — № 55. Осторожнее следует отнестись к показаниям грамоты № 92; здесь лишь в одном слове *ѣ* употреблен этимологически верно: *на спѣхѣхѣ*; в остальных восьми случаях вместо *ѣ* находим *є* (семь раз в именах существительных собственных в пред. надеже в заударном слоге и в слове *келе*). В грамоте № 109 четыре раза (если *кене* — вин. надеж мн. числа) вместо *ѣ* находим *є*: *къ мнѣхѣде*, *пѣхѣске*, *кене*, *тѣхѣ* при полном отсутствии употребления буквы *ѣ* в тексте. Примеры, подобные тем, которые приведены из грамот № 92 и 109, могут и не свидетельствовать о неразличении фонем *ѣ* и *є* в произношении. Как справедливо указывает Р. И. Аванесов, в грамоте № 78 (XIII в.) написание *є* вместо *ѣ* в *коже* только потому свидетельствует о произношении *ѣ* как *є*, что оно поддержано так называемым «обратным написанием» *ѣ* вместо *є*: *одиоу на десѣтѣ*¹.

Так как в грамотах №№ 92 и 109 нет примеров обратной замены *є* на *ѣ*, а в грамоте № 109 нет и слов с правильным употреблением *ѣ* на месте этимологического *ѣ*, односторонняя замена (т. е. употребление *є* во всех случаях, где должен быть *ѣ*) сама по себе еще не говорит о совпадении *ѣ* и *є*. По данным новгородских памятников, в наибольшей степени прослеживается наличие особой фонемы *ѣ*, наиболее определенно отличающейся от *є*. Отдельные случаи написаний *є* вместо *ѣ* (при отсутствии *ѣ* вместо *є*) могут быть объяснены описками, особой манерой передачи старославянского *ѣ* и т. д. Почти нет пергаменных памятников без подобного рода графических отступлений, которые, однако, не колеблют представлений ни о наличии *ѣ* как особой фонемы, ни о датировке памятников.

Написание *ѣ* на месте этимологического *є* вообще не характерно для берестяных грамот; факты этого рода единичны и ограничены особыми случаями. Таково употребление в заимствованном названии ткани в грамоте № 125 (XIV — XV вв.): *кѣни ми зѣдѣнцѣ доврѣ*. Слово *зѣдѣнцѣ*, означающее род ткани, весьма часто встречается в русских документах XV, XVI, XVIII вв. Среди примеров в картотеке древнерусского словаря АН СССР нет ни одного с *ѣ* после *з*, но только с *є*. Ср. также и написание *ѣгѣниѣ* (№ 62) с *ѣ* вместо *є*, опять-таки в заимствованном слове. Грамота № 109, представляя одностороннюю мему *ѣ* на *ѣ* и *ѣ* на *є*, менее всего даст оснований для суждения о живом произношении.

Материал берестяных грамот подтверждает данные о наличии в новгородском говоре мягкого цоканья — этимологические *ц* и *ч* передаются через *ц* с соответствующим гласным, указывающим на мягкость *ц* после него, например: *оциѣ рѣкиѣ* — № 94; *пѣсѣнѣкѣртѣнѣцѣ* — № 45; *сѣ докѣнѣцѣхѣ* — № 136. Этимологически правильное употребление *ч* находим лишь в нескольких грамотах XIV — XV вв.: *что* — №№ 30 (дважды), 61; *чѣдо* — № 125; *чѣлѣмѣ* — № 97; другие примеры с аффрикатами в этих грамотах отсутствуют.

Материал ранних грамот относительно *ц* — *ч* нуждается в специальном рассмотрении. В грамоте № 105 находим *ѣкѣриѣ* вместо ожидаемого *ѣкѣринѣ*. Одного примера недостаточно для того, чтобы говорить о наличии в говоре цоканья, т. е. произношения *ч* вместо *ц*, но вполне достаточно для утверждения о неразличении фонем *ц* и *ч*. Писец, употребивший на письме *ч* вместо *ц*, не мог быть киевлянином или переяславцем, как предполагает А. В. Арциховский². В грамоте № 119 наряду с сохранением *ч* находим *ц* вместо *ч*; примеров с аффрикатами всего два: *прѣчѣ*, *пѣрѣнѣвиѣцѣ*, причем в последнем примере отсутствует указание на мягкость *ц*.

Стратиграфически самые ранние грамоты — №№ 9 (из раскопок 1951 г.) и 109 указывают на различение *ц* и *ч*. В грамоте № 9 имеется один пример с этимологическим *ц* (*стыѣ*), один — с этимологическим *ч* (*ничѣтоѣ*). Скудость материала в данной грамоте не позволяет сделать решительный вывод. «Объясняется ли правильное употребление букв *ц* и *ч* грамотностью писца или различием в соответствующем говоре новгородского диалекта звуков *ч* и *ц* (последнее в особенности для XI — XII вв. вполне допустимо) — эти вопросы оставляем открытыми»³.

В грамоте № 109 имеется четыре примера с этимологическим *ч*; во всех четырех случаях правильно написано *ч*: *пѣрѣнѣвиѣцѣ*, *ничѣтоѣ*, *хѣчѣу*, *лѣчѣ*. Примеров на употребление *ц* нет. Как и для грамоты № 9, вопрос о причине правильного употребления

¹ См. Коллективная монография, стр. 90—91.

² А. В. Арциховский, Раскопки 1953 года в Новгороде, стр. 109.

³ Коллективная монография, статья Р. И. Аванесова, стр. 96.

ц и ч остается открытым: неясно, отражена ли в данном случае грамотность писца или особенность его говора. Отсутствие указаний на цоканье может служить дополнительным аргументом, подтверждающим, что грамота относится к XI в. Цоканье возникало в новгородских говорах не ранее X в.¹ и, разумеется, распространялось по отдельным говорам не сразу. Чем древнее тот или иной новгородский памятник, тем более допустимо, что он отражает говор, еще не знавший цоканья. Более возможно, что писец грамоты № 109 являлся представителем такого говора, который ко времени написания грамоты еще не был цокающим.

Берестяные грамоты дают материал также для характеристики морфологической стороны новгородских говоров XI—XV вв., в общем подтверждающий наши сведения по исторической морфологии русского языка; поэтому соответствующие данные не будут специально рассматриваться в нашей работе².

*

В настоящей статье мы не ставили перед собой задачу — исчерпать материал по палеографии и фонетике берестяных грамот находок 1952, 1953, 1954 гг., а остановились лишь на некоторых особенностях, представляющих, как нам кажется, наибольший интерес. Берестяные грамоты последних находок, как и ранее найденные, в целом не представляют резких отличий от ранее известных новгородских памятников и не обнаруживают каких-либо явлений, неизвестных науке. Отличия касаются главным образом лишь датировки отдельных явлений и дают иногда новые представления о распространении тех или иных приемов письма, тех или иных фактов языка.

Наибольшее количество вопросов вызывают показания самой ранней грамоты из числа найденных за последние годы, а именно — грамоты № 109. Как мы пытались показать выше, особенности указанной грамоты (постоянное употребление ж вместо к и ѣ вместо к) известны и другим памятникам XI в., по отношению к которым эти особенности никогда не рассматривались как указывающие на живое произношение. Лишь сосредоточение этих особенностей в небольшом по объему тексте грамоты как бы выделяет ее при первоначальном ознакомлении из числа других памятников XI в. С другой стороны, последовательное сохранение редуцированных в слабой позиции и отсутствие указаний на цоканье, как и некоторые палеографические особенности позволяют подтвердить датировку грамоты по стратиграфическим данным.

¹ См. В. Г. Орлова, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. Автореф. докт. дисс., М., 1955, стр. 31.

² Ср. использование данных по морфологии берестяных грамот в некоторых диссертациях: Т. А. Якубайтис, История окончания дательного единственного мужского рода -ови в восточнославянских языках. Канд. дисс., М., 1954; Г. А. Яковлева, Формы склонения существительных в новгородских письменных памятниках делового стиля XVI века. Автореф. канд. дисс., М., 1955.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА*Воробьиная ночь*

Выражение *воробьиная ночь* имеет, как известно, несколько значений: 1) самая короткая в году ночь, 2) летняя грозовая ночь с непрерывным блеском молний и раскатами грома¹. Во фразеологическом словаре М. И. Михельсона указано еще одно значение — «осеннее равноденствие (народн.)»², но больше нигде оно нам не встретилось и позднейшими словарями не повторяется. Это значение не тождественно с первым, поскольку ночь осеннего равноденствия (23 сентября) отнюдь не самая короткая.

Наиболее распространенным, употребительным и чаще всех встречающимся в литературе является из всех этих значений второе. См., например, у Тургенева: «...была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, *воробьиная* ночь» («Первая любовь»). То же у Чехова: «Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни...» («Скучная история»). То же и у С. Григорьева: «Тому, кто не видел хоть раз в жизни „воробьиной ночи“, трудно поверить, чтобы немые, но пронзительные яркие молнии полихали всю ночь непрерывно со всех сторон горизонта, заливая порхающим светом все небо» («Кругосветка»). См. также у К. Паустовского: «Ливень так же внезапно стих, как и начался. Только молнии мигали почти непрерывно. От этого все небо над головой горело мутным перебегающим огнем...».

— Знаете, как называются такие ночи с непрерывной молнией?

— Нет, — ответила Клава.

— Воробьиными («Рождение моря»).

Хотя описание *воробьиной* ночи у каждого из упомянутых авторов имеет свои детали и не во всем совпадает, но общее значение является тем же самым, что и в «Словаре современного русского литературного языка АН СССР». Достоинно внимания и то, что старые авторы (Тургенев, Чехов) приводят это выражение со ссылкой «называется в народе», расценивая его, очевидно, не как вполне литературное и общепринятое, а именно как народное, в то время как у современных авторов и в современных словарях (Д. Н. Ушакова, Академии наук, С. И. Ожегова) эта черта уже не указывается, т. е. выражение воспринимается как общелитературное.

Почему же грозовая, с молниями и зарницами ночь называется *воробьиной* и какое отношение она имеет к воробьям (или воробьи к ней)? Обычно дается объяснение такого порядка:

«„Воробьиная ночь“ — редкость. Почему „воробьиная“?...

— Не знаю. Быть может, воробьи принимают такую ночь за день?

— На день совсем не похоже. Быть может оттого, что вспышки быстро одна за другой — воробьи не успеют глаз сомкнуть... или трепетание света похоже на порханье воробья?

— Что-нибудь в этом роде...» (С. Григорьев, Кругосветка).

Не очень отличается от предыдущего и такое объяснение:

«Знаете, как называются такие ночи с непрерывной молнией?...

¹ См. «Словарь современного русского литературного языка», т. II, Изд-во АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 672. Эти же значения указаны в толковых словарях Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова. См. также «Словарь русского языка, сост. Вторым Отд-нием Имп. Акад. наук», т. I, СПб., 1895, ст. 510—511.

² М. И. М и х е л ь с о н, Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии, т. I, СПб., 1912, стр. 95.

... Воробьиными. Потому что от ярких вспышек воробьи просыпаются, начинают метаться в воздухе, а потом, когда молнии гаснут, разбиваются в темноте о деревья и стены» (К. Паустовский, Рождение моря).

Аналогичное объяснение дают и упомянутый выше составитель фразеологического словаря М. И. Михельсон: ночь «темная, бурная, с сильной грозой (пугающая воробьев в их гнездах)», и словарь Второго Отд-ния Акад. наук («ночь, выгоняющая воробьев из гнезд»)¹.

Однако все подобные объяснения являются, как нам кажется, позднейшим осмыслением весьма рационалистического, но не очень убедительного порядка: с равным успехом такая ночь могла быть названа и галочьей, и сорочьей, и грачиной, и голубиной, ибо всем другим птицам она так же страшна, как и воробьям.

В значении «грозовая ночь» в русском языке употребляется еще и другое выражение — *рябиновая ночь*. Оно приведено в словаре В. И. Даля² с таким пояснением: «душная, с зарницами, во время цвета рябины»³. Слова «во время цвета рябины» являются таким же рационалистическим осмыслением, как и «воробьиная — пугающая воробьев» (и, возможно, принадлежат самому Далю). Но почему же одна и та же ночь — летняя, душная, грозовая, с зарницами — получила название по столь разнородным признакам? Ведь никакой смысловой связи, даже самой отдаленной, между *воробьем* и *рябиной* установить нельзя. Смысловой связи здесь действительно нет; но между этими словами есть связь (или, лучше сказать, общность) звукового порядка, еще более заметная в другом варианте этого наименования — *рябинная ночь*. Ниже мы постараемся показать, что между этими двумя названиями (*воробьиная* и *рябинная*) имеется генетическая связь; заодно мы попытаемся ответить и на вопрос, какое из этих двух выражений первичное, а какое — вторичное.

В ряде русских летописей (Новгородской 4-й, Новгородской 5-й, Софийской 1-й, Воскресенской) под 6532 (1024) годом в рассказе о битве Ярослава и Мстислава под Лиственем читаем: «Бывши *нощи рябиной* бысть тма, и громъ шибаше и молнія и дождь... и бѣ гроза велика и сѣча силна...» (курсив наш. — А. Ф.). Итак, выражение *рябинная ночь* в значении «грозовая ночь» было, оказывается, в ходу уже в древнерусском языке. Однако ответить на вопрос, что здесь означает слово *рябинный*, очень трудно. И. И. Срезневский в своих «Материалах для словаря древнерусского языка» приводит это слово, иллюстрируя его вышеприведенной строкой из летописи, но ставит при нем вопросительный знак (т. е. отказывается разъяснить его значение).

В диссертации Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи» по этому поводу сказано следующее (даем полную выписку): «Это одиночно стоящее в древнерусской лексике слово находит свое подтверждение в белорусских и соседних с ними западнорусских (смоленских) говорах: а р а б и н о в а я ночь „грозовая ночь“ (А. К. Сержантовский, Грамматический очерк белорусского паречия дер. Чудица, Слуцкого уезда, Минской губернии, сб. ОРЯС, т. 89, СПб., 1912, стр. 48), р я б и н о в а я ночь „бурная ночь с громом, между Ильей и Успеньем, бывает один раз в году; главный шабаш ведьм“ (П. В. Шейн, Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края, сб. ОРЯС, т. 72, СПб., 1902, стр. 262), „ночь, в которую идет дождь, гремит гром и светит молния при большом ветре; р я б и н о в ы е ночи бывают между двух пречистых (15 августа — 8 сентября)“ (В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, 1914, стр. 807—808), „р я б и н о в а я ночь — бурная грозовая ночь (шгебск.)“ (Материалы «Диалектологического атласа русского языка»).

Видимо, с попятнем *р я б и н а я* ночь, — продолжает Ф. П. Филин, — в древнерусскую эпоху связывались культово-мистические представления дохристианского времени, пережиточно сохранившиеся и в говорах вплоть до наших дней. Поскольку это так, то автор варианта сказания о лиственской битве, помещенного в Соф. 1 и других близких к ней летописях, чтобы (или скорее оставляя) эту деталь, придавал описываемому событию мистический характер, необычайно усиливая впечатление, получаемое от картины боя (ночь, в которую происходит борьба двух потусторонних сил, молния, гром, блеск оружия, ярость битвы).

Трудно сказать, является ли слово *р я б и н о й* составной частью древнейшего сказания о лиственской битве или же оно представляет собой более позднюю вставку составителя общего для Соф. 1, Повг. 4 и других летописей источника. Вернее всего первое предположение, так как в Лавр. и др. сама фраза есть («и бывши нощи и бысть тма» и т. д.), отсутствует лишь слово, которое могло быть опущено, как односно языческое, автором редакции «Повести временных лет». Если это так, то остается предположить, что термин *р я б и н а я* ночь, и теперь существующий в белорусских

¹ «Словарь русского языка, сост. Вторым Отд-нием Имп. Акад. наук», т. I, ст. 511.

² См. В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV, М., 1955, стр. 124.

³ В какой местности бытует это выражение, Даль не указал.

п смоленских диалектах, попал в киевское койнэ с севера или северо-запада (из земли кривичей)»¹.

Оставляя в стороне гипотезу Ф. П. Филина о дохристианской культово-мистической семантике слова *рябинный* и о причинах, побудивших составителя Лаврентьевской летописи пропустить это слово, ибо все это гадательно и недоказуемо, не останавливаясь на поэтической картине, нарисованной им (ночь, потусторонние силы и т. п.), ибо она основана на собственной гипотезе автора, используем приводимый им фактический материал. Тут прежде всего следует обратить внимание на существование выражения *рябинная ночь* в ряде белорусских и смоленских диалектов; таким образом, это выражение является столь же живым, как и параллельное *воробынная ночь*. Затем следует поставить такой вопрос: а действительно ли *рябиновая* (*рябинная*) *ночь* и *воробынная ночь* являются самостоятельными, независимыми друг от друга выражениями и не имела ли здесь место подстановка одного слова вместо другого, так что из одного какого-то исходного получилось в конце концов два различных. Основанием для этого предположения служит не только звуковое подобие этих двух слов, но и некоторые иные соображения.

Обратив внимание на белорусские говоры и на наличие в них выражения *рябиновая ночь*, Ф. П. Филин оставил совершенно без внимания украинский язык. А между тем в нем мы встречаем любопытную деталь: русскому *воробынная ночь* в украинском языке соответствует *горобина ніч*. См., например, у Т. Г. Шевченко: «І в горобину ніч прийдуць для такої палочки, як наша» («Назар Стодоля»). Но украинское *горобиний* означает не только *воробынный*, но и *рябинный* (*рябиновый*), так как дерево *рябина* (*Sorbus Aucuparia*) называется по-украински *горобина* (и *оробина*). См. в словаре Гринченко: «горобина розкинула зелений намет», т. е. «рябина раскинула зеленый шатер». Таким образом, в украинском языке здесь действительно омонимы².

На основании всего вышесказанного позволяем себе высказать такую догадку. Из двух этих выражений мы считаем более старым, исходным *рябинная ночь*. Основанием для такого предположения служит и то, что это выражение употреблено в летописи, и то, что оно существует не только в русских, но и в иных восточнославянских говорах, в то время как выражение *воробынная ночь* существует только в русском языке.

Значение слова *рябинный* для данного выражения установить трудно. Однако в этимологическом словаре А. Г. Преображенского под словом *ряб* среди прочих значений встречаем и такое: «древ. [т. е. древнесеверогерманский] *jaŕpr* „темный, коричневый“... англ. [т. е. англосаксонский] *corp, eap* „темный“, дрвм. [т. е. древневерхне-немецкий] *erpf* „fuscus“ [т. е. „темный, зловещий, мрачный“], греч. *οἴφης* „темный“, *οἴφην* „тьма“, „темнота“³. На этом основании мы и предполагаем, что летописное *рябиная ночь* могло означать «темная», «мрачная», даже «зловещая» ночь. Но слово это (а, значит, и всевыражение) было уже архаическим и для самого летописца, а потому он и пояснил его параллельным «бысть тма», возможно, в порядке разъяснения для читателя. В позднейших же списках его просто опускали.

Связывались ли с этим словом и выражением культово-мистические представления дохристианского времени и стало ли оно однозным после принятия восточными славянами христианства, как полагает Ф. П. Филин, судить трудно. Но то, что оно по своей этимологии стало непонятным и темным, утратило живые смысловые связи с другими словами этого же гнезда и потеряло свою внутреннюю форму, представляется бесспорным: вопросительный знак в словаре Н. И. Срезневского является ярким тому доказательством.

Возможно, что данное выражение попало в киевское койнэ действительно с севера или северо-запада. На этой диалектной почве древнерусское *рябинный*, *рябиновый* было воспринято как производное от *рябина* и пришло в украинских говорах форму *горобина ніч*⁴. Но сочетание *горобина ніч*, как мы знаем, омонимично, двусмысленно и означает и *рябиновая*, и *воробынная*. Так как для позднейшего представления *рябинная ночь* звучала как абсолютная бессмыслица, то возобладало второе понимание — тоже не абсолютно ясное, но все же более приемлемое: *воробы-*

¹ Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи, «Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 80, 1949, стр. 258—259.

² Различие между ними только графическое: *воробынный* — *горобинный*, а *рябиновый* — *горобинный*.

³ А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, вып. 12, М., 1916, стр. 240.

⁴ Думается, что древнее и современное *рябиновая ночь* к дереву *рябина* никакого отношения не имело и не имеет и что связь между этими словами и понятиями возникла в результате забвения старого значения, т. е. непонятности его, утраты внутренней формы. Таким же позднейшим рационализмом является возможное объяснение словосочетания *рябиновая ночь* через слово *ряб* или *рябина* — «щербинка», «пятнышко» т. е. «ночь, в которую небо словно покрыто рябью». Все это придумано задним числом, как и «пугающая воробьев» для осмысления ставшего непонятным выражения.

иная ночь с обоснованием, нашедшим свое отражение у Михельсона, Григорьева, Пастушковского и др. Это понимание и закрепилось позднее вместе с соответствующим выражением в русском языке.

Таким образом, мы допускаем такую возможность проникновения указанного выражения в русский язык: северо-западные (белорусские и смоленские) говоры > киевское койне и украинские говоры > русские говоры и русский язык (с соответствующими на этом долгом пути смысловыми и фонетическими изменениями).

Можно, однако, допустить, что подобное фонетико-семантическое изменение рябиной ночи в *воробынью* могло произойти и иным путем — самостоятельно на русской почве, без посредствующего звена украинской речи. Изменения эти могли произойти в результате морфологического переразложения. Подобно тому как из слова *отворник* получилось в некоторых говорах *овторник* (через *во^отворник* > *е^отворник*) или в украинском языке *вівторок* (через *усі^второк* > *у^вівторок*), так из *во^рябиную* ночь могло получиться *с^оробиную* ночь (ср. белорусск. *арабино́вая*), а затем и *с^воробынью*, причем этот процесс был поддержан непонятностью связей между *рябиной* и *ночью* и большей смысловой приемлемостью *воробыной* ночи как «пугающей воробьев».

Таким образом, на обоих путях могло произойти превращение более древней *рябиной* ночи в *воробынью*. Не исключена также возможность совместного действия обоих факторов — и переосмысления на русской почве, и некоторого воздействия родственного украинского языка. При всех этих изменениях старое выражение *рябиная* ночь все же не исчезло; оно сохранилось в говорах, и его осмысливают как *рябиновая* через дерево *рябину*, стремясь хотя бы этим путем сберечь некоторую понятность.

А. М. Финкель

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. И. ЦУКЕРМАНА
«ПРЕПОДАВАНИЕ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЛИТОВЦАМ»¹

Статья И. И. Цукермана «Преподавание фонетики русского языка литовцам» представляет большой интерес, так как в ней наряду с описанием произношения русского языка излагаются некоторые вопросы фонетики литовского языка. Кроме того, статья ставит практические цели: она должна помочь литовцам лучше усвоить произношение русского литературного языка и облегчить работу преподавателям русского языка в школах Советской Литвы. Появление статьи такого рода надо только приветствовать.

Однако автор этой статьи некоторые сложные вопросы фонетики литовского языка слишком смело подвел под установленную им общую схему. Вследствие такого обобщения вопросы, которые для исследователей фонетики литовского языка представляют большую трудность и требуют еще тщательной работы и глубоких исследований (например, вопрос палатализации нескольких согласных и др.), И. И. Цукерман объясняет как самые простые.

Во-первых, он — без достаточных на то оснований — все согласные перед передними гласными и все мягкие согласные перед задними гласными называет «мягкими фонемами». Вопрос, куда отнести согласные перед передним рядом гласных: к мягким фонемам или к смягченным оттенкам твердых фонем — в языковедческой литературе о литовском языке еще не решен. Подробное рассмотрение этого вопроса потребовало бы много места, поэтому мне хочется только сказать, что такому смело-му утверждению И. И. Цукермана противоречат данные сделанных мною палатограмм: $\tilde{n}$ ² в слове *Melnikáitė* и n' , например, в слове *nīnūs* «мрачный», $\tilde{k}$ в слове *kítas* «другой» и k' в слове *kiūra* «становится дырявым», оба $\tilde{z}$ в слове *šeši* «шесть» и $\tilde{z}'$ в слове *šiaurė* «север» друг от друга явно отличаются. При этом смягченные (перед передним рядом гласных) являются менее мягкими, чем мягкие фонемы. Следовательно, вернее было бы смягченные согласные отнести к твердым фонемам и считать их смягченными оттенками твердых фонем, а не мягкими фонемами.

Для подтверждения этой разницы здесь даются некоторые палатограммы для твердых и мягких фонем и для смягченных оттенков твердых фонем (см. рис. 1—6).

Во-вторых, автор признает «сквозной» характер твердых и мягких фонем литовского языка. Однако, если мы относим согласные перед передним рядом гласных к смягченным оттенкам твердых фонем, тогда из «сквозной» системы мягких фонем исчезают t и d , которые перед задним рядом гласных, как известно, в литовском литературном языке перешли в мягкие аффрикаты c' и $dž'$.

Дальше: автору кажется очень простым вопрос палатализации нескольких согласных. И. И. Цукерман даже выводит правило: «...группа согласных, предшествующая гласному, всегда является однородной — либо твердой, либо мягкой, так как последующий твердый или мягкий согласный уособливает себе предыдущий и, таким образом, делает его соответственно твердым или мягким» (стр. 110—111). В другом месте он пишет: «...в литовском языке достаточно обозначить мягкость согласного, непосредственно стоящего перед гласным, так как предшествующий согласный всегда подобен последующему» (стр. 116). Такого общего правила, не говоря уже о диалектах, литовский литературный язык не знает.

Вопрос регрессивной палатализации в литовском языке является очень сложным и требует специального исследования. Рядом с такими группами согласных, на которые указывает автор в связи с палатализацией l , как, например: *kálvis* «кузнец», *valstybė* «государство», *šálti* «мерзнуть» (стр. 111) и др., где смягчаются все согласные в группе,

¹ ВЯ, 1955, № 5.

² Смягченные будем обозначать значком $\tilde{}$ над буквой, а мягкие значком $'$, например: $\tilde{n}$, n' .

SV

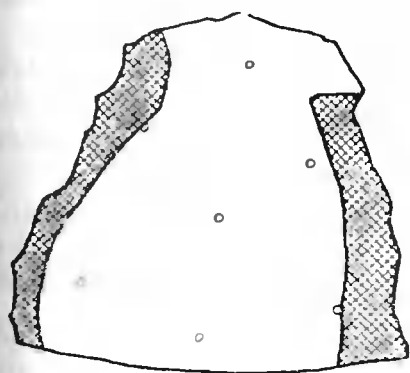
*š(šakā)*

Рис. 1

SV

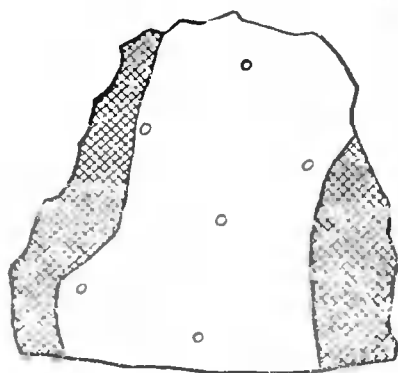
*š(šē)*

Рис. 2

SV

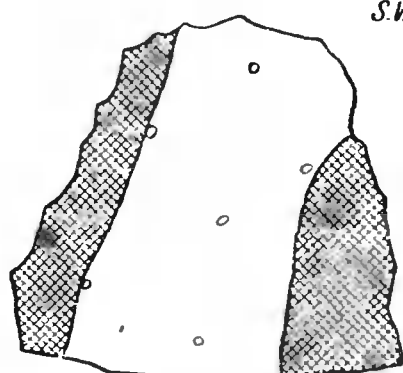
*š'(šū̃)*

Рис. 3

VV

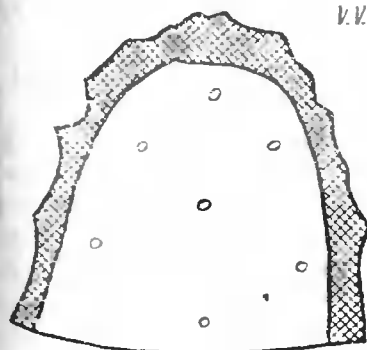
*n(nā)*

Рис. 4

VV

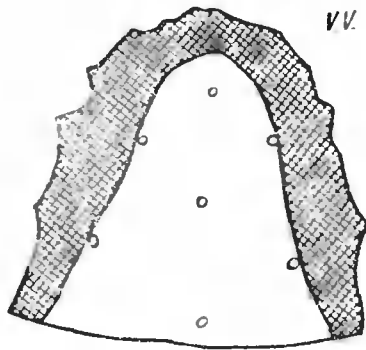
*ñ(nīřštī)*

Рис. 5

VV

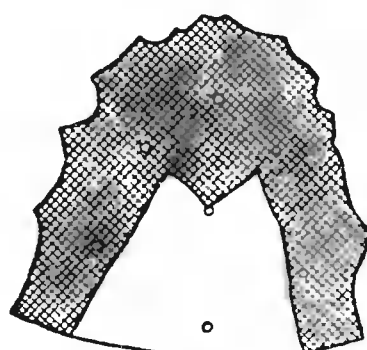
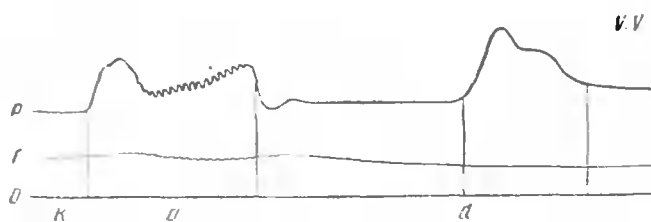
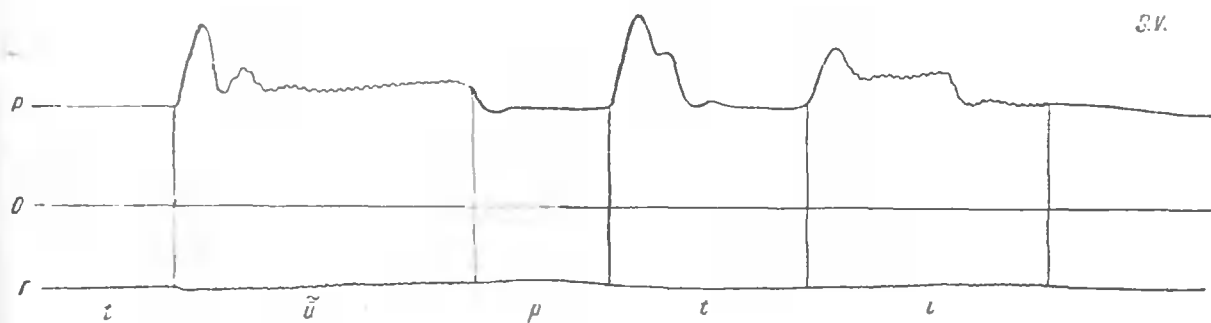
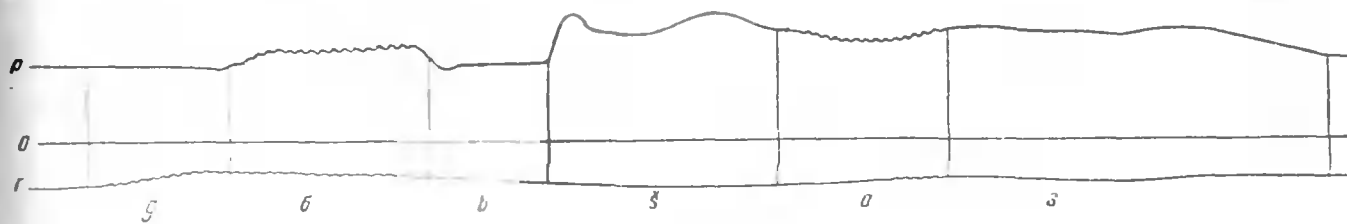
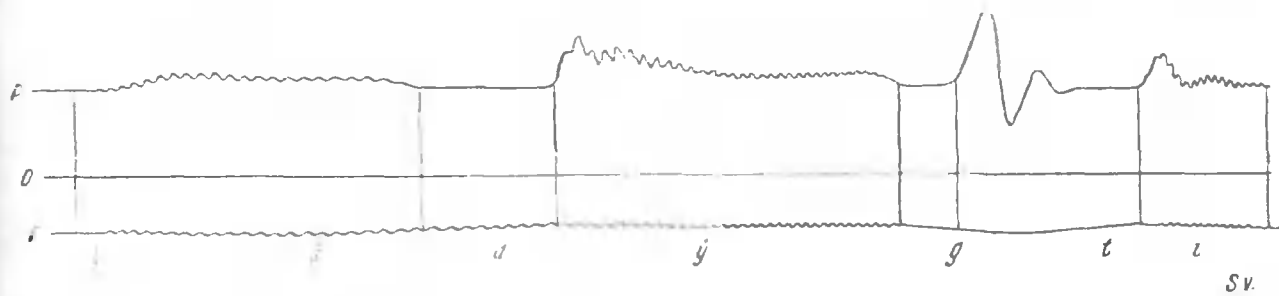
*ñ'(nlāukiasī)*

Рис. 6



Кимограммы 1—4

в литовском языке имеется много сочетаний, где смягчается только один согласный, стоящий непосредственно перед гласным переднего ряда, а все остальные произносятся твердо (например, *arklĩš* «лошадь», *skreñda* «метит», *glėbti* «выпустить», *naktĩs* «ночь», *samtĩs* «разливательная ложка» и др.).

Нельзя согласиться с автором, что ассимиляция звонких перед глухими и глухих перед звонкими осуществляется не полностью, а только наполовину и что «так, повидимому, происходит ассимиляция по глухости — звонкости в литературном языке, и, во всяком случае, в некоторых диалектах» (стр. 115).

Записанные мною кимограммы в лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ, дикторами для которых послужили четыре литовца из местностей, давших основу литовскому литературному языку (Вилкавишкие, Канеукас и др.), не подтверждают мнения И. И. Цукермана по поводу ассимиляции. Звонкие перед глухими чередуются с соответствующими глухими, а глухие перед звонкими — с соответствующими звонкими. Оглушение звонких и озвончение глухих всегда является только полным [например, в слове *išdũgti* «взойти» *š* перед *d* является звонким и чередуется с *ž*, а *g* перед глухим *t* тоже вполне оглушается и чередуется с глухим *k* (см. кимограмму 1)].

В слове *gob̃žas* «жадный» *b* перед *š* вполне оглушается и чередуется с глухим *p* (см. кимограмму 2 и ср. ее с кимограммой 3 слова *tĩpti* «садиться, спуститься»).

В конце слова звонкие, вопреки утверждениям И. И. Цукермана, тоже вполне оглушаются, и имеется несильное придыхание (см. кимограмму 4 слова *kād* «что»).

Если литовцы при произношении русских слов, где имеется регрессивная ассимиляция, делают ошибки, то причиной этого надо считать не разную степень ассимиляции в литовском и русском языках, а стремление произносить слова согласно правописанию.

В. А. Вайткевичуте

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТАТАРСКАЯ ГРАММАТИКА КАЮМА НАСЫРОВА «ЭМУЗЕДЖ»

1

Во второй половине XIX века продуктивно и успешно вел исследовательскую работу над изучением грамматического строя татарского языка выдающийся татарский просветитель и ученый Каюм Насыров (1825—1902). В этой области им было создано три отдельных труда на татарском и русском языках¹.

Ученый-патриот К. Насыров, посвятивший всю свою жизнь делу просвещения татарского трудового народа и распространения среди него научных знаний, создал многочисленные труды по различным отраслям науки: по языкознанию, литературе, математике, физике, биологии, химии, истории и др.; кроме того, им же составлено несколько двуязычных переводческих и терминологических словарей.

Работы К. Насырова в области татарского языка и языкознания отличаются оригинальностью. В течение полувековой научной деятельности он трудился над разработкой твердых норм понятного народным массам татарского литературного языка. Создавая свои труды по грамматике татарского языка, автор использовал грамматики арабского языка, ранее опубликованные грамматики татарского языка, а также русские грамматики. В отдельных местах его работ нетрудно обнаружить влияние великого русского ученого М. В. Ломоносова, более того, он сам указывает имена русских языковедов (А. Х. Востокова, Д. Тихомирова и др.), трудами которых он пользовался.

Следует указать, что К. Насырова не удовлетворяло качество выпущенных до него грамматик татарского языка, но он не был доволен и своими грамматиками, написанными им в молодости. Это и понятно, так как К. Насыров придавал большое значение грамматическому строю родного языка и хотел видеть наиболее полно и подробно разработанную грамматику. Он считал, что значение грамматического строя родного языка и его специфических правил необходимо не только для основательного овладения татарским языком, но и для изучения других языков. Для достижения этой цели и была написана им новая работа под названием «Эмузедж», которая наиболее подробно освещает грамматические особенности татарского языка. Мы остановимся здесь именно на этом труде.

Указывая на огромное значение изучения грамматического строя родного языка, в предисловии к этой книге автор пишет: «... до настоящего времени не было книги, объясняющей правила морфологии и синтаксиса родного языка. В течение тридцати—тридцати пяти лет, обучая детей родному и русскому языкам, в особенности — русскому языку, я крайне нуждался в книге, объясняющей правила родного языка. Я ждал, что найдется какой-нибудь толковый человек из нашего татарского народа и составит правила родного языка, но никто не осмелился выступить... Потребность в правилах родного языка очень велика. Если кто-либо не будет знать этих правил, ему чрезвычайно трудно будет овладеть другими языками. Это положение неоднократно доказано на опыте...» (стр. 2).

Правда, определяя цели, которые ставятся перед грамматикой, К. Насыров допустил и неточность: он ни словом не упомянул о значении грамматики как общеобразовательного предмета и только подчеркнул ее практическую ценность: «Целью изучения этих двух предметов (морфологии и синтаксиса.—В. Х.) является то, чтобы во время разговора и письма не допускать ошибок» (стр. 7).

¹ К. Н а с ы р о в, Краткая татарская грамматика, изложенная в примерах, Казань, 1860; е г о ж е, Пәмушә или Әмүзәж, Казань, 1891; е г о ж е, Әмүзәж, Казань, 1895. Ссылки на последнюю работу даются в тексте статьи в скобках.

«Энмузедж» — татарская грамматика, разработанная в научно-исследовательском плане. Название ее взято из арабского языка, в переводе оно обозначает «образец», или «модель». За исключением небольшого вводного раздела под названием «О чтении и письме» (4—5 страниц), где автор, в соответствии с практикой современных ему грамматических трудов, останавливается на вопросах фонетики и орфографии, вся книга посвящена изучению грамматического строя.

Вводный раздел книги К. Насырова также представляет интерес. Здесь он исследовал один из коренных вопросов фонетики татарского языка — систему гласных. Правда, и до К. Насырова в некоторых татарских грамматиках, написанных русскими учеными, делались попытки определить систему гласных звуков татарского языка. Но лишь К. Насыров внес в этот вопрос полную ясность, научно доказал наличие в татарском языке десяти гласных и показал их графические соответствия. В этом же разделе автор останавливается на согласных звуках татарского языка и дает им довольно полную и в общем правильную характеристику.

Раздел грамматики начинается с определения сущности морфологии и синтаксиса. В соответствии с традицией, автор в первую очередь исследует морфологический строй татарского языка, синтаксису же отводит место во второй части книги. Он стремится раскрыть специфические особенности морфологии и синтаксиса как частей грамматики.

В труде К. Насырова проанализированы почти все основные вопросы и грамматические категории современного татарского языка. Многие из них получили довольно полную и с современной точки зрения правильную характеристику. В частности, здесь освещены категория падежа в именах существительных, категория лица и числа в глаголах, категория залогов, а также другие вопросы грамматического строя татарского языка — образование частей речи при помощи суффиксов, отсутствие форм рода, вопросы словосочетания и структуры простого перестроенного предложения и др.

Отсутствие форм рода как грамматической категории в татарском языке К. Насыровым доказано впервые и притом весьма убедительно: «... в нашем языке, — говорит он, — нет специальных показателей мужского и женского родов, в этом отношении имя существительное и имя прилагательное совершенно одинаковы» (стр. 9). Автор указывает, что при необходимости выразить различия пола в татарском языке употребляются лексические средства. Имеются отдельные имена существительные для названия особей мужского и женского пола: *ир* «мужчина» — *хатын* «женщина»; *малай* «мальчик» — *кыз* «девочка»; *этэк* «петух» — *тасык* «курица»; *үгез* «бык» — *сыер* «корова»; *айгыр* «жеребец» — *бия* «кобыла» и т. д. Если особые существительные отсутствуют, то различия пола могут выражаться при помощи сложных слов: *ата үрдәк* «селезень» — *ана үрдәк* «утка»; *ир бала* «мальчик» — *кыз бала* «девочка».

Несмотря на наличие в татарском языкознании таких исчерпывающих разъяснений, некоторые языковеды пытались доказать, что грамматическая категория рода якобы существует и в современном татарском языке. В качестве аргумента обычно приводятся такие примеры, как *би* (бай) «богатый», *богач*, *хозяин*, *бикә* «барыня, госпожа, хозяйка», *бичә* «супруга, жена», *қода* «сват», *қодагый* «сваха», *қодача* «сватья»; некоторые арабские существительные мужского и женского рода: *Сәлим* — *Сәлима*, *Кәрим* — *Кәримә*, *Шакир* — *Шакирә*, *моғаллим* «учитель» — *моғаллимә* «учительница», а также имена существительные, вошедшие в татарский язык из русского за последнее время: *ударник* — *ударница*, *комсомолец* — *комсомолка* и т. п. По нашему мнению, объяснения К. Насырова полностью сохраняют свое значение. Различия пола, конечно, находят отражение в лексике татарского языка, но это еще не дает оснований, как указывает автор, признать наличие в татарском языке грамматической категории рода. В тех языках, где формы рода связаны с наличием особой грамматической категории, они представляют собой широко развитую морфологическую систему, являясь в то же время средством выражения синтаксической связи — согласования.

Касаясь категории падежа имен существительных, К. Насыров совсем не отмечает формы исходного падежа, в то время как сочетания имен существительных с послесловом *белән* «с» он рассматривает как особую форму падежа. В большинстве современных грамматик сочетания имен существительных с послесловами не считаются особыми падежными формами, которые в этих трудах в основном определяются по морфологическим показателям, т. е. по окончаниям.

В отношении отдельных знаменательных частей речи автор «Энмузеджа» сумел собрать и исследовать довольно большой материал и сделать правильные выводы. В частности, им подробно разобрано образование имен существительных, глаголов и имен прилагательных при помощи словообразующих суффиксов. Он описал свыше двадцати суффиксов, при помощи которых образуются имена существительные от глаголов, имен прилагательных и существительных; имена прилагательные от имен существительных, числительных и прилагательных; глаголы от имен прилагательных

и глагола. Однако К. Насыров иногда смешивает словообразующие аффиксы с формообразующими; так, имена действия на -у, -ү (*бару, килү*) он считает существительными, а порядковые числительные на -чы, -че (*алтынчы, жиденче*) — прилагательными.

3

В области глаголов в «Энмузедже» одним из наиболее удачно исследованных и правильно решенных нужно считать вопрос о залогах глагола. Еще в то время К. Насыров глубоко понимал семантические и грамматические особенности этой категории и четко указал ее грамматические показатели. Прежде всего он ясно представлял себе сущность категории залога: автор считал, что залоговые разновидности основаны на переходности и непереходности глаголов. Это позволило ему установить, что «глаголы татарского языка имеют пять залогов» (стр. 14). Указанные К. Насыровым разновидности залогов глагола отмечаются в подавляющем большинстве современных грамматик под следующими названиями: основной залог («асыл бабы»), страдательный залог («мәҗһүл бабы»), возвратный залог («инфиғал бабы»), взаимный залог («мәфағалә бабы»), повелительный залог («мотағадди бабы»). Различие в этом вопросе между «Энмузеджем» и новейшими грамматиками заключается только в том, что К. Насыров именовал залогом глагола арабскими терминами.

В некоторых грамматиках, вышедших после «Энмузеджа», мы встречаем и иные мнения относительно категории залога в татарском языке. Например, в книге Г. Алпарова «Татарская грамматика на формальной основе»¹ сущность категории и число разновидностей залога определяется совсем по-другому. Там категория залога хотя и рассматривается по логическим и грамматическим признакам, но понятие о функциях и разновидностях залога дается неправильно, поэтому объяснения Г. Алпарова о залогах татарского глагола не были приняты и не получили поддержки в грамматиках других языковедов.

В татарском языке залогов глагола пять, и в школьных учебниках залогов даются именно в такой системе, как у К. Насырова.

К. Насыров открыл одну очень интересную закономерность, заключающуюся в том, что при образовании залоговых форм в татарском языке отношение различных глаголов к категории залога оказывается неодинаковым. Отобрав 744 татарских глагола, он пытался образовать от каждого глагола различные залоговые формы. В результате этого эксперимента обнаружилось, что не все глаголы образуют все разновидности залогов. По нашим подсчетам, эти 744 глагола в отношении залогообразования распределяются следующим образом: основной залог имеют все 100%, повелительный залог — 99%, взаимный залог — 85,8%, страдательный залог — 34,5%, возвратный залог — 30,9%. Выявление К. Насыровым этой особенности глаголов в татарском языке имеет большое значение для понимания категории залога.

В «Энмузедже» довольно полно и обстоятельно освещаются разновидности глагольных наклонений в татарском языке. Основной центральной формой глагола К. Насыров считал форму имени действия на -мақ -мәк (масдар). Различные наклонения и другие формы глагола, по К. Насырову, основываются именно на этой форме масдара. «Если мы выбросим из масдара окончание -мақ, мәк, — писал он, — остаются лишь чистые звуки глагола. Это называется глаголом-основой (форма повелительного наклонения. — В. Х.). Например, если сократим окончание -мақ из глагола *алмақ*, остается *ал*. Если присоединим к нему окончание -ды, -дым, -дың, то образуются следующие формы: *алды, алдым, алдың*» (стр. 51). В современных грамматиках различные наклонения глагола выводятся непосредственно из основы глагола, соответствующей по форме 2-му лицу ед. числа повелительного наклонения. К. Насыров обратил внимание и на смысловую сторону этого соотношения.

Автор приводит многочисленные таблицы спряжения глагола. В них отмечены и такие особые формы наклонения, которые не находят отражения даже в современных грамматиках татарского языка. К. Насыров указывает, в частности, на аналитические формы, типа *киләз идем* «(я) пришел бы», *киләт булар идем* «(я) тогда же пришел бы», *киләчәк идем* «(я) непременно пришел», *киләчәкче идем* «(я) намерен был прийти», которые он, исходя из их значения, приписывает особым желательным наклонением глагола («жәзаң шарт», по его терминологии); точно так же формы типа *барса иде* «о, если бы (он) ходил», *килсә иде* «о, если бы (он) пришел», учитывая то, что они выражают пожелание с оттенком просьбы, автор предлагал отнести к особому наклонению просьбы («сығай тәмәннә»). Утверждение о существовании первой из этих разновидностей нельзя считать необоснованным и с точки зрения современного татарского языковедения, хотя, повидимому, учитывая отсутствие соответствующей синтетической формы, авторы последующих грамматик не указывают на данную разновидность.

¹ Г. А л п а р о в, Шәкли нигездә татар грамматикасы, Казань, 1926 (обл.: 1927).

Что касается второй группы форм, то она, очевидно, должна быть признана разновидностью условного наклонения¹.

Трактовка вопроса о взаимоотношениях между глагольными категориями наклонения и времени в «Энмузедже» также своеобразна. К. Насыров признавал наличие в условном наклонении двух форм времени — настоящего (*барса* «если пойдёт», *килсе* «если придет») и прошедшего (*барган булса* «если бы сходил», *килган булса* «если бы пришел»). Следует сказать, однако, что автор не дал полного описания всех значений первой из этих форм и ограничился признанием за ней только значения настоящего времени. По нашим наблюдениям, эта форма употребляется как в функции настоящего, так и будущего времени.

Как отмечено выше, в «Энмузедже» дается довольно подробное описание аффиксального словообразования. В то же время вопросам словосложения К. Насыров почти совсем не уделяет внимания, ограничиваясь лишь указанием некоторых примеров.

По грамматической системе, принятой в «Энмузедже», под рубрикой «Хәреф» анализируются слова, не относящиеся ни к именам, ни к глаголу. Сюда К. Насыров включает прежде всего вспомогательные слова, которые подразделяются автором на более мелкие группы и описываются в многообразии их функций. Здесь рассматриваются относительные местоимения, союзы и послелоги, сюда же автор относит наречия места и времени, а также междометия. Наряду с указанными группами вспомогательных слов в этом же разделе детально анализируются словообразующие и словоизменяющие суффиксы в их отношении к частям речи и к различным грамматическим категориям. Таким образом, «Энмузедж» содержит довольно подробное описание морфологического строя татарского языка.

4

Несмотря на то, что раздел синтаксиса занимает в книге сравнительно небольшое место, он охватывает важнейшие вопросы синтаксического строя. Еще в то время К. Насыров обратил внимание на такую важную проблему синтаксиса татарского языка, как проблема словосочетания и дал ей, в основном, удовлетворительное решение. Выработанное им определение словосочетания не утратило своего значения и в настоящее время: «Словосочетание (тәркиб) это такое сочетание по меньшей мере двух, связанных между собою слов, которое выражает определенный, желаемый смысл» (стр. 65). К. Насыров делит все словосочетания прежде всего на две больших группы: 1) неполные словосочетания и 2) полные словосочетания.

К полным словосочетаниям автор относит словосочетания, представляющие собой предложения; к неполным словосочетаниям — словосочетания, не являющиеся предложениями. Эти две группы К. Насыров подразделяет на более мелкие виды и разновидности. Так, среди неполных словосочетаний он различает определительные (*яши сүз* «хорошее слово», *ак кәгәз* «белая бумага», *өченче көн* «третьего дня» или «третий день») и притяжательные словосочетания. Последние в свою очередь подразделяются на относительные (*агыл халы* «народ деревни»), словосочетания собственности (*сәүдәгәр йорты* «дом купца»), словосочетания, определяющие видовые признаки (*чикләшек агачы* «ореховое дерево») и словосочетания, определяющие родовые признаки (*арыш оны* «ржаная мука»).

Несмотря на некоторые недостатки, наблюдения К. Насырова в области словосочетаний явились очень ценным вкладом в разработку синтаксиса татарского языка. К сожалению, в дальнейшем языковеды не занимались исследованием круга вопросов, связанных со словосочетанием. Проблема же словосочетания является чрезвычайно важной, тем более, что по своему строю и функциям словосочетания занимают своеобразное промежуточное положение между словом и предложением и, отражая самые различные семантические и грамматические особенности синтаксического строя, тем самым наиболее ярко передают специфику того или иного конкретного языка.

К. Насыров выделяет именной и глагольный типы простого предложения, различая утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения, рассматривает так называемые предложения места («зарыф жемлә», например, *чай тартмададыр* «чай в коробке», *ат сарайдадыр* «лошадь в сарае» и т. д.), а также нераспространенные и распространенные типы простых предложений, анализирует их главные и второстепенные члены. По всем этим вопросам даются краткие разъяснения и приводятся соответствующие примеры; однако, исходя из взгляда на предложение как на разновидность словосочетания, автор оставляет в стороне предложения, выраженные только одним словом.

Переходя к сложному предложению, автор кратко характеризует различные типы придаточных предложений, приводит примеры на некоторые из них (на придаточные

¹ См. В. Н. Хангильдин, Грамматика татарского языка, Казань, 1954, стр. 243 [на татар. яз.].

определяющие, причинные, временные, условные и противительные); но за исключением определяющих предложений, все эти типы не получили в «Эпмузедже» достаточного теоретического освещения. Следует отметить, что К. Насыров совершенно не останавливается на сложносочиненных предложениях. Возможно, что он не считал их самостоятельным синтаксическим явлением.

5

Мы указали на положительные и ценные стороны работы К. Насырова. Для последующих татарских грамматик она во многих отношениях явилась образцом исследования важных вопросов татарского языкознания и дала грамматистам большой и разнообразный фактический материал. В то же время нельзя не отметить и отдельные недостатки книги, отчасти обусловленные общим состоянием грамматической науки того времени. Например, имена существительные в «Эпмузедже» разделяются, как в грамматиках арабского языка, на две группы — «моғраб исем» («склоняемое имя») и «мабни исем» («несклоняемое имя»). Для татарского языка такое деление неприемлемо, так как в нем несклоняемых имен существительных нет. Неправильным также оказывается отнесение притяжательных аффиксов к местоимениям, а существительных с послелогами *белэн* «в» — к надежным формам. В грамматике К. Насырова не были учтены некоторые широко употребляющиеся в татарском языке грамматические формы, как, например, причастие на *-сы/-се*, *-ачак/эчэк* и неопределенная форма глагола на *-ырса/-ерсэ*.

В анализе различных языковых явлений в книге К. Насырова преобладают элементы логицизма. Определяя, например, такую важнейшую языковую единицу, как слово, К. Насыров считает основным признаком лишь семантическую сторону, и поэтому у него всякий элемент языка, обладающий тем или иным значением, оказывается словом. Этим объясняется и отмеченное выше объединение в рамках одного раздела («Хәреф») таких разнородных явлений, как словообразующие и формообразующие аффиксы, с одной стороны, и различные самостоятельные лексические единицы, выступающие в роли вспомогательных слов (наречия, относительные слова и т. д.) — с другой. Вообще надо сказать, что, выделяя среди частей речи группу вспомогательных слов по семантическому признаку, К. Насыров следовал устаревшей классификации, от которой отказались даже некоторые языковеды из его предшественников.

Наряду с этим кое-где в книге обнаруживается недостаточное внимание к семантической стороне анализируемых явлений. Так, в разделе синтаксиса автор, определяя дополнение на основе одних только формальных признаков, относит к дополнениям все члены предложения, оформленные показателями косвенных падежей, в том числе и типичные определения, выраженные существительным в родительном падеже. Несмотря на все эти, и также другие, более частные ошибки, книга К. Насырова является трудом значительной исторической ценности.

*

После Октябрьской революции в процессе интенсивного развития научно-исследовательской работы в области татарского языкознания труды К. Насырова были широко использованы советскими учеными. В настоящее время наша задача заключается в том, чтобы на основе марксистско-ленинской теории и методологии, критически используя труды виднейших представителей татарского языкознания, вести дальше углубленную работу по исследованию татарского языка. Лингвистические труды К. Насырова, в частности его «Эпмузедж», несомненно, окажут языковедам в этом деле большую помощь.

В. Н. Хангильдин

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ РАБОТЫ ЮГОСЛАВСКИХ ЛИНГВИСТОВ
ПО СЕРБО-ХОРВАТСКОМУ ЯЗЫКУ

(краткая информация за 1945—1955 гг.)

Языковедческая работа в Федеративной Народной Республике Югославии сосредоточена главным образом в университетах и в академических лингвистических и филологических институтах. Изучение сербо-хорватского языка активно и плодотворно ведется на языковедческих кафедрах Белградского, Загребского, Сараевского и Ново-садецкого университетов. Большую работу по сербистике проводят два старейших югославских академических центра — Югославская академия наук и искусств в Загребе и Сербская академия наук в Белграде. Основанное еще в начале XIX в. в Новом Саду культурно-просветительное общество «Матица сербская» и молодое Научное общество Народной республики Боснии и Герцеговины уделяют также серьезное внимание вопросам сербо-хорватской лингвистики. Изучением старославянского языка и его хорватской редакции специально занимается организованный в 1952 г. Старославянский институт в Загребе.

Языковедческая работа, временно прерванная второй мировой войной, в новых, мирных условиях стала развиваться гораздо интенсивнее, чем прежде. Возросло не только число институтов и университетских кафедр — значительно увеличился общий объем работ, расширился круг исследуемых проблем, умножилось число периодических и непериодических языковедческих изданий.

В центре внимания сербских и хорватских лингвистов был грамматический строй современного сербо-хорватского языка и в меньшей степени его история. Достаточно активной была работа по диалектологии. Продолжено серьезное изучение топонимики, ономастики, исторических связей сербо-хорватского языка с другими не славянскими, прежде всего с балканскими древними и новыми языками. Ведется большая подготовительная работа по составлению словаря современного сербо-хорватского языка (в Сербской академии наук) и этимологического словаря (в Загребе). Мало разработанными все еще остаются вопросы истории литературного языка, языка художественных произведений сербских и хорватских писателей, и первую очередь классиков-реалистов XIX—XX вв., хотя и в этом направлении начата серьезная работа.

В области изучения фонетики и грамматического строя сербо-хорватского языка следует прежде всего указать на ряд общих работ, среди которых значительное место занимают университетские и гимназические курсы, кратко подытоживающие результаты исследований современного языка за последние 20—30 лет. Среди них в первую очередь выделяется отличающийся строгим отбором и систематизацией фактов лингвистический курс проф. А. Белича «Современный сербо-хорватский язык» (книга первая — «Введение» и «Фонетика», книга вторая — «Морфология»)¹, читанный им в течение многих лет в Белградском университете. В курсе четко изложены положения автора, разработанные им ранее в ряде монографических работ и в учебниках.

Из новейших школьных грамматик, предназначенных «для учеников старших классов средних школ, преподавателей сербо-хорватского языка и культурных работ-

¹ А. Б е л и ч, Современни српскохрватски књижевни језик, Београд: I део — Гласови и акценат, 1948, 167 стр.; II део — Наука о грађењу речи, 1949, 326 стр. Ранеје изданы: III део — Образовање речи — сложење и суфикси, Београд, 1931, 135 стр.; IV део — Синтакса, Београд, 1958 стр. Недостатак места, к жаљеном, не даје нам могућности указати на ряд малих, но важних в теоретическом и фактическом илаци статей проф. А. Белича по современному сербо-хорватскому језику, опубликованих в последние годы в югославских лингвистических журналах, а также на его исключительно интересные работы по проблемам общего языкознания, выходящие по своей тематике за рамки настоящей информации. Эти работы должны явиться предметом специальных рецензий.

ников», отметим грамматики И. Брабца, М. Храсте, С. Живковича, затем книгу Р. Алексића и М. Стевановича и особенно грамматику М. Стевановича¹, отличающуюся известной новизной в отношении классификации и интерпретации материала (впервые, вопреки установившейся сербо-хорватской грамматической традиции, выделяются частицы как особая часть речи, четко разграничиваются исторические и современные звуковые изменения, вводится понятие синтагмы и др.), что значительно приближает эту школьную грамматику к уровню научной, нормативной грамматики.

Проф. Б. Милетић обобщил свой многолетний опыт исследования фонетики в курсе лекций (изданном посмертно под заглавием «Основы фонетики сербского языка»)². Эта книга является в настоящее время наиболее полной и систематической характеристикой звукового состава сербо-хорватского языка, во многом дополняющей довоенное экспериментальное исследование того же автора — «Произношение сербо-хорватских звуков» (Белград, 1933). Из общих работ по синтаксису издан литографированный курс лекций проф. М. Лалевича «Синтаксис сербского языка»³, читанный им в Высшей педагогической школе в Белграде.

Отдельные общие и более частные вопросы звукового состава и грамматического строя современного языка изучены неравномерно. Почти отсутствуют работы по фонологии сербо-хорватского языка. В сфере экспериментальной фонетики преимущественно исследовалось качество и количество музыкального ударения, его соотношение с артикуляцией гласных и т. п. (здесь прежде всего следует отметить работу Дж. Костића и его сотрудников⁴ и др.). В области морфологии более всего рассматривались проблемы, находящиеся на грани морфологии и синтаксиса. Из чисто морфологических исследований необходимо указать на небольшую работу М. Станић «Типы именного склонения в нашем языке»⁵. Автор предлагает новую классификацию существительных в современном сербо-хорватском языке по типам склонения, сводя их, как и в современном русском, до трех типов. Интересна монография проф. Дж. Грубора «Аспектные значения», рассматривающая происхождение видовых отношений в славянских языках и различные семантические видовые оттенки славянского, главным образом сербо-хорватского глагола⁶. Этот неоконченный, оригинальный в теоретическом плане труд ценен своим большим фактическим материалом по современному сербо-хорватскому языку и обширной историей вопроса. В сфере глагола, однако, наибольший интерес вызвали проблемы, связанные с системой времен, с их значением и употреблением. В этой области в довоенный период многое сделали проф. А. Мусич и особенно проф. А. Белич, который выдвинул в результате своих исследований известную теорию синтаксического релятива и индикатива. В послевоенный период указанная проблема стала разрабатываться как на обширном материале современного литературного языка (А. Стоичевич, Значение аориста и имперфекта в сербо-хорватском языке⁷; П. Сладосевич, Об имперфекте в сербо-хорватском языке⁸), так и на более ограниченном конкретном материале — языке одного автора или одного диалекта (см. М. Стеванович, Значение имперфекта и его употребление в языке П. П. Негоша⁹ и П. Ивић, Система значения основных претеритальных времен в говоре галицийских сербов¹⁰). Исследование этой проблемы крайне важно,

¹ J. Brabec, M. Hraste, S. Živković, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb, 1952, 296 стр. (2-е изд. — 1954); А. Алексић и М. Стевановић, Граматика српског језика за ученике средњих школа, Београд, 1946, 230 стр. (2-е изд. — 1947; 3-е изд. — 1949); М. Стевановић, Граматика српско-хрватског језика за више разреде гимназије, Београд, 1951, 463 стр.

² Б. Милетић, Основи фонетике српског језика, Београд, 1952, 120 стр.

³ М. С. Лалевич, Синтаксис српског језика (Скрипта за студенте ВПШ), Београд, 1951, 376 стр.

⁴ См. ряд мелких статей в журнале «Гласник Српске Академије наука», кн. II, III, IV, Београд, 1950—1952. В дальнейшем даем сокращенно только «Гл. САН».

⁵ М. Stanić, Tipovi imeničkih deklinacija našeg jezika, «Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti», knj. 278, Zagreb, 1949, стр. 195—212. В дальнейшем сокращенно только «Rad».

⁶ Ђ. Грубор, Аспектна значења, «Rad», 1953, knj. 293 (стр. 5—234) и knj. 295 (стр. 81—278).

⁷ А. Стојићевић, Значење аориста и имперфекта у српскохрватском језику, Ljubljana, 1951, 171 стр. См. также обширную и оригинальную рецензию на эту работу П. Стевановича в журнале «Југословенски филолог», т. XIX, Београд, 1951—1952. В дальнейшем только «Ф».

⁸ П. Сладосевич, О имперфекту у српскохрватском језику, ЈФ, т. XX, Београд, 1953—1954, стр. 213—228.

⁹ М. Стевановић, Значење имперфекта према употреби у језику П. П. Негоша, там же, стр. 39—80.

¹⁰ П. Ивић, Систем значења основних претериталних времена у говору Галицийских Срба, там же, стр. 228—262.

так как употребительность, а отчасти и значение простых прошедших времен далеко не одинаковы на территории сербо-хорватского языка.

Весьма ценным нужно признать стремление к исследованию исторического развития и становления отдельных глагольных времен с широким привлечением данных из исторических памятников и диалектов. В этом плане интересна диссертационная работа И. Грицкат «О перфекте без вспомогательного глагола»¹.

Исследования по синтаксису глагола пополнились новыми работами, посвященными мало изученным вопросам употребления исторического инфинитива (В. Бабич, Употребление исторического инфинитива в разговорном языке, С. Живкович, Примеры исторического инфинитива в сербо-хорватском языке²), значения и распространения отдельных модальных форм, компонентом которых являются имперфект (или перфект) глагола *бити* или настоящее время, имперфект и перфект глагола *имати* (И. Вукович, Модальные формы с имперфектом и перфектом глагола *бити* + инфинитив основного глагола³, его же, Отдельные перифразные модальные глагольные формы в сербо-хорватском языке⁴).

В последние годы возродился интерес к давно не разрабатывавшейся в сербо-хорватском языкознании проблеме надежей. Важно отметить ценную монографию М. Ивич «Значения сербо-хорватского инструментала и их развитие», в которой рассматривается эволюция творительного падежа главным образом в семантическом плане⁵, и две другие ее работы более частного характера («О предлоге *по* в сербо-хорватском языке»⁶) и более общего («О проблеме надежной системы в связи с ее современным пониманием в лингвистической науке»⁷). Л. Вуйович исследовал интересную особенность некоторых черногорских говоров — употребление при глаголах состояния с предлогами *на* и *у* винительного падежа вместо локатива (см. его «Исторический разрез потери глагольного управления в черногорских говорах»⁸). Проф. И. Вукович изучал значение предложных конструкций с местным, винительным и родительным падежом в современном сербо-хорватском языке (см. его «Очерки по изучению употребления надежей с предлогами» и «О надежных конструкциях с предлогами *над*, *изнад* и *под*»⁹). Следует также указать на серьезную попытку проф. А. Белича вновь поставить вопрос о происхождении надежей и установлении надежных коррелятивных отношений¹⁰.

В области словообразования югославские языковеды сделали за рассматриваемый период в общем немного. Идут своего разрешения и вопросы синтаксиса сложного предложения. Что касается проблемы словосочетания и синтагмы, то в этом направлении сербские ученые начали интересную исследовательскую работу (здесь прежде всего снова нужно упомянуть труды А. Белича — «О значении синтагм для развития языковых явлений», «Предложение и синтагма в свете белградской лингвистической школы»¹¹, затем С. Георгиевича «Атрибутивные синтагмы в нашем языке»¹² и др.).

¹ И. Г р и ц к а т, О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама, Београд, 1954.

² В. Б а б и ч, Употреба хисториског инфинитива у говорном језику, ЈФ, т. XIX, стр. 213—224; С. Ж и в к о в и ч, Примери хисториског инфинитива у српскохрватском језику, там же, стр. 225—228.

³ И. В у к о в и ч, Модални облици са имперфектом и перфектом глагола *бити* + инфинитив главног глагола, ЈФ, т. XX, стр. 263—272.

⁴ И. В у к о в и ч, Posebni perifrasti ni modalni glagolski oblici u srpskohrvatskom jeziku, «Radovi [Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine]», knj. II, Sarajevo, 1954 (далее только «Radovi»).

⁵ М. И в и ч, Значења српскохрватског инструментала и њихов развој, Београд, 1954, 298 стр.

⁶ М. И в и ч, О предлогу *по* у српскохрватском језику, ЈФ, т. XIX, стр. 173—212.

⁷ М. И в и ч, О проблемима надежне системе у вези са савременим схватањима у лингвистичкој науци, ЈФ, т. XX, стр. 191—211.

⁸ Л. В у ј о в и ч, Историски пресјек губљења глаголске рекције у црногорским говорима, там же, стр. 87—126.

⁹ И. В у к о в и ч, Прилози за проучавање употребе падежа с предлозима. «Зборник Матице српске за књижевност и језик», књ. 2. [Нови Сад], 1954, стр. 132—150; его же, О падежним конструкцијама с предлозима *над*, *изнад* и *сл.*, сб. «Pitanja književnosti i jezika», knj. 1, Sarajevo, 1954, стр. 5—51.

¹⁰ См. тезисы его доклада «О надежной системе», Гл. САН, књ. VI, св. 1, 1954, стр. 77—78.

¹¹ А. Б е л и ч, О значају синтагма за развитак језичких појава, ЈФ, т. XX, стр. 1—27; А. B e l i ć, Der Satz und das Syntagma im Lichte der Belgrader linguistischen Schule, «Wiener slavistisches Jahrbuch», Bd. IV, Wien, 1954.

¹² С. Г е о р г и ј е в и ч, Атрибутске синтагме у нашем језику, ЈФ, т. XX, стр. 289—306.

История сербо-хорватского языка, впрочем, как и история ряда других славянских языков, исследована до сих пор неполно и неравномерно; дальнейшая успешная работа в этом направлении в значительной мере тормозится из-за недостатка больших обобщающих монографий. Все еще не создана капитальная историческая грамматика; нет нового исторического словаря, который охватывал бы древнейшую сербо-хорватскую лексику и заменил собой старый словарь Дж. Даничича; не выпущен в свет этимологический словарь, над которым много лет работает проф. Н. Скок. Пробел в области исторической грамматики в значительной мере восполняет последний университетский курс А. Белича по исторической морфологии (см. «Историю сербо-хорватского языка», т. II, кн. 1 — «Склоняемые слова», кн. 2 — «Спрягаемые слова»¹), отличающийся четкой систематизацией и обилием фактов. Не считая «Истории форм сербского или хорватского языка» Дж. Даничича, написанной около 80 лет тому назад, этот курс — единственный большой труд по сербо-хорватской исторической морфологии. Проф. Б. Милетич издал свой общий, конспективный курс истории сербо-хорватского языка, читанный им для студентов Высшей педагогической школы в Белграде («Очерк истории сербо-хорватского языка»²). В ином плане задумана и выполнена краткая «История сербо-хорватского языка» Н. Поповича³. Автор ее основное внимание уделял вопросам исторической диалектологии — древнейшим судьбам основных сербо-хорватских наречий, роли иноязычного субстрата, миграции сербского и хорватского населения и его языковым связям с современными неславянскими народами Балканского полуострова. И хотя многие вопросы изложены слишком схематично, а в некоторых случаях и весьма спорно, небольшой труд Н. Поповича представляет известный интерес для историка южнославянских языков.

Исследования по языку отдельных памятников и древних писателей пока еще малочисленны; они обычно содержат общую характеристику фонетических и морфологических особенностей без должного внимания к фактам синтаксиса, словообразования и лексики. В таком традиционном плане выполнены и новейшие работы ряда авторов: А. Шенича о хорватских средневековых статутах («Язык хорватских общинных статутів истрийских и приморских»⁴), М. Храсте о языке М. Марулича («Заметки по чакавинию Марулича»⁵), Н. Враны о древнехорватских мнишеях XVI в. с обширным филологическим комментарием и историей текста («Хорватские глаголические мнен»⁶) и др. Филологические — историко-литературные, текстологические и палеографические исследования древнехорватской письменности, преимущественно глаголической, — приняли довольно широкий размах с организацией старославянского института в Загребе; одновременно продолжается аналогичная работа по изучению древнесербской письменности (труды Д. Костица, В. Мошина, Дж. Радонича и др.).

Ведется также серьезная работа по палеографии; здесь следует прежде всего указать на труды В. Мошина, С. Радойича, Л. Мпрковича⁷ и др. По вопросам балканистики — лингвистической дисциплины, проливающей свет и на древнейшие судьбы сербо-хорватского языка и народа, широко популярны труды известных в этой области науки профессоров Н. Скока и Г. Барича. Проф. Н. Скок в последние годы своей жизни проводил изыскания по исторической лексикологии и топонимике Югославии. Большую ценность представляет его «Лексикологические штудии», статьи «К вопросу о методе изучения романизмов в хорватском или сербском языке» и особенно капитальный труд по топонимике Далмации «Славянство и романский элемент на Адриатических островах»⁸, так же как и целый ряд более мелких топонимических исследований. Проф.

¹ А. Б е л и ћ, Историја српскохрватског језика, књ. II, Београд, 1950—1951: св. I—Речи са деklinацијом, стр. 452; св. 2—Речи са конјугацијом, стр. 341. Ранее издана: књ. I — Фонетика, Београд, бг., 246 стр. [лиитограф. изд.].

² Б. М и л е т и ћ, Преглед историје српско-хрватског језика, Београд, 1951, 207 стр. [лиитограф. изд.].

³ Н. П о п о в и ћ, Историја српскохрватског језика, Нови Сад, 1955, 165 стр.

⁴ А. Š e p i ć, Jezik hrvatskih općinskih statuta istarskih i primorskih, «Rad», knj. 295, 1953, стр. 5—40.

⁵ М. H r a s t e, Crtež o Marulićevoj čakavštini, «Zbornik Marka Marulića. 1450—1950», Zagreb, 1950, стр. 343—377.

⁶ J. V r a n a, Hrvatskoglagolski blagdanar, «Rad», knj. 285, 1951, стр. 95—179.

⁷ В. М о š и н, Čirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, 2 dio — Reprodukciije, Zagreb, 1952, 147 стр. и др. работы; С. Р а д о ј ч и ћ, Старе српске минијатуре, Београд, 1950, 69+56 стр.; Л. М и р к о в и ћ, Мирослављово јеванђеље, Београд, 1950, 50+60 стр.

⁸ P. S k o k, Leksikologijske studije, «Rad», knj. 272, 1948, стр. 5—90; е г о ж е, Prilog metodu proučavanja romanizama u hrvatskom ili srpskom jeziku, «Zbornik radova [Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu]», 1951, стр. 445—485. В дальнейшем только: «Zbornik radova»; е г о ж е, Slavenstvo i romanstvo na Jadranskim otocima, Zagreb, 1950 271+67 стр.

Г. Барич рассмотрел основные особенности древнемакедонского языка и пришел к выводу о его первоначальном иллирийском, а не греческом характере; этому вопросу посвящены «Иллирийские языковые штудии»¹. Несомненный интерес представляют также его новейшие «Лингвистические исследования» и «Словарь албанского и сербохорватского языка»².

Албано-славянским языковым связям уделено большое внимание в работе И. Поповича «Некоторые родственные и им сродные термины у черногорцев и албанцев»³. Почти все упомянутые исследования по исторической лексикологии тесно связаны с историческими и этнографическими проблемами и фактами. Интересна попытка Б. Братанича путем определения ареала группы слов, относящихся преимущественно к сельскохозяйственной терминологии, разрешить некоторые вопросы, связанные с размещением отдельных славянских племен на Балканском полуострове (см. его статью «К вопросу о поселении южных славян — несколько этнографическо-лексикальных фактов») ⁴. К ранее поставленному акад. А. А. Шахматовым вопросу, уже неоднократно обсуждавшемуся, вновь вернулся М. Будимир в статье «Проблема бука и праславянская прародина»⁵.

Если историческая лексикология находит свое довольно широкое отражение в трудах югославских лингвистов, то работа по современной лексике остается главным образом в подготовительной стадии. Сербская академия наук в Белграде уже обладает объемистой картотекой (около 4 млн. карточек) для словаря сербского языка, первый том которого выйдет из печати в этом году. Всего должно появиться 8—10 томов, объемом до 1000 страниц каждый. Югославянская академия в Загребе продолжает выпускать в свет «Словарь хорватского или сербского языка», первый том которого вышел еще в 1880—1882 гг. под ред. Дж. Даничича, а последующие — под ред. И. Будмани, М. Валявца, Т. Маретича. В послевоенные годы изданы 53-й и 54-й выпуски XII тома, томы XIII и XIV и 63-й выпуск XV тома (слова от *провертотиница* до *склапати*)⁶. Естественно, что начальные буквы при нынешних условиях требуют переработанного издания.

Из двуязычных словарей следует выделить сербо-хорватско-словенский словарь проф. Я. Юранчича⁷, отличающийся новым, богато подобранным словником (70 тыс. слов) и разработанной фразеологией, значительным числом областных слов. Нельзя не отметить живого интереса югославских филологов к истории сербо-хорватской лексикографии. В этом отношении весьма ценно исследование И. Ерпея «Происхождение Якова Микальи»⁸ (об авторе первого хорватского словаря «Благо езика словинского», выпущенного в 1649 г.), затем работы Т. Матича о рукописном словаре Ивана Танцлингера конца XVII в. латинского, итальянского, немецкого, далматинского (т. е. хорватского, прежде всего чакавского диалекта) и венгерского языков⁹ и о латино-хорватском («иллирийском») словаре И. Витезовича конца XVII в.

Л. Йонке дает подробное описание другого рукописного словаря, отражающего хорватский кайкавский диалект конца XVIII в. — «Дикционара» Адама Патачица¹⁰. А. Секулич издал небольшую книгу об известном «Речесловнике» иллирийского (хорватского) и немецкого языка Поле Вольтиджи-Вольтича, вышедшем в 1813 г. в Вене¹¹. Для русской исторической лексикологии представляет интерес оставшийся в рукописи, неоконченный итальянско-хорватско-русский словарь, составленный в 1751 г. дубровчанином Иваном Мативичем. Издание и комментарий к этому словарю выполнены проф. М. Деановичем¹². Наконец, следует указать на интересное исследование

¹ H. Barić, Hirske jezične studije, «Rad», knj. 272, 1948.

² H. Barić, Lingvističke studije, Sarajevo, 1954, 134 стр.; его же, Rečnik srpskoga ili hrvatskoga i arbanaskoga jezika, knj. I, Zagreb, 1950, 672 стр. (от А до О).

³ I. Popović, Neki gentilni i njima srodni termini kod Crnogoraca i Arbanasa, «Radovi [Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine], knj. II, Odjeljenje ist.-filol. nauka, knj. I, Sarajevo, 1954, стр. 49—84.

⁴ B. Bratanić, Uz problem doseljenja Južnih slavena. Nekoliko etnografsko-lexičkih činjenica, «Zbornik radova», стр. 221—250.

⁵ M. Budimir, Problem bukve i protoslovenske domovine, «Rad», knj. 282, 1951, стр. 5—32.

⁶ «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika na svjet izdaje Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti», Zagreb.

⁷ J. Juranić, Srbohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana, 1955, 1192 стр.

⁸ J. Jernej, Podrijetlo Jakova Mikalje, «Zbornik radova», стр. 613—627.

⁹ T. Matić, Prva redakcija Tancingerova rječnika, «Rad», knj. 293, 1953, стр. 253—279; его же, «Lexicon latino-illiricum», Pavao Ritera-Vitezovića, «Rad», knj. 303, 1955.

¹⁰ J. Jonke, «Dikcionar» Adama Patačića, «Rad», knj. 275, 1949, стр. 71.

¹¹ A. Sekulić, Volti ev ričoslovník, Subotica, 1953.

¹² M. Deanović, Talijansko-hrvatsko-ruski rječnik iz godine 1751, «Zbornik radova», стр. 567—672.

М. Косора о троязычной — латино-хорватско-итальянской грамматике Йосипа Юрина конца XVIII в.¹

История сербо-хорватского языкознания не ускользнула также из поля зрения югославских лингвистов. К юбилейной дате, когда в 1947 г. отмечалась столетняя годовщина окончательной победы реформы Караджича, вышел ряд трудов, посвященных великому сербскому филологу. Среди них следует особо отметить сборники ранее опубликованных и новых работ А. Белича, в которых показана деятельность Караджича на широком фоне политической и культурной борьбы в начале и середине XIX в. и освещена роль его предшественников («Вук и Даничић», «Борьба Вука за народный и литературный язык»²). Несколько позже появились исследования о другом выдающемся филологе Ватрославе Ягиче: труды И. Хамма о связях знаменитого хорватского ученого с поляками³ и П. Скока о деятельности В. Ягича у себя на родине⁴. «Матица хорватская» в Загребе выпустила в свет том избранных работ В. Ягича⁵, а Югославянская академия приступила к изданию его переписки⁶. Та же Югославянская академия продолжает начатое еще в прошлом веке издание древних хорватских исторических и литературных памятников; выходят книги из серии «Старые писатели хорватские» («Stari pisci hrvatski»), «Древности» («Starine»). Сербская академия наук тоже продолжает серию своих «Памятников» («Споменици») и «Материалов» («Грађа»). Эти издания дают обильный материал для исторической диалектологии и истории языка и для истории литературного хорватского и сербского языка.

Помимо названных выше трудов А. Белича о Караджиче и о формировании сербского литературного языка, можно указать лишь на единичные исследования, посвященные той же проблеме (см., например, статьи М. Стевановича «Некоторые особенности языка Негоша»⁷ и М. Павловича «Роль и значение писателей Воеводины в развитии сербского литературного языка»⁸). Работа по изучению слога и стиля сербских и хорватских писателей-классиков и современных писателей обычно все еще не выходит за рамки мелких журнальных статей общего характера (статьи И. Вуковича, М. Шамича и др.).

Мало внимания в последние годы уделялось исследованию славяно-сербского языка XVIII в. Многочисленные произведения далматинских писателей и поэтов эпохи Возрождения до сих пор не подвергнуты тщательному лингвистическому анализу; в связи с этим особенно ценна и поучительна краткая монография проф. П. Скока «О стиле Маруличевой „Юдиты“»⁹, могущая в известной мере служить примером для дальнейших исследований в указанном направлении.

Большое внимание широких кругов лингвистов, журналистов и писателей привлекают вопросы культуры речи и норм литературного сербо-хорватского языка. Эти вопросы вызвали неоднократные дискуссии в периодической и непериодической печати — в литературных и научных журналах. Из более капитальных работ в данной области прежде всего следует отметить книгу А. Белича «По поводу нашего литературного языка» — сборник ранее опубликованных статей о стилистике, об орфоэпических нормах языка белградской интеллигенции и других «областных стилях» литературного языка и путях их развития¹⁰, затем книгу Дж. Живановича «Проблемы театрального языка», посвященную главным образом вопросам орфоэпии и сербского литературного ударения¹¹, а также отдельные статьи М. Лалевича, М. Стевановича, С. Живковича и др.

В 1950 г. А. Белич предложил новое, несколько измененное правописание, принятое теперь почти во всех республиках, где распространен сербо-хорватский язык. Новые орфографические правила окончательно узаконили две литературные нормы —

¹ М. Косор, Trojezična gramatika fra Josipa Jurina, «Rad», knj. 295, 1953, стр. 41—66 и knj. 303, 1955, стр. 119—210.

² А. Белић, Вук и Даничић, Београд, 1947, 214 стр.; е г о ж е, Вукова борба за народни и књижевни језик, Београд, 1948, 279 стр.

³ Ј. Хамм, Vatroslav Jagić i Poljaci, «Rad», knj. 282, 1951, стр. 75—218.

⁴ Р. Скок, Jagić и Hrvatskoj, «Rad», knj. 278, 1949, стр. 5—76.

⁵ В. Јагић, Izbrani kraći spisi, Zagreb, 1948, 639 стр.

⁶ «Korespondencija Vatroslava Jagića», knj. I, Zagreb, 1953, 482 стр.

⁷ М. Стевановић, Неке особине Негошевог језика, ЈФ, т. XIX, стр. 17—33.

⁸ М. Павловић, Улога и значај војвођанских писаца у развитку српског књижевног језика, «Зборник Матеје српске за књижевност и језик», књ. I (1953), [Нови Сад], 1954, стр. 87—100.

⁹ Р. Скок, О стилу Марулићевог «Judite», «Zbornik Marka Marulića. 1450—1950», Zagreb, 1950, стр. 165—241.

¹⁰ А. Белић, Око нашег књижевног језика, («Српска Књижевна Задруга», коло XIV, књ. 312), Београд, 1951, 348 стр.

¹¹ Ђ. Живановић, Проблеми позоришног језика, Београд, 1951, 113 стр.

экавскую и екавскую, установили слитное написание наречий, наречных выражений и некоторых вводных слов и т. п.¹

В последние предвоенные годы и за минувшие десять лет значительно повысился интерес к диалектологии. И хотя за это время не появилось общих руководств и работ, охватывающих в целом всю систему сербо-хорватских диалектов и наречий, в разработке отдельных более частных и широких проблем диалектологии сделано многое. Значительно увеличилось число населенных пунктов и районов, подвергнутых диалектологическому обследованию; подробно изучается шумадийско-сремское наречие, прежде всего говоры Воеводины (работы Н. Поповича, Б. Николича, И. Ивичича) и Шумадин (И. Ивичич), рассмотрено икавское наречие Боснии и Герцеговины (М. Павлович) и зетские черногорские говоры (М. Стеванович). Не осталась без внимания северо-западная и западная территория распространения сербо-хорватского языка; обследованы штокавские говоры Славонии (И. Хамм, С. Павичич), штокавские говоры Истрии (И. Попович, Р. Бошкович) и даматинских островов (М. Храсте), а также некоторые чакавские прибрежные говоры (М. Храсте). Технические причины, видимо, принуждают диалектологов ограничиваться в большинстве случаев краткими отчетами о проведенной работе, которые все же, несмотря на лаконизм, содержат ценный материал для будущей подробной диалектологической карты сербо-хорватского языка. Из более крупных опубликованных работ укажем на труд М. Храсте «Особенности говора около Шольты и соседнего побережья»² и его же «О штокавских говорах на Хваре и Браче»³, на монографию М. Московлевича, исследовавшего взаимодействие чакавского и штокавского диалекта, — «Говор острова Корчула»⁴, на монографию И. Хамма⁵ и серьезный, снабженный большим историческим материалом труд С. Павичича о штоковских говорах северной Хорватии⁶ и М. Стевановича — об одном из южных говоров косовско-ресавского типа⁷; наконец, небольшие труды о говорах Срема (Б. Николич), Баната (И. Ивичич) и Шумадин (М. Павлович), опубликованные в «Южнославянском филологе» (тома XVIII и XX). Почти все исследования по диалектологии проведены в традиционном плане описания отдельных, большей частью фонетических, затем морфологических черт; синтаксис часто отсутствует или излагается очень кратко; не всегда отражена лексика. Что же касается вопросов акцентологии — одной из самых интересных и важных областей сербо-хорватской диалектологии, — то они всегда разрабатываются весьма тщательно, занимая нередко более половины всего исследования, а иногда и составляя его целиком (см., например, дискуссию о посавском и чакавском ударениях А. Белича и С. Ивичича, а также интересную статью Р. Бошковича⁸). Проблемы лингвистической географии находят все более широкое отражение в трудах югославских диалектологов (см. работы И. Поповича, Б. Братанчица, И. Ивичича и др.), задача составления сербо-хорватского лингвистического атласа, надо полагать, в недалеком будущем потребует от югославских языковедов своего разрешения.

Число языковедческих журналов и научных сборников, на страницах которых рассматриваются вопросы сербо-хорватского языка, весьма значительно. Среди них следует отметить старейший югославский лингвистический журнал «Южнославянский филолог» («Јужнословенски филолог») — орган Института сербского языка Сербской академии наук, выходящий под редакцией А. Белича (один том в два года). Журнал посвящен проблемам славянского языкознания — как общим, так и более

¹ См. А. Белић, Правопис српскохрватског књижевног језика, Београд, 1950, 544 стр. См. также: Ј. Vuković, Pravopis savremenog našeg jezika, dio I, Upotreba velikog, slova i slovene riječi, Sarajevo, 1950, 222 стр. (2-е изд. — 1952) и его же, Pravopisna pravila i uputstva za pisanje ijekavskih glasovnih oblika sa pravopisnim rječnikom ijekavizama, Sarajevo, 1949, 220 стр.

² М. Hraсте, Osobine govora oko Šolte i susjedne obale, «Rad», knj. 272, 1948, стр. 123—156.

³ М. Hraсте, O štokavskim govorima na Hvaru i Braču, «Zbornik radova», стр. 379—395.

⁴ М. Московлевич, Говор острва Корчула, «Српски дијалектолошки зборник», књ. XI, Београд, 1950, стр. 153—223.

⁵ Ј. Ham, Štokavština Donje Podravine, «Rad», knj. 275, 1949, стр. 5—70.

⁶ С. Pavičić, Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji, «Djelat» [Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti], 47, Zagreb, 1953, стр. 356.

⁷ М. Стеванович, Икавачки говор, «Српски дијалектолошки зборник», књ. XI, стр. 1—152.

⁸ А. Белић, Из српскохрватске акцентологије и дијалектологије, ЈФ, т. XIX; стр. 117—131; С. Ivšić, Iz naše akcentuacije i dijalekatske problematike, «Zbornik radova», стр. 359—378; Р. Бошковић, О једној акцентској особини дијалектата Западне и јужне Истре, «Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор», књ. 20, св. 3—4, Београд, 1954, стр. 229—259.

частным, главным образом сербо-хорватского языка. Подбор и содержание публикуемых в нем научных статей, множество рецензий о важнейших трудах по славистике, а также образцово полная библиография всех языковедческих работ, выходящих в Югославии, давно завоевали всеобщее признание ученых-славистов.

Более частные вопросы современного сербо-хорватского языка — грамматика, лексика, орфоэпия и культуры речи — обсуждаются на страницах журнала «Наш язык» («Наш језик») — органа Института сербского языка Сербской АН (с 1949 г. выходит новая серия — 3 номера в учебный год). Тот же характер имеет и загребский журнал «Язык» («Језик») — орган Хорватского филологического общества (выходит с 1952 г., 5 номеров в год). Вопросам грамматики и методики преподавания языка посвящена значительная часть журнала «Литература и язык в школе» («Књижевност и језик у школи», Белград — выходит с 1954 г. шесть номеров в год). В Боснии и Герцеговине издается заслуживающий серьезного внимания журнал «Вопросы современного литературного языка» («Pitanja savremenog književnog језика»; выходит с 1949 г., по одному выпуску в год); в 1954 г. он расширил свою тематику и принял заглавие «Вопросы литературы и языка» («Pitanja književnosti i језика»), став органом кафедры югославской литературы и сербо-хорватского языка философского факультета в Сараеве. Старославянский институт в Загребе при Совете по просвещению, науке и культуре правительства Народной Республики Хорватии имеет свой постоянный орган «Слово» («Slovo») — журнал, посвященный вопросам старославянского языка и древнехорватской, преимущественно глаголической письменности (выходит с 1952 г.; один-два номера в год).

Что касается неперIODических изданий типа ученых записок, то из них прежде всего следует упомянуть широко известную серию «Трудов» Югославянской академии в Загребе («Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti»), имеющую свой отдел по филологии (до 1951 г. — отдел языка и литературы), где помещаются труды по языкознанию и серия «Труды» («Djela») той же академии, в которой выходят отдельные большие монографии. Сербская академия наук публикует монографии в серии «Отдельные издания» («Posebna издања») в ученых записках «Глас» («Глас Српске Академије наука. Одељење литературе и језика, с 1951 г. выходит новая серия), диалектологические труды — в «Сербском диалектологическом сборнике» («Српски дијалектолошки зборник»), сообщения и рефераты в историко-филологическом разделе «Вестника Сербской академии наук» («Гласник Српске Академије наука»). Научное общество Боснии и Герцеговины издает свою серию «Трудов» («Radovi [Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine]») с отделом историко-филологических наук, наконец, Старославянский институт в Загребе имеет также свои «Труды» («Radovi Staroslavenskog instituta»).

Лингвистические работы публикуются часто в сборниках новосадской «Матицы сербской» («Зборник Матице српске за књижевност и језик»), в сборниках Загребского университета («Zbornik radova [Filozofskog fakulteta Sveučilišta i Zagrebu]»), Белградского университета («Зборник Филозовског факултета») и в периодическом издании кафедры истории югославских литератур и кафедры живых языков и литературы философского факультета в Белграде «Материалы по литературе, языку, истории и фольклору» («Приlozi за књижевност, језик, историју и фолклор»). Отметим еще, что отдельные статьи и заметки по сербо-хорватскому языку нередко появляются также в педагогических, археологических, этнографических и исторических журналах и сборниках.

И. И. Толстой

Вопросы изучения русского языка. Сборник лингвистических статей. Под ред. Х. Х. Махмудова. — Алма-Ата, Изд-во АН Казах. ССР, 1955. 475 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Казах. ССР. Кафедра русского языка Казах. гос. ун-та им. С. М. Кирова.)

Рецензируемый сборник подготовлен в результате сотрудничества коллективов Института языка и литературы АН Казахской ССР и кафедры русского языка Казахского гос. университета им. С. М. Кирова. Сам по себе выход в свет в Казахстане, бывшем ранее одной из самых отсталых окраин царской России, большого и капитально подготовленного труда, посвященного изучению ряда актуальных проблем теории и истории русского языка, заслуживает всяческого внимания и поощрения, как факт, свидетельствующий о росте в стране новых очагов филологической науки, о росте новых, хорошо подготовленных научных кадров филологов-русистов.

Книга открывается вступительной статьей Х. Х. Махмудова — ответственного редактора сборника (стр. 3—10). Затем идет ряд статей, каждую из которых мы коротко рассмотрим.

Статья Х. М. Сайкиев в «Конструкции с винительным падежом в современном русском языке» (стр. 11—66), как и последующие статьи А. А. Коки, Е. А. Седельникова, В. М. Никитевича, по объему, широте охвата материала и по своей структуре имеет монографический характер. В статье с большой полнотой и тщательностью описываются значения винительного беспредложного и винительного с предлогами в современном русском языке, содержится ряд интересных и ценных наблюдений над изучаемыми конструкциями. Применение метода сплошной выборки позволило автору, использовавшему очень большой материал русской классической и советской литературы, дать наиболее полное из всех представленных в лингвистической литературе описание конструкций с винительным падежом. Х. М. Сайкиев в ряде случаев выделяет и описывает значения этих конструкций, до него в литературе не отмечавшиеся. Весьма ценным является проводящееся в статье установление употребительности тех или иных конструкций с винительным падежом в современном русском языке.

Однако в отдельных случаях определение значений конструкций вызывает возражения. Так, автор полагает, что приглагольный винительный падеж в предложении *С. А. Н. Шабриным, разумеется, виделся я каждый день* обозначает повторность действия. Между тем повторяемость действия здесь выражается не винительным падежом имени, а определением *каждый*. Что касается значения винительного падежа имени, то он обозначает время, неполностью занятое глагольным действием: *виделся* в какое-то время каждого дня.

Значение винительного падежа в предложении *Он еще раз сосунулся из кибитки* автор квалифицирует как значение «повторяемости и последовательности явлений» (стр. 16). Между тем и в этом примере повторяемость и последовательность явлений обозначается не формой винительного падежа *раз*, а формой *еще*. Нельзя согласиться и с тем, что сочетания «типа *съел кучу пирогов, набрал корзину ягод* и т. д. в предложении выступают как обстоятельство меры» (стр. 17). Некоторые неточности такого рода можно было бы отметить и в определении значений предложных конструкций. Например, на стр. 31 Х. М. Сайкиев определяет как «направление движения внутрь чего-нибудь» значение конструкций типа *вступить в статскую службу, вступить в военную службу* и т. п. Совершенно необоснованным является и сведение всех причин развития синтаксического строя к утверждению о том, что «отмирание старых и появление новых языковых явлений объясняются нами сдвигами в нормах сознания, которые возникли в результате изменения общественных отношений» (стр. 63). Прежде чем объяснить сдвигами в нормах сознания сдвиги в нормах языка, надо установить, какие именно сдвиги автор нашел в развитии сознания и как они связаны со сдвигами в языке. Без этого ссылки на сдвиги в нормах сознания как на причину развития грамматического строя языка не имеют научного значения. Х. М. Сайкиев кое-где в работе делает исторические экскурсы, давая сравнение современного состояния изучаемых конструкций с древнерусским. Но эти эпизодические экскурсы явно недостаточны. Большая историчность в подходе к изучаемым явлениям только увеличила бы ценность статьи.

В целом работа, несмотря на присущие ей отмеченные и некоторые другие недостатки, безусловно является весьма интересной и ценной с точки зрения как теоретической, так и практической (она послужит, несомненно, полезным пособием и для изучающих русский язык, и для преподавателей).

Статья А. А. Коки «Конструкции с временным значением в современном русском языке» (стр. 67—111) по своему описательному характеру близко примыкает к предыдущей. Автор на широком фактическом материале современного русского языка (от Пушкина до наших дней) рассматривает все те надежные и предложно-надежные конструкции, которые обозначают временные отношения. Материал располагается по падежам: родительный, винительный, дательный и творительный без предлогов и с предлогами, а также предложный падеж. В работе уделяется большое внимание специфике построения рассматриваемых конструкций. Автор стремится уяснить взаимосвязь и взаимодействие лексических и грамматических значений в структуре словосочетаний.

При характерной для статьи большой тщательности в определении различного рода временных значений и их оттенков она не свободна от некоторых ошибок и фактических неточностей. Так, на стр. 71 автор говорит: «Момент времени может выражаться конструкциями с предлогом *с* в сочетании с другими предложными конструкциями, главным образом винительного имени с предлогом *на*, например: *Иным из них случилось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник* (П). *С утра на полдень ехал он...* (А. Тв.)». Примеры здесь явно не соответствуют определению. Первой конструкцией обозначается, конечно, не «момент времени», а действие длительное, заключенное в отрезок времени, названный предложными оборотами. Во втором случае к временной конструкции относится только *с утра ехал*, а *на полдень* (т. е. «на юг») обозначает направление движения. Можно было бы привести и еще ряд подобных неточностей.

Особое место в работе занимает VI раздел, посвященный синтаксической сино-

нимике в кругу словосочетаний с временным значением. Это особенно интересная часть статьи, тем более что проблемы синтаксической синонимии в современном русском языке еще слабо изучены. На стр. 104 автор дает определение синтаксических синонимов: «К синтаксическим синонимам мы относим такие конструкции..., которые по своему значению могут совпадать или отличаться друг от друга индивидуальными оттенками определенного значения, но грамматически они должны всегда иметь ярко выраженные различия». Не касаясь других неточностей этого определения, отмечу, что нельзя считать правомерным отнесение к синонимам синтаксических конструкций, полностью совпадающих по значению. Далее, на стр. 105, синонимами считаются обороты *тот же день (стал он хлопотать об отпуске)* и *в тот же день (дошел до Кирилы Петросича)*. Очевидно, что эту пару нельзя считать синонимической, ибо винительный беспредложный в таком значении в современном нам русском языке уже не употребляется, будучи вытеснен именно вторым оборотом в данной паре. Следовательно, в этом случае мы имеем дело не с синонимикой, а с явлением прямо противоположного характера, когда члены пары синтаксических конструкций находятся не в позиции взаимного дополнения и согласования, а в позиции взаимоисключения.

При определении синонимичности тех или иных конструкций А. А. Кока ограничивается установлением общности их значений, не выявляя в каждом отдельном случае тех оттенков, которыми они различаются. Например, не показаны различия оттенков в оборотах *перед сечером — под вечер — к сечеру* (стр. 109), как и в других подобных случаях.

В общем же эта работа — серьезное лингвистическое исследование, имеющее, как и работа Х. М. Сайкиевой, не только теоретическую, но и определенную практическую ценность. Статья может быть использована в качестве пособия и преподавателями, и учащимися.

Статья Е. А. Седелникова «Беспредложные конструкции с творительным падежом в древнерусском литературном языке» (стр. 112—178) посвящена вопросам исторического синтаксиса — одного из наименее разработанных разделов науки о русском языке. Этот факт, в соединении с новизной подхода ко многим явлениям исторического развития словосочетаний и приемов исследования, должен вызвать определенный интерес к работе со стороны историков языка. Она строится на анализе большого фактического материала, извлеченного из письменных памятников древнерусского языка XI—XVII вв.; в ней имеется большое количество ценных наблюдений.

Автору удалось показать историю беспредложных конструкций с творительным падежом в ее динамике — выделить устойчивое и исторически изменчивое, показать рост и развитие одних функций и, напротив, угасание и постепенное отмирание других. Е. А. Седелников стремится также рассматривать историческое движение каждой конструкции с творительным падежом не как самодовлеющее, изолированное от всех других фактов языка явление, а как явление, органически связанное с другими и с ними взаимообусловленное. Это позволяет ему в ряде случаев прийти к правильным, вполне обоснованным выводам.

Положительно следует оценить и попытки автора выяснить причины, вызвавшие отмирание некоторых функций творительного беспредложного. Эти причины, как считает Е. А. Седелников, будучи во многом своеобразными в каждом конкретном случае, в основе своей порождены многозначностью творительного беспредложного, перегруженностью его различными грамматическими значениями, что зачастую порождало случаи, когда одно и то же словосочетание оказывалось носителем сразу нескольких разнородных значений. Автор правильно считает, что перегруженность творительного беспредложного различными значениями могла приводить и приводила к затруднению взаимопонимания в процессе общения. Объективная необходимость достижения более точного и правильного взаимопонимания неизбежно проявляется в замене некоторых сочетаний с творительным беспредложным другими способами выражения данных отношений, более совершенными, лучше отвечающими потребностям общения.

Одним из недостатков статьи является то, что автор, может быть, желая избежать увеличения объема работы, не всегда в достаточной мере подробно останавливается на описании значений тех предложноподлежащих и подлежащих конструкций, которые он рассматривает в качестве параллельных творительному падежу беспредложному, считая эти факты как бы само собой разумеющимися, априорными. Между тем в некоторых случаях следовало бы установить и доказать, что данные предложные конструкции выражают именно те значения, которые усматривает в них автор. Например, на стр. 148—153 следовало бы уточнить различные оттенки и причинного значения в конструкциях с родительным падежом и предлогами *от, из, для, ради* и др. и в конструкциях с дательным падежом и предлогом *по*. Не всегда в одинаковой степени учитывает Е. А. Седелников и влияние лексического значения управляющего слова на грамматическое значение данного словосочетания. В одних случаях, например в оборотах с творительным орудия и средства, эта зависимость рассматривается весьма тщательно, в результате чего обнаруживаются интересные подробности, в других

же случаях, например в оборотах с творительным причини, лексическому значению управляющих слов-глаголов почти не уделяется внимания.

Однако при всех этих и некоторых других недостатках статья Е. А. Седельникова безусловно заслуживает внимания, тем более что она вводит в научный оборот большое количество свежих и ценных материалов. Являясь во многом теоретическим исследованием, она вместе с тем может служить и хорошим пособием для преподавателей и студентов.

Статья В. М. Никитевича «Некоторые модальные функции глаголов изъявительного наклонения в современном русском языке» (стр. 179—227) построена на широком материале из художественно-литературных произведений русских классиков и советских писателей. В. М. Никитевич стремится показать в своей работе, что модальность в глагольных предложениях — это категория, устанавливающая связь между подлежащим и сказуемым и отношение этой связи к действительности. Автор выявляет значительное богатство и многообразие способов выражения отношения к действительности, присущих формам глаголов изъявительного наклонения в качестве сказуемых, и проводит разграничение модальных значений возможности (невозможности), необходимости, неизбежности, долженствования и их оттенков, отмечая вместе с тем зависимость возникновения этих модальных значений и их оттенков от временных и личных глагольных форм или от характера связи действия с субъектом.

На стр. 226 автор правильно утверждает, что «морфологического выражения оттенков предположения, как такового, в сущности, нет». Однако он не делает соответствующих оговорок в отношении способов выражения других модальных значений. Вследствие этого оказывается неясным, рассматривает ли автор для форм изъявительного наклонения модальность как категорию, находящую грамматическое выражение, или же нет, хотя во вводной части В. М. Никитевич в качестве одной из основных своих задач считает необходимым «выявить грамматическую обусловленность модальных значений и их оттенков в глаголах изъявительного наклонения...» (стр. 181).

Однако наблюдая за употреблением глагольных форм изъявительного наклонения в разных предложениях, автор делает вывод о том, что в некоторых случаях глагол обозначает возможность или невозможность действия, лишь на основании языкового чутья, например *Смелость города берет*, т. е. «может брать» (стр. 119); *Правда в огне не горит*, т. е. «не может гореть» (стр. 201). В. М. Никитевич не учитывает того, что для доказательства наличия модального значения той или другой глагольной формы изъявительного наклонения необходимо исследовать объективные критерии, а не ограничиваться субъективным ощущением.

Приводимый в разделе «Грамматическая обусловленность модальных оттенков возможности (невозможности) в глаголах изъявительного наклонения» перечень глаголов, которые «в формах изъявительного наклонения имеют оттенки значений возможности (невозможности) обычно всегда и вне зависимости от контекста» (стр. 205), ясно показывает, что наличие этих модальных значений в данных глаголах определяется их лексическим содержанием, а не обуславливается грамматически. В то же время автор не уделяет внимания некоторым явлениям, действительно грамматически дифференцирующим модальность форм изъявительного наклонения (порядок слов, повтор сказуемого, двойное отрицание и некоторые другие). Несмотря на указанные недостатки, следует все же подчеркнуть, что работа В. М. Никитевича представляет собою серьезное исследование, в котором по существу рассматриваются актуальные вопросы модальности в глагольных предложениях.

В статье А. Х. Мищенко «Структурно-семантические разряды публицистической лексики А. И. Герцена» (стр. 228—274) рассматривается лексика произведений Герцена, напечатанных в «Колоколе». Однако автор почему-то не указывает объем исследуемого материала: неизвестно, использует ли он весь комплект этого издания, или ограничивается каким-либо одним периодом.

Построение лексикологических работ имеет у нас уже свою традицию: берется произведение какого-либо автора и лексический состав этого произведения распределяется по рубрикам, количество которых варьируется в зависимости от желания исследователя или каких-нибудь иных соображений. Обычно выделяется лексика бытовая, научная, общественно-политическая и пр. Очень часто состав и границы подобных лексических пластов, выделяемых в лексикологических работах, оказываются трудноуловимыми и неясно очерченными. В значительной мере под влиянием этой традиции находится и А. Х. Мищенко. В самом деле, что следует понимать под «публицистической лексикой»? Каков состав этого лексического слоя, каковы его границы? Каким критерием нужно пользоваться, чтобы определить, относится или не относится данное слово к публицистической лексике? Ответа на эти вопросы работа А. Х. Мищенко не дает, как, впрочем, и большинство лексикологических работ, посвященных лексике того или иного писателя, того или иного литературного произведения.

Беря в качестве объекта исследования неопределенно широкий пласт публицистической лексики, А. Х. Мищенко выделяет в нем следующие, по выражению автора,

«структурно-семантические разряды»: 1) общеупотребительные русские слова, в которых появились новые, публицистические (?) значения (*сзгляд, созрение, друг, борец, здание* и др.); 2) новообразования, созданные при помощи суффиксов (*личность, гласность, чиновничество, мешательство* и др.); 3) словосложение (*самооболение, самосознание* и др.); 4) субстантивированные образования (*новое, старое, красные, белые* и др.); 5) научная терминология, употребляемая в публицистическом значении (*организм, пациент* и др.); 6) интернациональные общественно-политические термины (*социализм, империализм, абсолютизм* и др.); 7) неологизмы Герцена (*газетонашец, людосек, людокрад* и др.).

В результате очевидной разнородности принципов, положенных в основу классификации, общая картина оказывается весьма пестрой и не создает впечатления об исследуемом слое лексики Герцена как о единой системе. В основу классификации положены принципы не существенные, а случайные. Как следствие, часто то или иное слово, фигурирующее у автора в одной из перечисленных рубрик, может быть помещено и в другую. Например, слово *личность* отнесено автором ко второму разряду, но с успехом может быть помещено в первый или в пятый и т. д.

Необходимо отметить, что автор очень добросовестно подошел к выполнению своей задачи, материал, привлеченный им из произведений Герцена, ярок и нов, и работа поэтому читается с интересом. Указанные же выше недостатки, как и ряд других, относясь не только к данной, но к значительному большинству других лексикологических работ, говорят о необходимости выработки строго научных и объективных методов исследования лексики литературных произведений.

В статье Л. Н. Григорьевой «Вставные конструкции в романе Л. Н. Толстого „Война и мир“» (стр. 275—299) на основе рассмотрения большого фактического материала из «Войны и мира» среди вводных слов, словосочетаний и предложений выделяются в качестве особого синтаксического явления конструкции, называемые автором вставными. Л. Н. Григорьева устанавливает отличия вставных конструкций от вводных, заключающиеся, по ее мнению, как в лексико-грамматических, так и в смысловых признаках. Анализ употребления вставных конструкций Л. Н. Толстым, проведенный в работе, показывает, что в качестве вставных могут употребляться все основные типы простых и сложных предложений, а также словосочетаний современного русского языка.

Работы Е. Н. Шиповой «О способах словообразования имен существительных в русском и казахском языках» (стр. 300—335) и В. А. Псенгалевой «О некоторых эквивалентах русских предлогов в казахском языке» (стр. 336—394) посвящены сопоставительному изучению двух разнотипных языков — русского и казахского. В статье Е. Н. Шиповой дается обзор основных типов словообразования имен существительных в современном русском языке, и на этом основании проводится сопоставление со способами словообразования имен существительных в современном казахском языке. В. А. Псенгалева, основываясь на классификации предлогов акад. В. В. Виноградова, на материале произведений русских и казахских писателей прослеживает те способы выражения грамматических отношений, которые в казахском языке соответствуют русским предложным конструкциям.

Как первая, так и вторая статья не представляют собою оригинального исследования в русской своей части. Обе они ждут еще своей оценки со стороны тюркологов.

Кроме рассмотренных выше работ, в сборник включены в качестве «Приложения» статьи Х. М. Сайкина, Е. А. Седельникова, А. А. Коки, В. А. Псенгалевой, В. М. Никитевича и А. Х. Миценко, где освещается история разработки в отечественном языкознании тех вопросов грамматики и лексики, которым посвящены перечисленные выше статьи этих авторов.

Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что положительные стороны сборника «Вопросы изучения русского языка» гораздо более значительны и существенны, чем его недостатки, неизбежные, вообще говоря, в каждой большой и новой по тематике серьезной научной книге. Особо нужно подчеркнуть такую общую положительную сторону всех статей сборника, как обилие фактического материала, исследованного авторами. Нужно отметить также большой труд ответственного редактора сборника Х. Х. Махмудова. В заключение хочется пожелать молодому авторскому коллективу дальнейших успехов в научной работе и в подготовке следующих выпусков лингвистических трудов.

Г. И. Ломтев

РАБОТЫ В. К. МЕТЬЮСА ПО РУССКОМУ И СТАРОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКАМ

Интерес к русскому языку определяет увеличение количества в зарубежной литературе работ, посвященных его исследованию. Эти работы, имеющие как специальный, так и более общий, обзорный характер, не могут не привлечь к себе внимания

советских языковедов. Систематическое ознакомление с подобными работами должно способствовать правильному пониманию их удельного веса в науке о русском языке.

В Англии в последние годы с целым рядом статей, посвященных восточнославянским языкам, выступил профессор Лондонского университета В. К. Метьюс, интересы которого являются весьма разнообразными. В своих работах проф. Метьюс затрагивает вопросы, связанные с историей русского языка, касается особенностей старославянского языка, рассматривает грамматический строй современного русского и украинского языков. Положительной стороной работ В. К. Метьюса является то, что факты языка рассматриваются им во многих случаях в сопоставлении с соответствующими явлениями других языков.

В статье «Источники древнецерковнославянского языка»¹ Метьюс излагает историю возникновения славянских азбук в связи с деятельностью Константина и Мефодия, приводит краткие сведения о памятниках старославянского языка, о их содержании, группировке и изданиях, перечисляет некоторые фонетические, морфологические и лексические признаки, которые учитываются при определении происхождения древнейших славянских рукописей и дают возможность классифицировать их.

Статья носит в целом обзорный характер и не выдвигает новых проблем или концепций. Если автор касается спорных вопросов, он ограничивается изложением существующих точек зрения. Высказываемые им при этом в отдельных случаях собственные соображения представляются слишком субъективными и недостаточно убедительными. Так, не вдаваясь в оценку различных аргументов в известном споре о том, какая из славянских азбук возникла раньше и какая из них связана с деятельностью Константина и Мефодия, автор склонен, однако, считать «психологически» более вероятным, что «более оригинальная из них была также и старшей» (стр. 471). По мнению автора, «человек с таким изощренным филологическим умом», каким был Константин, вернее всего отбросил бы более легкий путь простого копирования греческих букв. Таким образом, с его именем связывается глаголица, а кириллица представляется В. К. Метьюсу созданием «более практического и не столь оригинального ума» (стр. 471).

Ряд статей В. К. Метьюса посвящен истории русского языка. Автор пытается воссоздать фонологическую систему древнерусского языка², привлекая для этого свидетельства других языков: транскрипции восточнославянских слов в греческих и отчасти арабских текстах, а также русские заимствования в финских и балтийских языках.

Следует отметить, что Метьюс не ограничивается отдельными примерами, а стремится привести полностью относящийся сюда материал. В связи с этим работа представляет известный интерес. Автор считает, что в работах Н. Н. Дурново, Г. О. Винокура и Л. А. Булаховского основное внимание сосредоточено на истории языка и поэтому «описание фонологической системы древнерусского языка целиком подчинено накоплению фактов, иллюстрирующих ее развитие» (стр. 107), в то время, как в своей статье он стремится на основании «синхронических и диахронических данных» систематизировать звуки древнерусского языка и приводит таблицы гласных и согласных.

В. К. Метьюс специально останавливается на фонетическом значении *ѣ* в древнерусском языке³. По его мнению, «древнерусский *ѣ* представлял собой фонологический комплекс, варьирующий звучание между фонетическими «пунктами» [e] и [æ], с тенденцией произноситься выше [e] и ниже [æ] в зависимости от фонетического окружения... и особенностей диалектного произношения» (стр. 262). В то же время Метьюс, принимая различное качество *ѣ* в древнеболгарском и древнерусском языке, неоднократно высказывает мысль о тождестве в древнерусском языке XI—XII вв. *ѣ* и *е*⁴. Следует заметить, что в Остромировом евангелии написания *црево* вместо *чрѣво*, которое должно, по мысли автора, иллюстрировать произношение *ѣ* как *е* уже в эпоху древнейших русских памятников⁵, — нет, а отдельные случаи их смешения в древнейших старославянских памятниках русской редакции еще не могут, как полагают, например, Шахматов⁶, свидетельствовать об их совпадении. Что касается написаний

¹ W. K. Matthews, Sources of Old Church Slavonic, «The Slavonic and East European Review», vol. XXVIII, № 71, London, 1950, стр. 466—485.

² W. K. Matthews, The Pronunciation of Mediaeval Russian, «The Slavonic and East European Review», vol. XXX, № 74, London, 1951, стр. 87—111.

³ W. K. Matthews, The Phonetic Value of *jat* in Old Russian, «Revue de Slavistique», III, 1950, стр. 256—262.

⁴ W. K. Matthews, The Russian Language before 1700, «The Slavonic and East European Review», vol. XXXI, № 77, 1953, стр. 371; его же, The Pronunciation of Mediaeval Russian, стр. 97.

⁵ См. «The Phonetic Value of *jat*...», стр. 259.

⁶ См. «Дополнение...» А. А. Шахматова к «Грамматике старосл. языка» А. Лескина (перевод с нем., М., 1890.), стр. 161.

вроде *камѣнь* вместо *камень*, *дѣнь* вместо *день* в памятниках с XII в., главным образом галицко-волынского происхождения, то здесь скорее всего, как было отмечено Соболевским¹, эта замена отражала удлинение *e* перед слогом со слабым редуцированным. Это совпадение *ѣ* и *e* «по крайней мере в севернорусских памятниках» выдвигается В. К. Метьюсом в статье, посвященной древнерусскому произношению², как одна из особенностей древнерусского языка сравнительно со старославянским. Здесь перечисляются и другие особенности, отмечаемые обычно в литературе; не вполне убедительными оказались только примеры, иллюстрирующие исчезновение редуцированных в конце слова: предлог *изъ* и в старославянском мог быть без *ъ*³, а в слове *никѣто* *ѣ* не находится в конце слова.

Описанию особенностей древнерусских текстов сравнительно со старославянскими (древнеболгарскими) посвящены первые страницы и другой статьи В. К. Метьюса «Русский язык до 1700 г.»⁴. Здесь вызывает сомнение утверждение автора об отражении цоканья в Остромировом евангелии. Автор приводит (к сожалению, без указания на листы рукописи) такие примеры: *пецали*, *лице* (?). Не совсем точно указание на то, что в условном наклонении «мы находим формальное различие между древнерусским и древнеболгарским (ср. др.-рус. *неслъ быхъ* и др.-болг. *неслъ бимъ*)» (стр. 375), так как последняя форма встречается только в наиболее архаических текстах старославянского языка. Противоречивым выглядит освещение В. К. Метьюсом возникновения *а канья*. На стр. 383 к особенностям московского говора XIV в. относятся *о* ← *e* перед твердым согласными, *а канье* и *и* вместо *ѣ* (?), а на стр. 385 характерными чертами московского произношения признаны *г* взрывное и *о канье*, причем на следующей странице говорится о том, что в XVII в. московский говор приобрел *акающий* характер.

Укажем некоторые из мелких ошибок (может быть, в некоторых случаях, опечаток). Среди русских нововведений XII в. отмечено (стр. 380) «*язъ* вместо *я*» (*азъ*?). Вряд ли удачным примером тюркизмов, вошедших в русский язык в XIII в. и «обычных в современном русском языке» является слово *там(ъ)га*, приводимое вместо *лошадь* (стр. 378). Непонятно, почему замечание о проникновении в деловой стиль книжных конструкций иллюстрируется примером из проповеди Кирилла Туровского (стр. 376), явно не отражающей этого стиля.

В статье «Современные русские диалекты»⁵ В. К. Метьюс сообщает краткие сведения о лингвистических атласах в Европе и о собирании материалов для атласа русских говоров с 1903 по 1949 гг. Затем следует очерк группировки русских диалектов и отмечаются (без детализации) особенности основных групп говоров. Поскольку работа Метьюса не представляет собой самостоятельного исследования, а является изложением наиболее общих фактов, отмечаемых в русской диалектологической литературе, можно ограничиться только указанием на отдельные неточности. Так, говоря о том, что *о канье* может быть полным и неполным, причем при *н е п о л н о м* *о канье* произносится только под ударением и в первом предударном слоге, автор приводит следующие примеры: «орфографические *рядом*, *пусто*, *хорошо* произносятся соответственно *ʂadəm*, *ʂpustə*, *xəraʂ*» в Ярославской, Владимирской, Горьковской и Кировской областях» (стр. 128). Непонятно, как эти примеры могут иллюстрировать вообще какое-либо оканье (не говоря уже о географическом прикреплении подобного произношения). Неточно утверждение, что одной из фонетических особенностей севернорусских говоров «является произношение орфографического *я* как ударенного, так и безударного, как *e*...» (стр. 129), поскольку здесь не отмечается мягкость последующего согласного. Перазъясненным остается отнесение *и канья* к типам «чистого яканья» («обычно различаются пять типов чистого яканья: сильное, диссимилятивное, умеренное, пессимилятивное и *и канье*»; стр. 135). Не вполне точно охарактеризованы группы говоров (например, восточная группа северных говоров).

Современному русскому языку посвящена статья «Очерк грамматики русского языка»⁶. Автор кратко освещает основные грамматические категории русского языка.

¹ А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, М., 1907, стр. 50—51.

² W. K. Matthews, The Pronunciation of Mediaeval Russian, стр. 97.

³ Ср.: А. А. Шахматов, «Дополнение...», стр. 171; А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. 1, 1951, стр. 158; Ф. Ф. Фортунатов, Состав Остромирова евангелия, «Сборник статей, посвященных... В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности», СПб., 1908, стр. 1439 и др.

⁴ См. W. K. Matthews, The Russian Language before 1700.

⁵ См. W. K. Matthews, Modern Russian Dialects, «Transactions of the Philological Society», 1950, стр. 112—148.

⁶ См. W. K. Matthews, Russian Grammatical Design «The Slavonic and East European Review», vol. XXIX, N 72, 1950, стр. 20—48.

Он начинает статью с вопроса о строе предложения в русском языке (при этом отмечается преобладание двучленного типа, определяющего «грамматическую полярность» предложения с «относительной устойчивостью имени и относительно большей подвижностью глагола»; стр. 29). Освещение частей речи ведется с точки зрения единства в грамматике понятий функции и формы, определяющих с разных сторон одну и ту же «лексему» (стр. 25). Признание организующей роли имени и глагола позволяет, по мнению Метьюса, уловить закономерности грамматического строя русского языка.

Автор солидаризируется с В. В. Виноградовым в том, что в русском языке нет грамматически бесформенных слов. Понимание частей речи и их общая характеристика мало чем отличается от традиционной. Метьюс касается и вопроса о «категории состояния», выражая сомнение в целесообразности выделения данного разряда слов из сферы наречия. Статья носит в общем характер сжатого очерка, не ставящего целью рассмотрение сложных и спорных вопросов русской грамматики. Поэтому основные положения этой небольшой статьи не могут вызвать существенных возражений, — следует, может быть, кратко остановиться только на отдельных ее неточностях. На стр. 27 говорится об «угасании среднего рода»; в этот вывод, в основном правильно отражающий тенденцию общего языка, необходимо внести существенные ограничения по отношению к стилям книжного языка, в котором наблюдается значительный рост отвлеченных существительных на *-ние*, *-ство* и с некоторыми другими суффиксами среднего рода¹.

В. К. Метьюс говорит о том, что противопоставление *casus rectus* и *casus obliquus* находит «идеальное выражение» в «двухформных» (*two-form*) числительных *сто/ста*, *сорок/сорока* (стр. 28). Непонятно, в каком смысле говорится об «идеальном» выражении и имеется ли здесь в виду тенденция развития падежных форм имен? Вряд ли правомерно в общем плане говорить о роде числительных *десять*, *сорок*, *сто* (стр. 29). Непонятно, почему в примерах на «независимое» употребление наречий после *холодно!*, *дорогосамо!* следует *пожар!* (стр. 33). Нужно отметить также, что «рефиктом аориста» В. В. Виноградов считает не такие формы, как «хоть три года скачи» (Гоголь).

В заключение отметим, что в некоторых (хотя и редких) случаях вызывает сомнение перевод русских примеров на английский язык, например, «еще не отошедши служба, а уже чай пьете»².

Статьи В. К. Метьюса в основном имеют обзорный характер. Они свидетельствуют об интересе автора к достижениям науки о русском языке и о его хорошем знании советской лингвистической литературы³. *Т. В. Булыгина и Д. Н. Шмелев*

Словарь иностранных слов. Под ред. Н. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 5-е стереотипное изд. 1955. 856 стр.

Словарь иностранных слов — трудная книга, потому что по существу своему он не ограничен. Он служит для непосредственного объяснения слов и оказывается неполной и краткой энциклопедией; вместе с тем он по традиции остается словарем иностранных языков, но только еще более частичным и неполным. От составителя словаря объяснение *т е р м и н о в* требует энциклопедических знаний, а объяснение *с л о в* — филологического и исторического понимания, а это вряд ли совместимо. Поэтому составитель обычно вынужден смело довериться специалистам по различным областям знаний. Если он к тому же и не лингвист, то что же остается на его долю, кроме формаль-

¹ См. соответствующую поправку В. В. Виноградова к заключению С. П. Обнорского (на которого и ссылается В. К. Метьюс) о нежизнеспособности категории среднего рода в русском языке («Русский язык», М. — Л., 1947, стр. 85).

² См. W. K. Matthews, *Modern Russian Dialects*, стр. 130—131.

³ Специальному обзору развития советской лингвистики за последние 5 лет посвящена статья Метьюса «*Developments in Soviet Linguistics since the Crisis of 1950*» («*The Slavonic and East European Review*», vol. XXXIV, № 82, London, 1955. См. также рецензии Метьюса: на академическую «Грамматику русского языка», т. I (там же, vol. XXXII, № 78, 1953) и т. II (там же, vol. XXXIV, № 82, 1955); на отдельные работы советских лингвистов: Л. Якубинского «История древнерусского языка» (там же, vol. XXXIII, № 81, 1955), А. Ё. Шапиро «Очерки по истории русских народных говоров» (там же), Р. Н. Аванесова «Русское литературное произношение» (там же, vol. XXXIV, № 82) и др.

ной организации словаря, т. е. подачи энциклопедического материала в строгих словарных формах?

Новый «Словарь иностранных слов» выходит уже пятым изданием, а до этого выходил несколькими изданиями под редакцией одного проф. Ф. П. Петрова, так что имеет за собой уже 15-летнюю длительность работы. За это время он только пополнился новыми техническими и научными терминами, которые, естественно, умножаются с каждым годом, но по существу его не улучшают.

В отношении состава терминов упущений немного. Отметим отсутствующие слова: по лингвистике — акцентология, аттракция, графема, аугмент, американистика, англистика (германистика и славистика есть), арабистика, иранистика, китаистика, японистика; индоевропейские, хамитские языки; грамматикализация, этимологизация; по литературоведению — александрийский стих, поэзия; апарте, байронизм, гиперболизм, гипостаза детектив; по истории религии — антихрист, апостол, евангелие (авеста, библия, веды, коран, талмуд, тора имеются), евангелист, Иегова (все другие национальные божества древнего и нового времени представлены), иудаизм, кагал; из церковного обихода — акафист, амсон, аналой, слей, епархия, черей, иконостас, лаера, панихида, серафим, херулум, архангел.

Отсутствуют такие слова, как история, историзм; король; журнал, журналистика; декуршон, вассалитет, европеизация, каталогизация, актуализация, документация, абюзисный, вакхический, сотисный, папирология, архетип, архивист, бухгалтерия, каган (титул хазарских, а затем киевских князей), кабинет, кавалер (шевелёе есть), ольдермен; дрейфусары, караимы, ефрейтор, генерал-адъютант, генерал-аншеф, германофил, германофоб, англоман (галломания есть), рептильный (о прессе), арабские цифры, римские цифры, малярия и др.

Из других областей укажем, например, на отсутствие слов сазелин, сариабельный, вуализировать, граммофон, гидростанция, гильза, дилювий, интерн, персифляж и т. п.

Относительно больше упущений в кругу слов обыденных, например нет слов астра, акация, георгина, мальва, тюльпан; берет, визитка, гамаша, галоши, галуны, гинюр, жакет, жилет, каракул, цыгейка; балык, бёф, бифштекс (антрекот и ростбиф есть), бриошь, брынза, карбонат, кефир, лард, омлет, плое (пилае), рокфор, соус, тефтели, шарлотка, шашлык; эскалон; ай, бренди (виски есть), вермут (абсент имеется), кагор, коньяк, мадера, малага, портвейн, херес; бебе, бильярд, блондин, брюнет, викторина, гамматья, галак, гардероб, гримаса, диктант, дог, дуст, дюйм (взамен есть инч!), жестикуляция, зигзаг, идиотизм, ишак, картонаж, каята, кепи, киоск и т. п.; анорт, кальмил (есть розмарин, дюшес и бергамот), виктория («садовая земляника»), изабелла и т. д.

Такая же небрежность наблюдается и в отношении слов, которые встречаются в русской классической и переводной литературе, например: абрек, абцуг, абшид, альмависа, бальзамический, баталия, баша-бузук, башлык, бекеша, берданка, бонмо, бонтон, бонжур, виктория, гаванна, ганнибалова клятва, гитана, камзол, картель, жарцер, киноварь, киот, муштра, парик, шарлатан и т. д.

Думается, что иностранные слова, встречающиеся у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого, Островского, Чехова, Горького, Маяковского и др., должны обязательно быть включены в словарь, вплоть до картежных терминов «Никовой дамы» и «Войны и мира». А в нем нет ни фараона, так поэтически использованного Пушкиным в «Евгении Онегине», ни шмесса, служащего заглавием повести Лермонтова. Нет знаменитого гоголевского докестона и ряда других подобных старых слов. Это непростительно. Где же читателю искать их значение, как не в «Словаре иностранных слов»?

С другой стороны, наличие слов адантация, администрация, акварель и т. п. не оправдывает отсутствия глагола аданировать, прилагательного административный, существительных администратор и акварелист и т. п. Напротив, всегда можно, как правило, избежать помешения в словарь производных русских форм, таких, как аккумулярование (при аккумуляровать), банальность (при банальный), банкротство (при банкрот), фатовесто (при фати) и т. д. (их очень много в рассматриваемом словаре). Этого требует и логика и своего рода словарная эстетика. При наличии, например, асторизировать, излишне приводить и объяснять асторизированный перевод.

Естественно ввести в словарь собственные имена, ставшие нарицательными или вошедшие в ходячие словосочетания, такие, как донжуан, ловелас и т. д., или геркулесовы столбы, прокрустово ложе. То же следует сказать о поэтических именах: Вахх (Вахус), Киприда, Пипокрена, Клио, Парнас и т. д.; но нет оснований включать в словарь все имена греческой, римской и даже египетской и индийской мифологии. Тем более нет надобности помещать названия планет и созвездий. Почему бы не включить еще и названия материков и островов, гор и рек, и племен и народностей всех эпох? Впрочем, данный Словарь включает имена галлов и антов и даже имя династии Каролингов, а также заглавие двух древнегреческих сочинений — «Анабазисов» (а «Илиады» нет).

Что касается объяснений, то они нередко страдают многословностью, и иногда маловразумительны. Очевидно, составители не стремились к раскрытию понятий по существу и не заботились о точности и правильности выражений. Например:

«**Бустрофедби**... древнегреческое письмо с переменным направлением строки (?): первая и все последующие четные строки пишутся и читаются справа налево, а вторая и все последующие четные — слева направо; при этом форма букв приспособляется к направлению письма».

«**Бутафория**...— 1) предметы сценической обстановки, специально (?) подделанные под настоящие; имеют декоративное (?) назначение; 2) ненастоящие (?) предметы, служащие только для показа или рекламы...».

«**Арбалет**...— метательное (?) ручное оружие — самострел, усовершенствованный лук; арбалет являлся индивидуальным (?) оружием бойца в древности (?); с изобретением огнестрельного оружия вышел из употребления».

«**Гетры**...— теплая одежда (?) надеваемая на ноги поверх обуви и покрывающая их от ступени до колен или до щиколоток».

«**Абсцисса**...— геом. название (?) числа (?), определяющего положение точки на прямой относительно какой-либо другой определенной точки или одного из двух (трех) чисел, определяющих положение точки на плоскости (в пространстве) относительно прямоугольной системы координат».

«**Ордината**...— геом. название одного из двух (трех) чисел, определяющих положение точки на плоскости (в пространстве)...» и т. д.

Понятнее было бы сказать, что *абсцисса* и *ордината* — линейные координаты, определяющие положение точки на плоскости или в пространстве.

«**Акрокефалия**...— форма черепа в виде башни» (?).

«**Вавилонское столпотворение** — 1) библейское сказание о попытке построить в Вавилоне башню до небес; разгневанный бог якобы смешал (?) язык строителей, которые перестали понимать друг друга и строить».

Как неверные определения, укажем:

«**Вакханка**...— жрица *Вакха*; участница *вакханалии*» (на самом деле участница вакхических обрядов и плясок).

«**Вальпургисва ночь**...— 1) ночь под праздник «св. Вальпургии» (надо: др.-герм. богини весны Вальпургии, под 1 мая).

«**Грация**...— 1) миф. у древних римлян — каждая (?) из трех богинь красоты» (и далее приводятся имена греческих Харит!).

Отметим также, что в определении *газа* упущены значения светильного и горючего газа, самые употребительные; *газон* определяется как «площадка, засеянная травой», а не самая трава; *аббат* — как название католического священника во Фрации (на самом деле это духовное звание, чаще всего не связанное с отиравлением культа).

Филологическая и лингвистическая сторона «Словаря иностранных слов», естественно, наименее удовлетворительна. В ряде слов ударение указано неверно, например, в словах *артикула*, *бекон*, *деспотия*, *ликвидус*, *сатюра*, *сффикс*. Плохо обстоит дело с объяснениями происхождения слов. Приведем для примера: *аерал* производится от английского выражения (вместо голландского); *автоклав* — от лат. *clavis* «ключ» (вместо греч. *clao* «руну»; *адмирал* — от араб. *amir al-bahr* «властитель на море» [вместо голл. (под влиянием лат. *admirabilis*) < араб. *amir a ali* «высший командир»]; *азот* — от греч. *a + zoos* «живой» (вместо франц. < греч. отрицат. *a + zōtos* «нежизненный»); *александрит* — от соб. греч. (вместо: в честь Александра I); *банкрот* — от итал. *bancorotto* (вместо нем. от итал. *bancarotta*); *батарея* — от франц. *batterie* (вместо итал. *battarea*); *бойкот* — от англ. *boycott* (вместо по имени капитана Бойкота, навлекшего на себя ненависть ирландских крестьян в 1880-х годах); *гортензия* — лат. *Hortensia* (вместо: англ. собственное имя); *Уппокрена* — лат. *Hippocrene* — греч. *hippi krēnē* (вместо греч. *Hippokrēnē* < *hippos* «конь», *krēnē* «источник»); *кают-компания* — от швед. *kajuta* «каюта» + франц. *compagnie* «общество» (вместо голл. *kajut-kompanje*); *лафет* — от франц. *lafette* (такого слова нет и не было; надо: нем. < франц. *l'affut* «стойка, онора») и др.

Но указания на происхождение слов даются очень редко. Гораздо чаще «Словарь иностранных слов» ограничивается приведением непосредственного оригинала, без всякого объяснения, как, например, слова *перл*, *перламутр*, *перлвейс*, *перлинь*, *перлит*, *пермаллой*, *перманентный* и т. п. Иностранная транскрипция мало нужна читателю сама по себе. Собственное, основное или буквальное значение слова несравненно было бы ценнее. Например: *апельсин* — из нем. < голл. «китайское яблоко»; *аметист* — из греч. «не пьянящий» (так как, будто бы, предохранял от опьянения); *апломб* — из франц. «по свинцу» (т. е. по отвесу), «ровно, хладнокровно»; *галантерея* — из франц. «предметы, которых требует любезность, ухаживанье», ср. *галантный*; *манекен* — из франц. < голл., «человечек»; *мигрень* — из франц. < греч. «подголовы» (в которой сосредоточена боль); *перл* — из франц. < лат., «грушечка» (по форме); *перламутр* — из нем. «матка жемчуга»; *перлвейс* — из нем. «жемчужно-бе-

лый»; *трюм* — из голл. «(свободное) пространство (между днищем и жилыми помещениями корабля)»; *трюмо* — из франц. < голл. «пространство (между окнами)»; *шедевр* — из франц. «главное (заключительное) изделие (за которое подмастерье получал звание мастера в средневек. цеховой организации)»; *фокус* — из нем., выкрик фокусника, пародировавшего возглас католического священника при совершении мессы: «не есть тело (мое)».

Досадное впечатление вызывает отсылка в словаре к другому термину без всякого объяснения, например: *арго* — то же, что *жаргон* (кстати, это вовсе не одно и то же); *ажитаж* — ...2) то же, что *ажитация* (надо бы сказать, что неправильно употребляется вместо *ажитация*); *альпакс* — см. *силумин*; *антимоний* — то же, что *сурьма* и т. д. Излишни также в определениях слова «название» и «обозначение» и т. д.; например: *аниалусс* — общепринятое название..., *абсцисса* — геом. название..., *авиатика* — устаревшее название...; *адажио* — муз.: 1) обозначение...; 2) название...; *воляж* — 1) старинное название... и т. п. Но ведь в словаре и представлены главным образом термины, названия, зачем же эти вводные формулы?

Составители предпосылают тексту четыре столбца сокращений, в том числе характеристик употребления слова: «вульгарное», «ироническое», «разговорное», «устаревшее». Но они чрезвычайно редко этими пометами пользуются. В результате утрачивается оттенок значения или применения слова. Например: *реприманд* — «выговор»; *респект* — «почтение, уважение»; *ирритация* — «раздражение»; *авантаж* — «выгода, польза»...; *ламентация* — «жалоба, сетование»; *суггестия* — «внушение». Это чересчур лаконично, отсутствие стилистических помет обедняет слова и приводит к неверному их употреблению. Редко указывается и специальный характер слова. Так, с характеристикой «историческое» дано чуть ли не единственное слово *кордегардия* (а, например, при *жакерия* ее нет).

Несмотря на все эти обычные и типичные недочеты, «Словарь иностранных слов» остается солидным, хотя и трафаретным изданием, полезным справочником. Но не пора ли нам иметь подобный словарь другого типа? По самому существу своего материала он должен быть не просто справочником, но цельной, интересной, познавательной книгой. Слова имеют свою историю. Всякое заимствованное слово отражает определенный момент в истории общественного и культурного развития, является своего рода историческим свидетельством. В большинстве оно имеет интернациональное хождение, так что словарь иностранных слов является практически интернациональным, универсальным словарем науки и техники, идеологии всего мира, инвентарем идей, открытий и изобретений всех времен и народов. Естественно подавать этот материал в таком историко-культурном плане. Словарь иностранных слов не может быть только сухим и механическим каталогом терминов, он должен быть идейно направленной, живой исторической книгой о культурном прогрессе и культурном обмене.

Мы можем теперь установить для большинства терминов и время, и обстановку их появления, и ход их распространения, и даже авторов наименований. Мы можем объяснить, почему то или иное понятие и изобретение получило то или другое название. Внося эти моменты в словарь, мы вольем в формальные определения живую действительность и творческую мысль, создавшую вещь и давшую ей имя. Без этого словарь останется бездушным, как перечень телефонных абонентов.

Уже филологическая история слова дала бы не только объяснение, как оно пришло к нынешнему значению, но указывала бы и идейно-историческую обстановку этого процесса. Например, *алкоголь*, средневек. лат. *alcohol*, VIII в., «вишый спирт», в представлении алхимиков тончайшая суть вина (ср. *спирт* < лат. *spiritus vini* «дух вина») < араб. *al kol* «тончайшая сущность вещества, собственно тонкий порошок (сурьмы) для окраски бровей и ресниц»; *эликсир*, средневек. лат. *elixir*, XIII в. — «чудодейственное питье, сохраняющее молодость», первоначально «философский камень, будто бы способный превратить свинец в золото» < араб. *el iksir* «тончайшее вещество» < греч. *xeros* — «сухой (порошок)»; *эссенция*, средневек. лат. *essentia*, XV в. «сущность (вещества)», большая или меньшая степень очищения и концентрации вещества перегонкой и т. п. В частности, *квинт-эссенция*, собственно «пятая эссенция», — высшая, чистейшая суть вещества; *констелляция* (лат. *constellatio* < *con-* = *co-*, *stella* «звезда, светило») означало в поздней античности и в средние века положение планет (в момент рождения, принятия важного решения и т. п.), служившее основанием для предсказаний астрологов, воображавших, что оно предопределяет ход событий и судьбу человека; *электричество* из новолат., первоначально способность некоторых тел при трении притягивать легкие предметы (в XVII в. употреблялся и термин «электромagnetизм») < греч. *elektron*, янтарь (обладавший этим свойством). К новому значению термин пришел после открытия гальванизма (1790 г.), химического возбуждения тока в вольтовом столбе.

Традиционные словари иностранных слов загромождены механическим конгломератом специальных терминов, из которых добрая треть представляется сомнительной. Зачем даже очень культурному читателю знать сотни названий всевозможных минералов, сплавов и смазочных масел; сотни названий химических соединений,

сотни названий всяческих организмов вплоть до вши, паразитирующей на китах, — десятки терминов торгового права капиталистических стран, буквально все типографские технические термины? Даже читатель очень широкого кругозора не встретит и сотой доли их за всю свою жизнь. А специалисту той или иной области они известны и без того, а если неизвестны, то он, наверное, не будет их искать в таком словаре.

Словарь массовых тиражей (в общем, наверное, более чем миллионного) не должен быть словарем научных и технических терминов. И вообще вряд ли целесообразен словарь, который охватывал бы все области знания на уровне специалистов. Для этого нужны особые словари по главнейшим отраслям знания. И, конечно, они тоже должны быть построены под историческим углом зрения, как век развития науки. Массовый же словарь должен сосредоточиться на терминах, которые нужно усвоить каждому образованному человеку, на понятиях идейного и принципиального значения, на словах, которые каждый встретит в отечественной и переводной литературе и прессе, на терминах, которые вошли в основной фонд нашего образования. Вместе с тем в этот словарь нового типа нужно было бы ввести все иностранные слова, встречающиеся в русской литературе с конца XVIII в., включая даже такие редкие словечки, как пушкинское *аманде*, тургеневское *авантюрьерка* или лесковское *антукка*. Такой словарь служил бы полезным пособием при чтении наших писателей. Вместе с тем он давал бы наглядную картину отражения в русском языке возникновения, смены и развития новых интересов и вкусов в общественной жизни. Пусть это будет не 20 тысяч терминов, а только 8 тысяч, но это будут настоящие слова, а не просто памятные знаки; это будет 8 тысяч творческих идей, 8 тысяч страниц истории культуры.

Б. Казанский

ЯПОНСКИЙ «СЛОВАРЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ»¹

В марте 1944 г. в Токио было образовано Общество отечественного языкознания (Кокугогаккай), объединившее ученых языковедов и педагогических работников всей Японии. Численность этого общества нам неизвестна, но судя по тому, что вошедшее в него Японское диалектологическое общество (Нихон хогэнкай), существовавшее с 1928 г., объединяло около 500 человек, масштабы его должны быть значительными. С 1948 г. общество издает поквартально лингвистический журнал «Кокугогакку» («Отечественное языкознание»), а в 1955 г., в ознаменование 10-летия своей деятельности, оно издало лингвистический словарь, или скорее лингвистическую энциклопедию, «Кокугогакку-дзитэн», который и является предметом настоящей рецензии.

Редакционную коллегию словаря возглавил представитель правления общества Токисада Мотоки — один из ведущих современных японских грамматистов. В составлении словаря приняло участие 188 авторов (7 из них занимались только приложениями, о которых речь будет особо); в числе их находим таких крупных специалистов по японскому языку, как Кобаяси Хидэо, Сакума Канэо, Хаттори Сиро, Ямада Ёсиро, Ёсидзэна Ёсинори.

С первого взгляда обращает на себя внимание объем словаря: в нем 1250 страниц убористого японского текста, что и переводе на наш шрифт составляет более двухсот печатных листов. Знакомление со словарем приводит к заключению, что богатство его содержания даже превышает то, на что позволяет надеяться объем. Это достигнуто благодаря превосходно составленному словнику и содержательности статей при их лаконичности; статьи написаны с большим знанием предмета, изложение носит чисто информационный характер без субъективных оценочных моментов (как указано в предисловии, такой характер статей составлял одну из задач редакции). Все статьи даны с подписью авторов.

Содержание словаря легко поддается обзору благодаря помещенному в начале списку основных статей, составленному по тематическим разделам. Эти разделы следующие: I. 1) «Японский язык в целом, изучение японского языка в целом, смежные науки»; 2) «Языкознание»; 3) «Фонетика»; 4) «Письменность»; 5) «Грамматика и стилистика»; 6) «Лексика и семантика»; 7) «Диалекты и лингвистическая география»; 8) «История японского языка»; 9) «Речевая практика»; 10) «Отдельные вопросы, касающиеся японского языка»; 11) «Преподавание японского языка»; 12) «Художественная литература». II. «Языковедческая литература». III. «Personalia». В каждой статье под заглавным словом имеется указание, к какому из этих разделов она относится.

¹ «Кокугогакку-дзитэн», Кокугогаккай-хэн, Токёдо, Токио, 1955. Термин «кокугогакку» означает не вообще языкознание в Японии, а науку о японском языке (кокугогакку дословно: «наука о родном языке»).

Раскроем для примера несколько подробнее содержание некоторых разделов тематического списка. Раздел «Речевая практика» (так мы переводим термин *гэнго-сэй-мэцу*, что дословно значит «языковая жизнь», или «жизнь языка») состоит из трех подразделов: 1) «Общие понятия этого вида изучения языка»; 2) «Устная речевая практика»; 3) «Письменная речевая практика». К первому подразделу относятся такие статьи, как «речевая практика», «речевая деятельность», «культура речи», «техника речи» и т. п.; «действие слов», «магия слова»: «сообщение», «объяснение», «убеждение», «ознакомление» и т. п.; «насмешка», «ирония» и т. п. — общее число основных статей равно 25. В подразделе «устная речевая практика» статьи в списке разбиты на более мелкие части: 1) «Разговор вообще»: статьи «устная речь», «разговор», «искусство разговора» и т. п.; «обмолвки», «пропуски», «повторения», «подчеркивание» и т. п.; «выразительные звуки», «украшающие звуки» и т. п.; «выражение», «умолчание», «непонимание» и т. п. — всего 26 статей; 2) «Монологическая речь»: статьи «монолог», «выступление», «речь», «слово» (приветственное и т. п.), «список» и т. п. — всего 10 статей; 3) «Диалогическая речь»: статьи «диалог», «вопрос», «ответ», «возражение», «приказание», «собеседование» и т. п. — всего 15 статей; 4) «Слушание»: статьи «слушание», «слушающий», «аудитория», «ошибки в понимании» и т. п. — всего 6 статей; 5) «Языковые произведения и игры»: статьи «скороговорки», «загадки», «пословицы» и т. п. — всего 13 статей; 6) «Речевая практика при помощи механизмов»: статьи «телефон», «вещание», «диктор» и т. п. — всего 7 статей; 7) «Кино, театр» — всего 11 статей. К 8-му подразделу под не вполне удачным заглавием «Общество и язык» отнесены статьи *массу комюникэйсён* (термин, восходящий к английскому *mass communication* и иногда употребляющийся в Японии в виде одного слова *масукомю*), *дэма* — «демагогия» и «общественное мнение». В последнем 9-ом подразделе «Язык и верования» объединены статьи «клятва», «заговор», «заклинания» и т. п.; всего в обоих этих подразделах находим 8 статей. Кроме того, в этом подразделе помещена статья «24-часовое обследование речевой практики», обстоятельно излагающая методы такого обследования и результаты нескольких практических опытов его проведения в Японии в 1949—1952 гг.

11-й раздел «Преподавание японского языка» состоит из статей, характеризующих виды преподавания языка, школьные дисциплины, с ним связанные, приемы преподавания по отдельным процессам — разговор, чтение, письмо и т. п., типы и приемы проверки знаний, типы учебников — грамматик, хрестоматий и т. п. Общее число основных статей этого раздела, перечисленных в списке, — более 150 (и ссылочных — более 50).

Как видно уже из этих двух примеров, наличие тематического списка статей дает возможность, ознакомившись со статьями в таком систематическом порядке, составить себе отчетливое представление о всей данной теме в целом. Таким образом, рассматриваемый нами словарь перерастает рамки простого справочного пособия.

О характере словника можно судить, в частности, по разделу «Грамматика». Из японской грамматической терминологии в словник включена лишь та, которая пользуется широким признанием; в него не вошли многочисленные термины, созданные отдельными авторами и не получившие распространения в японской грамматической литературе. Однако при различном истолковании распространенного термина статья излагает точки зрения авторитетных ученых. В то же время в словник включены некоторые термины, относящиеся только к иностранным языкам (например, *бунси* «причастие»); при всех общеграмматических терминах указывается их значение в применении к японскому языку и их соответствия терминам западноевропейского языкознания, которые часто тут же и приводятся. Например *кэйсён* объясняется как обозначение японского предикативного прилагательного и как перевод слова *adjective* применительно к западноевропейским языкам. В разделе грамматики тематический список содержит около 200 основных и 100 ссылочных статей, причем из основных статей на синтаксис приходится всего 25, что характерно для японской грамматики, в которой вопросы синтаксиса встали на очередь относительно поздно и разработаны пока слабо. Ближайшее отношение к этому разделу имеют статьи, характеризующие отдельные крупные труды по грамматике японского языка. Тесно связан с ним и раздел «История японского языка». Все это в целом делает указанные разделы словаря незаменимым руководством для всякого, кто занимается исследованием грамматики японского языка.

Вместе с тем словарь очень удобен для использования его в чисто справочных целях. Разумеется, все статьи расположены в общей алфавитной последовательности. Статьи строятся по определенным типам, отдельные части их снабжены четкими заголовками, что облегчает нахождение нужных сведений в пределах самой статьи. С этой же целью к словарю приложен ряд указателей. Всего приложения занимают 260 страниц, т. е. одну пятую общего объема (тематический список статей в начале словаря занимает 28 страниц, не входящих в общую нумерацию) и представляют большой интерес сами по себе.

Первыми приложениями являются: а) карты: грамотности Японии, охвата радио-

вещанием и т. п.; б) таблицы: звукового (слогового) состава японского языка — по историческим периодам; ударения — по историческим периодам; сприжения — по историческим периодам.

Своеобразное приложение представляют собой 20 таблиц сопоставления различных точек зрения японских ученых по отдельным вопросам грамматики. На каждой из них приведены в кратких формулировках взгляды семи наиболее авторитетных ученых — Ёцуки, Ямада, Мэнсита, Ёсидзава, Ясуда, Хасимото и Токисэда (и дополнительно некоторых других) по следующим вопросам грамматики японского языка: 1) язык и грамматика; 2) единица грамматического изучения (слово и предложение); 3) классификация частей речи; 4—13) отдельные части речи; 14) структура слова; 15) наклонение, залог, позиция; 16—18) предложение, его типы, его состав; 19) вежливые слова; 20) разное. Материал этих таблиц детализирует содержание соответствующих статей, а само расположение в виде таблиц делает очень наглядным то, что при чтении статей могло бы остаться незамеченным.

Далее следует приложение, представляющее собой один из справочников такого типа, на составление которых японцы большие мастера. Именуется оно «Хронология японского языка» и представляет собой хронологический перечень всего того, что имеет отношение к истории самого японского языка, его изучения и его преподавания. Здесь приведены: свыше 100 названий памятников древней и средневековой литературы с краткой грамматической и стилистической характеристикой их языка (занимающей иногда 20—25 строк, а иногда состоящей из краткого указания на первое появление в памятнике какой-либо формы и т. п.¹); данные о деятельности отдельных лиц в области языка и литературы и краткие характеристики заслуг тех, кто занимался изучением японского языка или содействовал его развитию²; значительные труды по грамматике; организационные мероприятия, касающиеся преподавания и изучения японского языка и т. д. Первый факт, указанный в этой хронологии, относится к 285 г. н. э.: «Вани, ученый из царства Кudara, прибыл ко двору, привезя с собой „Лунь-юй“ и „Цянь-цзы-вэнь“ („Нихонсёки“)³. В это время были оживленные сношения с корейским полуостровом, заимствовалась культура и, вероятно, проникал корейский и китайский язык». Последнее помещенное в «Хронологию» сведение относится к маю 1955 г. (словарь вышел в августе этого же года); оно сообщает о выходе в свет 2-го тома книги Итикава Мики и Хаттори Сиро «Обзор языков мира» и толкового словаря «Кодзиэн» Симмура Идзүру. «Хронология» занимает 66 страниц.

Ценным приложением является библиография. Первая ее часть состоит из распределенного по 15 тематическим разделам перечня основных современных языковедческих трудов, вышедших отдельными изданиями. Нужно сказать, что в большинстве статей словаря приводятся библиографические данные, иногда весьма пространные [например, в статье «Язык» названо 27 работ по общему языкознанию, из них 23 иностранных, в том числе «Введение в языкознание» А. С. Чикобава (ч. I) и Л. А. Булаховского (ч. II), и 4 японских]. Таким образом, назначение указанного перечня не столько в сообщении добавочных сведений, сколько в систематизации библиографических данных словаря. В перечне наряду с японскими назван ряд современных общетеоретических западноевропейских и американских работ, причем не только тех, которые имеются в японском переводе (а надо заметить, что, начиная с 30-х годов, в японском переводе были изданы одна за другой работы Ельмслева, Мейе, Огдена, Паули, Балли, Касспрера, Соссюра, Крэмера, Вандриеса, Фосслера, Сэпира, Есперсена, Блумфильда, Трубецкого, Дармстеттера и др.). Вторая часть библиографии включает перечень содержания японских серийных изданий последней четверти века — полные, если серия специально посвящена языку (таких серий имеется 10), или выборочные, если языковедческие статьи составляют часть серии (таких серий издано 8). В третьей части приводится список японских журналов за последние полвека — специально языковедческих и тех, в которых иногда помещаются языковедческие статьи. Кстати, из этого списка явствует, что и настоящее время в Японии выходит ряд специальных лингвистических журналов, из которых основные следующие: «Кокугогаку» («Отечественное языкознание»), «Гёго-кэнкё» («Изучение языка»), «Гёго-сэйкандо» («Речевая практика»), «Кокуго-кэнкё» («Изучение родного языка») и два журнала.

¹ К сожалению, в «Хронологии» не охарактеризован язык тех произведений первой литературы, которые имели большое значение для формирования современного японского литературного языка. Это для японского языкознания не случайность.

² Опять-таки только в древнее время и средневековье. Что же касается авторов нового времени, как, например, Ямада Ёмё (ум. 1907 г.) и Футабатэй (ум. 1909 г.), чья деятельность охарактеризована в самом словаре в статье о движении за единство языка и письменности, то они в «Хронологии» не пользуются таким вниманием, какое уделено, например, Сайгё (ум. 1190 г.) или Камо Тёмэй (ум. 1216 г.).

³ Кudara — японское название корейского царства Пэкче. «Лунь-юй» и «Цянь-цзы-вэнь» — китайские классические книги. «Нихонсёки» — японская историческая хроника VIII в., откуда заимствованы эти сведения.

посвященных проблемам не только языкознания, но и литературоведения — «*Кокугô то кокубунгаку*» и «*Кокугô-кокубун*» (оба названия переводятся как «Родной язык и родная литература»)¹.

Четвертая часть библиографии имеет особый характер: это перечень памятников японской древней и средневековой литературы, которые за последние 25 лет воспроизведены фототипически (ксилографические, литографированные и т. п. издания в расчет не приняты). Составители данной части библиографии предваряют ее указанием, что такие репродукции обычно не поступают в продажу (это так называемые *хибайхин* или *дзотэйхин*) и поэтому список наверняка страдает неполнотой, тем более, что в него включены только издания, проверенные составителями *de visu*, т. е. не включены те, о которых им было известно лишь понаслышке; благодаря последнему за достоверность списка составители ручаются. В перечне указывается название памятника, место хранения оригинала во время изготовления репродукции, год ее изготовления, издатель, комментатор (если издание с комментарием), а также приводятся некоторые технические подробности, касающиеся репродукции. Перечень содержит около шестисот названий. Достоин внимания самый факт такого бережного отношения к национальному культурному наследию — памятникам литературы и языка, но вместе с тем нельзя не пожалеть, что эти ценнейшие издания недоступны большому числу исследователей.

Далее следуют четыре указателя: 1) «Предметный указатель»; 2) «Указатель названий памятников литературы и названий лингвистических работ»; 3) «Указатель имен»; 4) «Указатель иностранных лингвистических терминов» (английских, французских и немецких) с японским переводом.

Из перечня в разделе *personalia* видно, что в словаре даны статьи о некоторых современных иностранных лингвистах (а также о Гумбольдте и Вундте); взгляды их освещаются и в статьях по отдельным вопросам. Уже упоминалось, что как в словнике, так и в статьях в известной мере учитываются термины западноевропейского языкознания. Последний указатель, будучи вместе с тем иноязычно-японским лингвистическим словарем (в нем около 1700 терминов), может быть использован как таковой при чтении иностранной лингвистической литературы на языке оригинала. Таким образом, словарь несколько шире по своему содержанию, чем это указано в заглавии, но, разумеется, с полнотой в нем представлена именно наука о японском языке².

Внешняя сторона издания превосходна. Ясность шрифта, четкость карт (среди них есть цветные), рисунков, сплунков, качество бумаги, изящество и прочность переплета — все это стоит на том высоком уровне, который обычен для японской полиграфии. Несмотря на размер и богатство содержания, «Словарь отечественного языкознания» представляет собой книгу среднего формата, очень удобную в использовании.

При всех неоспоримых достоинствах издания нами были замечены некоторые мелкие погрешности. Например, на стр. 136 в верхнем столбце содержится досадная опечатка: вместо *дзи-но бун* («авторский текст»), там, где этот термин должен впервые быть введен, жирным шрифтом напечатано *та-но бун* («другой текст»). В статье «словари» на стр. 489 в верхнем столбце название одного словаря прочтено *Тэнрэй бансё мэйги* (т. е. по го-оцу), что, повидимому, правильно, но в отдельной статье специально об этом словаре оно же прочтено *Тэнрэй бансё мэйги* (по кап-оцу). На страницах 15, 393, 664 и 667 приводятся ссылки на особую статью о «Тэнпха-тайгайсё», по такой статье в словаре нет, о чем нельзя не пожалеть: эта первая японская работа, касающаяся грамматических явлений, несмотря на свой небольшой размер, представляет известный исторический интерес (о чем говорит и число ссылок на нее).

В предисловии к словарю главный редактор пишет, что «редакционная коллегия... надеется, что словарь принесет пользу специалистам и вместе с тем широко откроет двери в эту науку читателю-неспециалисту. Если эта книга будет использована как пособие по введению в японское языкознание и если она сможет стимулировать дальнейшее развитие данной науки, то можно будет сказать, что половина задач, возложенных на наше общество, выполнена». Нет сомнения, что эти надежды осуществятся. Во всяком случае, ни один советский специалист по японскому языку не сможет в дальнейшем работать полноценно без использования этого бесценного справочника и надежного путеводителя по науке о японском языке в Японии.

¹ Подробнее см. К. А. Попов, «Обзор японских лингвистических журналов», «Советское востоковедение», 1955, № 2.

² Как мы узнали из этого же словаря, в 1940 г. в Японии был издан «Словарь английского языкознания» — «Энгогаку дзитэн», тоже по содержанию более широкий, чем говорит его заглавие: он охарактеризован как общелингвистический словарь на материале западноевропейского языкознания. Редактор его — Итикава Мики, автор всего 8, хотя по размеру он не намного уступает данному словарю. Наличие такого ранее изданного словаря и сделало целесообразным посвятить рассматриваемый словарь в основном науке о японском языке.

В конце нельзя не отметить, что рецензируемый словарь сам по себе качеством своего выполнения свидетельствует о высоком уровне японского языкознания и о наличии в нем многочисленных квалифицированных кадров.

И. И. Фельдман

Gerhard Rohlfs. Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten.— Bern, A. Francke A. G. Verlag, 1949—1954. Bd. I—Lautlehre; Bd. II—Formenlehre und Syntax, Bd. III—Syntax und Wortbildung mit dem Register zu den Bänden I, II, III.

Вплоть до последнего времени общепринятым руководством по истории итальянского языка была изданная в 1890 г. «Итальянская грамматика» В. Мейер-Любке, появление которой составило эпоху в развитии итальянского языкознания¹. Вышедшие значительно позднее книги Ш. Гренджента и М. Пей² не содержат по сравнению с ней ничего принципиально нового. Между тем за 60 лет, прошедших со времени выхода в свет грамматики Мейер-Любке, итальянское языкознание шагнуло далеко вперед. Исследования таких ученых, как Дж. Бертони, А. Скьяффи, К. Мерло, Э. Моначи, Дж. Боттильони, М. Л. Вагнер, Г. Клаусберг, Фр. Шюрр и многих других, внесли существенный вклад в дело изучения итальянских диалектов и литературного итальянского языка. Однако наиболее знаменательным событием этого периода, раскрывшим перед исследователями совершенно новые возможности, было создание К. Ябергом и Я. Юдом в сотрудничестве с Г. Рольфсом, М. Л. Вагнером и П. Шейермейером этнографо-лингвистического атласа Италии и Южной Швейцарии³, в котором впервые были установлены точные географические границы языковых явлений в связи с материальной культурой общества и была дана полная картина сложных взаимоотношений между диалектами.

В свете новых данных классическая грамматика Мейер-Любке во многом оказалась устаревшей: такие разделы, как синтаксис и словообразование, в ней вообще отсутствовали; некоторые гипотезы, выдвинутые Мейер-Любке для объяснения различных языковых явлений, оказались сомнительными или были опровергнуты; данные о диалектах, приводимые в основном из письменных источников, оказались недостаточными. В результате возникла настоятельная необходимость в создании нового руководства по исторической грамматике, соответствующего уровню развития современной науки. Выполнение этой задачи взял на себя крупнейший немецкий романист Герхард Рольфс, автор многочисленных трудов по различным вопросам романского языкознания, ведущее место среди которых занимают его исследования, посвященные итальянскому языку и его диалектам⁴. Самой значительной работой Рольфса в этой области является рецензируемая ниже «Историческая грамматика итальянского языка и его диалектов» — капитальный труд, представляющий собой в настоящее время наиболее полное руководство по всем разделам итальянского языкознания.

Методологические позиции Рольфса сближают его со школой швейцарских лингвистов, основателями которой были К. Яберг и Я. Юд, объединившие достижения лингвистической географии (Жидлерон) с этнографической направленностью исследований Шухардта и Мейер-Любке⁵. Для определения методологических позиций Рольфса большой интерес представляет его работа «Язык и культура», где он выступает против идеалистического направления в лингвистике⁶, возглавляемого К. Фосслером, который, как известно, отыскивал «дух нации» и «дух эпохи» в морфологических

¹ W. Meyer-Lübke, *Italienische Grammatik*, Leipzig, 1890.

² Ch. Grandgent, *From Latin to Italian*, Cambridge, 1927; M. Pei, *The Italian Language*, New York, 1941.

³ K. Jäger, J. Jud, *Sprache- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz*, [Halle], Bd. I—VIII, 1928—1940.

⁴ Г. Рольфсу принадлежит свыше 220 исследований, полный перечень которых приведен в приложении к его книге «An den Quellen der romanischen Sprachen» (Halle, 1952).

⁵ См. работы В. Мейер-Любке и К. Яберга в «Wörter und Sachen» (№№ IX—IX и др.) — центральном органе этого направления, а также книги К. Яберга «Aspects géographiques du langage» (Paris, 1936) и «Sprachatlas als Forschungsinstrument» (Halle, 1928).

⁶ См. G. Rohlfs, *Sprache und Kultur*, Berlin, 1928.

и синтаксических фактах языка, произвольно толкуя их в угоду той или иной предвзятой идее. В противоположность Фосслеру, Рольфе предлагает искать связи между языком и культурой не в области духовного, а в области материального, и не в грамматике, а в лексике языка, тесно связанной с изменениями в общественной жизни народа.

Книга Рольфе состоит из трех томов. Первый том, посвященный фонетике, включает следующие разделы: вокализм, консонантизм и общие фонетические явления (перенос ударения, метатеза, диссимилиация, ассимиляция и пр.); второй том состоит из двух частей — морфологии, включающей разделы о формах имени (Nominalflexion), местоимений (Pronominalflexion) и глагола (Verbalflexion), и первой части синтаксиса, посвященной описанию употребления форм падежей (Gebrauch der Casus), чисел, определенного и неопределенного артикля, а также форм индикатива, конъюнктива, герундия и причастий. Третий том содержит вторую часть синтаксиса, в которой рассматриваются виды глагола (Aktionsarten), употребление форм времен и наклонений в условном периоде, вопросительные предложения, союзы, предлоги и порядок слов, после чего следуют главы, посвященные парениям, отрицанию и числительным; во второй половине третьего тома рассматриваются виды словообразования: словосложение, глагольные и именные префиксы (в алфавитном порядке), именные суффиксы, глагольные суффиксы и бессуффиксальные отглагольные образования существительных.

Представляя собой полное систематическое описание исторической фонетики и грамматики, книга Рольфе, естественно, содержит целый ряд общезвестных положений, на которых нет надобности останавливаться в рецензии. Поэтому обратимся к рассмотрению наиболее важных вопросов, получивших в книге новое освещение.

1. Вопрос о причинах фонетических, морфологических и синтаксических различий между диалектами Северной и Южной Калабрии. В результате анализа современных греческих и итальянских говоров Южной Италии, а также письменных памятников разных эпох Рольфе приходит к выводу, что отдельные области Южной Италии (Терра д'Отранто, Южная Калабрия, сев.-вост. Сицилия), заселенные греками еще со времен Великой Греции, не восприняли латинского языка во времена римского владычества и были романизованы только в средние века¹. Современные диалекты этих областей резко отличаются от диалектов Северной Калабрии и Центральной Сицилии.

Если Северная Калабрия сохранила в своих говорах много архаических черт (например, окончание -s во 2-ом лице ед. и мн. числа, форму лат. *plusquamperfectum cantaveram* > *cantara*, некоторые древнейшие латинские слова, исчезнувшие в остальных областях Италии: *janua* > *jania* вместо *porta*, *cras* > *crai* вместо *domani*)², то, наоборот, диалекты Южной Калабрии, лишенные фонетических, грамматических и лексических архаизмов, имеют много общего с диалектами Тосканы (ср. итал. литер. *goosia* «капля», южно-калабр. *guccia*, сев.-калабр. *gutta*)³. Кроме того, в диалектах Южной Калабрии более отчетливо выражено греческое влияние в лексике и грамматике. Так, в §§ 717, 669, 672 «Исторической грамматики» Рольфе объясняет влиянием греческого субстрата такие грамматические явления, как замену инфинитива дополнительными предложениями, вводимыми союзом *ma* < греч. *ux*; вытеснение сложных прошедших времен формой простого прошедшего законченного (*passato remoto*); неупотребительность конъюнктива (особенно форм настоящего времени); полное исчезновение качественных наречий и замена их флектирующей формой прилагательного (*facisti buoni* — итал. литер. *hai fatto bene*). Таким образом, как показали исследования Рольфе, резкие языковые расхождения между диалектами Северной и Южной Калабрии объясняются поздней романизацией последней.

2. Вопрос о субстрате. Если, как отмечает Рольфе, вопрос о влиянии этрусского и кельтского субстрата не может быть удовлетворительно решен из-за недостатка сведений об этих языках⁴, то сравнительно недавнее вытеснение греческого языка итальянским на юге Италии создает благоприятные условия для изучения взаимоотношений между субстратом и языком-победителем. Исследования говоров Южной Калабрии и их сопоставление с древнегреческим и поногреческим позволило Рольфе обнаружить следующую закономерность, представляющую общезыко-вой интерес: язык вытесняемый оставляет заметный отпечаток на синтаксисе языка вытесняющего, однако фонетика последнего не претерпевает изменений, которые можно было бы с уверенностью отнести за счет субстрата. Исходя из этого, Рольфе отказывается видеть в ассимиляции *nd* > *nn* (*mundus* > *munnu*), характерной для некоторых

¹ См. G. R o h l f s, *Griechen und Romanen in Unteritalien*, Genève, 1924.

² См. G. R o h l f s, *Historische Grammatik...*, Bd. II, §§ 528, 531, 602 и 603 (в дальнейшем ссылки на том и параграфы обсуждаемой работы даем в тексте в скобках).

³ См. G. R o h l f s, *Dizionario dialettale delle tre Calabrie*, vol. 1, Halle, 1932 стр. 15.

⁴ См. G. R o h l f s, *Vorlateinische Einflüsse in den Mundarten des heutigen Italiens*, «An den Quellen der romanischen Sprachen», Halle, 1952, стр. 61 и сл.

диалектов Южной Италии, оскское влияние (несмотря на то, что латинской группе согласных *nd* соответствовала группа *nn* в оскском), так как то же фонетическое явление наблюдается в различных областях Италии, Швейцарии, Гасконии, Северной Франции (т. I, § 253). Базируясь на данных относительной хронологии фонетических изменений, Рольфе приводит также веские аргументы, опровергающие гипотезу Менендеса-Пидаль об оскском происхождении изменения группы *nd* > *nn* в провинции Уэска.

Что касается кельтского субстрата и его влияния на диалекты Северной Италии, то Рольфе полагает, что поскольку в результате совпадения целого ряда изоглосс несколько севернее Лукки и Анконы образуется резкая линия, которая совпадает с границей, отделявшей кельтов от этрусков и италиков, есть основания отнести за счет влияния кельтского субстрата следующие фонетические особенности североитальянских диалектов: 1) апофона конечных гласных (кроме *a*), 2) синкопа предударных и послеударных гласных, 3) упрощение двойных согласных, 4) озвончение взрывных согласных в интервокальном положении и 5) назализация гласных перед носовыми согласными (т. I, §§ 143, 137, 229, 197, 201 и 207)¹. Кельтское происхождение первых двух явлений может быть установлено с наибольшей вероятностью, так как они, по видимому, были вызваны свойственным кельтским диалектам сильным основным ударением в слове. Третья, четвертая и пятая фонетические особенности северных диалектов возводятся Рольфом к аналогичному источнику на том основании, что их географическое распределение полностью совпадает с двумя первыми. Однако часто относимый за счет кельтского субстрата переход латинского *u* в *ü*, наблюдающийся в некоторых диалектах Северной Италии, рассматривается Рольфом как позднейшее явление по следующим трем причинам: во-первых, изоглосса *ü* не совпадает с предыдущими пятью изоглоссами; во-вторых, в самом центре областей, где распространено произношение *ü*, существуют говоры, сохранившие произношение *u*, и, наконец, в-третьих, североитальянские колонии в Сицилии и на юге Италии не знают произношений *ü*. Это последнее, наиболее веское доказательство связано с интересным открытием, сделанным Рольфом в Южной Италии, где он обнаружил (пров. Пичерпо и берег залива Поликастро) неизвестные до тех пор североитальянские говоры (т. I, § 95)². Их изучение и сравнение с североитальянскими говорами в Сицилии привело Рольфа к выводу, что в эпоху норманнского владычества на юге Италии (XI—XII вв.) имела место массовая эмиграция населения из Южного Пьемонта, язык которого сохранился на юге почти без изменений и поэтому представляет собой ценный материал для периодизации целого ряда языковых явлений, в том числе и произношения звука *u* в старопьемонтских говорах. Данное открытие имеет также большое значение для изучения истории Италии, так как нет никаких письменных источников, свидетельствующих об этом переселении.

3. Вопрос о диалектных и иноязычных элементах в литературном языке и о взаимных влияниях итальянских диалектов. Рольфе отмечает, что еще до оформления тосканского диалекта в литературный итальянский язык в Среднюю Италию проникли слова из Северной Италии и Прованса, количество которых было настолько велико, что многие ученые рассматривали их фонетическое строение как исконно тосканское и старались определить условия, вызвавшие особенности их фонетического развития. Например, Мейер-Любке искал причины озвончения интервокальных согласных в положении ударения в слове³. Асколи относил это явление за счет различия надежд, лежащих в основе слов со звонкими и с глухими взрывными согласными⁴. До сих пор некоторые видные ученые (например, К. Мерло, Дж. Боттичелли) рассматривают слова с озвонченными интервокальными взрывными согласными (*lago*, *spada*) как чисто тосканские, а слова, сохранившие согласные *p-t-c* без изменений (*dico*, *amico*, *dito*), как фонетические латинизмы.

Рольфе, основываясь на примерах фонетического развития грамматических форм в итальянском языке (сохраняющих всегда глухие согласные: *parlato*, *parlate*), а также на данных топонимики, придерживается того мнения, что исконно тосканским развитием этих звуков было сохранение их и том виде, в каком они представлены в латыни, озвончение же рассматривает как первый признак их северного происхождения.

Большой научный интерес представляет гипотеза Рольфе относительно северного происхождения дифтонгизации *e* > *ie*, *o* > *uo*, бывший, по выражению Рольфе, «своего рода модным течением» в письменном языке Тосканы (т. I, §§ 85 и 185)⁵.

¹ См. также G. R o h l f s, Vorlateinische Einflüsse... стр. 64.

² См. также G. R o h l f s, La struttura linguistica dell'Italia, «An den Quellen der romanischen Sprachen», стр. 89 и сл.

³ См. W. M e y e r - L ü b k e, Italienische Grammatik, §§ 198 и 208.

⁴ «Archivio glottologico», v. 16, Torino, 1902, стр. 175.

⁵ Правильность этой гипотезы оспаривается В. Вартбургом (W. v. Wartburg) в его книге «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume» (Bern, 1950, стр. 118), где он предлагает рассматривать случаи отсутствия дифтонгизации *e* и *o*

В пользу этого предположения автор «Исторической грамматики» приводит следующие доводы: 1) полное отсутствие дифтонгизации открытых *e* и *o* в некоторых современных говорах Тосканы; 2) отсутствие дифтонга в целом ряде слов итальянского литературного языка (*pecora, prete, lepre, era, bene, pri, pve* и т. п.), значение которых явно свидетельствует об их народном происхождении и, следовательно, фонетическая форма которых не может быть истолкована как фонетический латинизм; 3) неустойчивость дифтонга в языке писателей XII—XIV вв.; 4) распространенность дифтонгизации этих гласных на севере Италии и во Франции. Кроме того, данные относительной хронологии (отсутствие дифтонга в итальянских словах *foglia < folia, mezzo < mediu*) говорят о более позднем появлении дифтонга *uo, ie* в Тоскане, чем во французском языке (т. I, § 85, стр. 157, примеч.).

Помимо элементов североитальянского происхождения, Рольфе указывает также на целый ряд тосканизмов в литературном итальянском языке. Так, например, в говоре Флоренции окончанием имперфекта в 1-ом лице ед. числа служило закономерно развившееся из латыни *a* (*lo cantava* у Данте, Петрарки и Боккаччо), в современном же литературном языке утвердилось окончание *-o*, пришедшее из говоров Лукки и Спены; исконно флорентинский порядок безударных объектных местоимений *Accusativus + Dativus* (*lo me dice*) заменился в современном литературном языке спенско-аретинской нормой *Dativus + Accusativus* (*me lo dice*) и т. п.

На многочисленных примерах прослеживает Рольфе также процесс взаимного влияния диалектов, приводящий к нарушению старых и к возникновению новых морфологических и фонетических норм. Используя данные лингвистического атласа Италии относительно распространения какого-либо языкового явления в пространстве, Рольфе объясняет развитие этого явления во времени, ставя, таким образом, лингвистическую географию на службу истории языка. Так, на основании сохранения на севере Тосканы (Муиджана, Гарфаньяна) множественного числа существительных женского рода, совпадающего по форме с ед. числом (*la sorela* — «сестра» и «сестры»), Рольфе приходит к выводу, что этим диалектам было известно окончание мн. числа на *-s* (т. II, § 363). По его предположению, форма мн. числа на *-us* и *-as* существовала также и во Флоренции, так как отсутствие палатализации корня во мн. числе перед окончанием *e, i* в словах типа *la vacca — le vacche, il fico — i fichi* (ср. *l'amico — gli amici, il medico — i medici*) показывает, что окончания *e, i* в этих словах появились под воздействием аналогии только после того, как закончился процесс палатализации *k* и *g* перед гласными *e, i* (т. II, § 374; см. также аналогичное объяснение отсутствия палатализации *k* и *g* у глаголов I спряжения во 2-ом лице ед. числа в т. II, § 528).

Интересны также приводимые Рольфсом примеры сохранения в современных говорах Тосканы характерных для староитальянского безударных субъектных местоимений (*Roma la 'un fu fatta in un giorno* — «Рим был построен не в один день»; *lui gli era troppo brutto* — «Он был слишком безобразен») (т. II, § 446). Эти примеры указывают на языковые связи Тосканы с Северной Италией, где безударное субъектное местоимение является неотъемлемой частью личной формы глагола и сопровождает глагол, в отличие от французского языка, даже при имеющемся подлежащем: милан. *lù el dorme, lè la dorme*. Во 2-ом лице ед. числа в том же диалекте безударное местоимение употребляется дважды: как проклитика и как энклитика, причем энклитическая его форма приобрела уже характер флексии 2-го лица и отличается от 3-го: *ti te dormet — lù el dorme* «ты спишь — он спит».

Помимо освещения вопросов взаимосвязи между языками и диалектами в «Исторической грамматике» приводятся много новых данных относительно отдельных языковых явлений в старом и в современном языке. Так, например, в разделе «Степени сравнения» (*Steigerung*) Рольфе указывает на своеобразную усилительную форму обстоятельств, образующихся при помощи повторения существительного: *Navigammo riva riva* «Мы плыли (все время) вдоль берега»; *Andammo terra terra da Livorno a Viareggio* «Мы (все время) шли пешком...», где повторение существительного служит для передачи непрерывности и длительности действия (т. II, § 411). Особенно развита эта форма на юге: калабр. *Jiri casi casi* «Ходить из дома в дом»; *Li spiuni vannu mura mura* «Шпионы (все время) идут прижавшись к стене»; *Sti dinari si nni jèru a li taverni taverni* «Эти деньги разошлись по кабакам»; кампан. *Dice la messa matina matina* «Читает мессу каждое утро»; апул. *Vanno paura paura* «Они идут полные страха». Эти формы были найдены Рольфсом также в средневековых южноитальянских латинских текстах. Учитывая распространенность аналогичной конструкции в новогреческом, Рольфе связывает ее развитие в Южной Италии с греческим влиянием.

Интересный материал, освещающий некоторые вопросы исторического синтаксиса, содержится в разделе, посвященном функциям союза *e* «и» в староитальянском и в современном языке (т. III, § 759). Для иллюстрации способа трактовки материала, излагаемого в «Исторической грамматике», остановимся кратко на построении и со-

в Тоскане как фонетические латинизмы или как результат позднейшего стяжения дифтонга.

держании этого раздела. Рольфс отмечает, что в старопитальянском союз *e* «и» имел более широкое и разнообразное употребление, чем в современном литературном языке. Далее следует перечисление многочисленных случаев употребления этого союза для соединения элементов предложения и словосочетания. Так, Рольфс указывает, что в старопитальянском союз *e* мог соединять причастие и прилагательное: *La vigna era bella e zappata*, буквально: «Виноградник был прекрасный и обработанный»; союз *e* употреблялся также для соединения придаточного и главного предложения, даже в случаях наличия подчинительного союза: *Com'ei parlava, e Sordello a se il trasu* (Dante, *Purg.*, 8. 94) «В то время как он говорил, Сорделло повел его за собой». Союз *e*, как показывает Рольфс, мог употребляться вместо условного союза *se* «если»: *Io le volli dare dieci bolognini, ed ella mi s'acconsentisse e non volle* (Boccaccio, *Dec.*, 8. 9) «Я хотел дать ей десять болонских монет, если она согласится, но она не захотела». Аналогичные примеры Рольфс приводит также из современного разговорного языка: *Gli dessero la sua parte ed egli sene sarebbe andato* «Дали бы ему его часть, и он бы ушел».

Рольфс приводит также материалы из современных южных диалектов, где конструкциям личной формы глагола с герундием или инфинитивом литературного языка соответствует сочетание при помощи соединительного союза двух личных форм: вместо литер. *vado a trovare* — калабр. *vaju e trovu*; вместо *sto facendo* — апул. *sto ffazzo* < лат. *sto ac facio*. Употребление сочинительного союза вместо подчинительного как в старопитальянском, так и в современном языке и его диалектах Рольфс связывает со спонтанной аффективной речью, отражающей более примитивную стадию мышления.

Разнообразие материала, приводимого в рассматриваемом разделе, как нам кажется, требует дифференцированного анализа этих явлений в старопитальянском и в современном языке. Выдвигаемая Рольфсом на первый план аффективно-эмоциональная причина возникновения подобных конструкций правильно вскрывает их стилистическую окраску в современном языке, однако не может, очевидно, быть достаточной для определения их грамматической природы в старопитальянском, где они часто встречаются в контексте, полностью лишенном какой бы то ни было эмоциональности.

Вызывает также сомнение устанавливаемая Рольфсом зависимость между распространенностью сочинительных и бессоюзных конструкций в старопитальянском языке и степенью развития мышления.

Переходя к анализу построения раздела о союзе *e*, следует отметить, что богатый и интересный материал излагается Рольфсом без всякой систематизации. Употребление сочинительного союза вместо подчинительного в старопитальянском языке не сопоставлено с другими синтаксическими явлениями этого периода и не поставлено в генетическую связь с нормами современного языка. Подобный способ изложения материала, свойственный большинству разделов «Исторической грамматики», особенно характерен для третьего тома, посвященного синтаксису. Факты старого языка, приводимые вперемешку с данными диалектов и разговорными и письменными нормами современного литературного языка, не способствуют созданию исторической перспективы развития рассматриваемых языковых явлений. Отсутствие описания постепенного развития языковых фактов от старого языка к современному, а также анализа связей между этими фактами в синхронном плане для различных периодов истории языка создает, при чтении книги, впечатление фрагментарности и незавершенности.

Таким образом, наиболее существенным пробелом книги Рольфса является прежде всего недостаточно четкая характеристика языка как системы соотносительных между собой языковых явлений, а также отсутствие описания сменяющих друг друга этапов развития языка. Характерно, что вопрос о времени возникновения литературного итальянского языка и о последующих этапах его развития не находит себе места на страницах «Исторической грамматики».

Наконец, следует отметить еще один существенный недостаток, свойственный второму и третьему томам «Исторической грамматики» Рольфса, на который указывает также Р. А. Холл в своей рецензии на эту книгу¹: сохранение традиционных терминов латинской грамматики, не соответствующих грамматической структуре итальянского языка и приводящих к смешению морфологических и синтаксических явлений. Так, в раздел, посвященный морфологическим формам существительного (*Nominalflexione*), включены параграфы (343—357) о падежах и склонениях, содержащие по существу анализ членов предложения и словосочетания. Нечеткость понимания морфологической структуры слова проявляется и в других случаях. Так, например, формы сложных глагольных времен и заложенные формы рассматриваются не в ряду других грамматических категорий глагола, а среди устойчивых сочетаний причастия II (*Partizipialverbindungen*) с личной формой глагола (т. II, §§ 727—738).

Непоследовательность распределения материала в некоторых параграфах связана также с тем, что при анализе грамматических явлений Рольфс часто основывается только на их значении, не учитывая формальной стороны вопроса. Например, в раз-

¹ См. журн. «*Italica*», vol. XXVIII, № 1, Chicago, 1951, стр. 218.

деле о неопределенных местоимениях (т. II, § 516—520) рассматриваются формы глагола с неопределенно-личным значением (*dicono, si dice*); в разделе о союзах союз *che* «что» описывается дважды — в § 773 среди причинных союзов (*Causale che und ca*) и в §§ 785—786, объединяющих «все прочие союзы».

Содержание и построение всего раздела, посвященного синтаксису, также не отвечает сложившимся в современном языкознании представлениям о предмете изучения этой области грамматики. В указанном разделе Рольфе дает подробное описание значений морфологических форм (перечень которых составляет содержание раздела морфологии); далее следует анализ употребления времен и наклонений в условном периоде, после чего рассматриваются функции предлогов, союзов и порядок слов. Разделы о простом и сложном предложении, а также о членах предложения и словосочетаниях в «Исторической грамматике» вообще отсутствуют, и многочисленные примеры, иллюстрирующие различие форм предложений и словосочетаний в старонитальянском, в современном языке и его диалектах, рассеяны по различным, не связанным между собой, разделам книги.

Все эти недочеты в построении «Исторической грамматики» препятствуют созданию цельного представления о синтаксическом строе как старого, так и современного языка. Однако, каковы бы ни были несовершенства книги Рольфе, богатство и повизна материала и глубокий анализ отдельных языковых явлений делают ее незаменимым руководством для всякого исследователя, занимающегося вопросами итальянского языкознания.

Т. Б. Алисова

Charles Théodore Gossen. Petite grammaire de l'ancien picard. Phonétique — morphologie — syntaxe. Anthologie et glossaire. — Paris, 1951. 186 стр.

Появление книги Ш. Т. Госсена заслуживает особого внимания: это одна из первых книг, посвященных изучению диалекта французского языка как самостоятельной языковой единицы. До сих пор во Франции авторы диалектологических работ ограничивались изысканиями в области какого-либо одного текста, одного фонетического или морфологического явления, изучением языка одного индивида или в лучшем случае одного селения (кантона). В отсутствии диалектологических работ более общего характера, в том числе и сводных работ, как нам кажется, повинна эмпирическая школа Г. Париса и Ж. Жильерона, идеи которой надолго овладели большинством исследователей.

Появление работы Ш. Т. Госсена¹ (ср. также работы Ремакля и Валькофа по валлонскому диалекту) дает нам основание предполагать, что современная французская диалектологическая школа отходит от некоторых установок своих основоположников, делая шаг вперед в понимании диалекта как реальной языковой единицы, имеющей известную сумму свойственных ей языковых черт и определенную территорию распространения.

В первой главе «Маленькой грамматики пикардского диалекта» Ш. Т. Госсена (стр. 21—33), в которой определяется территория распространения пикардского диалекта, приводятся источники для изучения этого диалекта (харты и литературные памятники), ставится вопрос о соотношении пикардского и центральнофранцузского диалектов, а также разбирается вопрос о письменном языке (*la scripla picarde*). Во второй главе (стр. 35—98) рассматриваются вопросы фонетики, которые исследуются здесь по схеме Бурсье, широко распространенной в исторической фонетике французского языка. Третья глава (стр. 99—119) посвящена вопросам морфологии, четвертая (стр. 121—123) — синтаксису (фактически в ней разбираются две особенности в употреблении местоимений). В пятой главе (стр. 125—136), как бы обобщающей предыдущие, рассказывается о членении пикардского диалекта на юго-западную и северо-восточные зоны, рассматриваются границы пикардского диалекта и перечисляются черты, объединяющие и различающие пикардский и соседние с ним диалекты. К книге

¹ Ш. Т. Г о с с е н (род. 1915 г.), помимо рецензируемой книги, известен рядом трудов, посвященных изучению отдельных вопросов пикардского диалекта (см.: Ch. T. G o s s e n, *Die Picardie als Sprachlandschaft des Mittelalters*, Biel, 1942; e r o ж e, *Un texte picard du XVII-e siècle*, «Melanges de linguistique et littérature romanes offerts à M. Roques», Bade — Paris, t. 1, 1950; e r o ж e, *Zur Sprache des Livre des Métiers d'Etienne Boileau*, «Sache Ort und Wort. Jakob Jud zum sechzigsten Geburtstag», Genève, 1943 (*Romanica Helvetica*, vol. 20). Последняя работа Ш. Т. Госсена посвящена изучению итальянского языка: Ch. T. G o s s e n, *Studien zur syntaktischen und stilistischen Heroorhebung im modernen Italienisch*, Berlin, 1954.

приложены небольшая хрестоматия (глава VI, стр. 131—177) со словарем и схематическая карта Пикардии, на которой обозначены политические и диоцезные границы до 1789 г. Вопросами лексикологии автор не занимается, специально оговаривая это в предисловии (стр. 12). Несмотря на небольшой объем исследования, автору удается суммировать большой материал, пользуясь часто методом статистики (стр. 51, 79, 103 и др.). Помимо письменных памятников, автор широко использует данные «Лингвистического атласа Франции», составленного Жильероном и Эмоном.

Одной из положительных сторон рецензируемой работы является сравнение языка литературных памятников и языка хартий. В основном для исследования привлекаются памятники XII—XIV вв., относящиеся к периоду расцвета пикардского диалекта, а именно: ко времени формирования *scripta franco-picarde* (т. е. литературного языка этой области). В это время количество пикардизмов значительно увеличивается как в литературных текстах, так и в хартиях. Последовательное сравнение памятников этих двух жанров дает ценный материал не только для изучения особенностей пикардского диалекта, но и для разработки проблемы соотношения языка и стиля деловых документов и литературных памятников. В конце XIX — начале XX вв. исследователи предпочитали изучать диалекты на материале языка хартий, отождествляя в известной мере язык хартий с народным языком. При этом литературные памятники расценивались как менее достоверные источники изучения диалектов.

Сравнительное изучение языка литературных памятников и языка хартий привело Ш. Т. Госсена к нескольким иным выводам: «*Ni les chartes ni les textes littéraires ne nous offrent „la langue vulgaire dans toute sa vérité“, comme l'espérait Gaston Raynaud, en parlant des chartes. Tous ces documents nous montrent une langue „littéraire“ picarde que nous nous gardons d'identifier avec le dialecte picard du moyen âge*» (стр. 11—12). «Ни хартии, ни литературные памятники не представляют „народный язык в чистом виде“, как полагал Гастон Рено, говоря о хартиях. Во всех этих документах представлен „литературный“ пикардский диалект, который мы остерегаемся отождествлять со средневековым пикардским диалектом».

Исследование Ш. Т. Госсена показало, что в литературных памятниках встречаются те же диалектные черты, что и в хартиях, но, как правило, в языке хартий та или иная диалектная черта представлена более последовательно, чем в языке литературных памятников [так, например, переход *a* под ударением в открытом слоге в *ei* повсеместно распространен в хартиях северо-восточной части изучаемой области, в то время как в литературных памятниках эта особенность встречается sporadически (стр. 35 и сл.)].

Помимо охарактеризованных выше положительных сторон, книга Ш. Т. Госсена имеет и некоторые недостатки. Отметим ряд неточностей и пробелов:

1. Среди изученных Госсеном хартий отсутствуют пикардские хартии конца XII — начала XIII в., изданные Гисселингом¹.

2. Текст «*Li Vers de le Mort*», изданный К. Виндалем (C. Windahl), датируют большей частью приблизительно, относя его к середине XIII в., Госсен же считает, что он создан в последней четверти XIII в. (стр. 162), но не приводит соображений, позволяющих ему уточнить время написания текста. Текст Ренкю де Моильена (Renclus de Moiliens) «*Li romans de Carité et Misereere*», обычно относимый к концу XII в., в хрестоматии Госсена считается текстом XIII в. (стр. 161).

3. В списке литературных пикардских текстов имеется памятник «*Les Merveilles de Rigomer*» (стр. 27). Специальное исследование языка этого текста, насколько нам известно, еще не проводилось (см. мнение Фёрстера). Нет указания на какие-либо исследования и в работе Госсена, и потому нам представляется преждевременным отнесение этого текста к тому или иному диалекту.

4. Произведения Филиппа де Реми (Philippe de Remi) едва ли правильно считать памятниками пикардского диалекта; в целом язык этих памятников более характерен для иль-де-франского диалекта. Ведь известно, что и в произведениях Конона из Бетюна (Conon de Béthune), которого Госсен справедливо не помещает в список пикардских литературных текстов, имеются некоторые черты пикардского диалекта.

5. Неясно, к какому изданию относится сокращение «*Condé*» (стр. 30) — к изданию Тоблера или к изданию Шелера, а между тем сравнение этих изданий показывает некоторые различия, не говоря о том, что Тоблер издал в одном томе стихи Ж. де Конде, в то время как Шелер издал в трех томах произведения и отца — Г. де Конде, и сына — Ж. де Конде.

6. В построении хрестоматии остается неясным порядок следования литературных текстов (в отличие от хартий, которые даны в хронологическом порядке с 1247 по 1286 г.).

¹ См. M. G y s s e l i n g, Les plus anciens textes français non littéraires en Belgique et dans le nord de la France, «*Scriptorium*», t. III, 1949.

Одним из недостатков общего характера в работе является отсутствие точных ссылок в цитируемых примерах (страницы и строки памятника не указываются). Такая подача материала лишает читателя возможности познакомиться с примерами в первоисточнике и критически отнестись к ним.

На двух вопросах хотелось бы остановиться подробнее. Госсен, как и многие другие исследователи, сомневается в фонетическом значении $ei < a$ (см. стр. 36 и сл.), которое одни исследователи склонны рассматривать как дифтонг, другие — как закрытое e . Зона распространения ei в пикардском диалекте говорит о том, что оно пришло сюда, видимо, из валлонского, где $ei < a$ встречалось значительно чаще. Поэтому мы считаем возможным для решения вопроса о произношении старопикардского привлечь материалы нового лингвистического атласа Валлонии¹. В первом томе атласа встречаются всего четыре случая, восходящих к a — карта № 36 *équerre* < **exquādra*, карта № 37 *été* < *aestatem*, карта № 44 *frère* < *fratrem*, карта № 77 *porter* < *portare* и один случай a в зычии — карта № 2 *année* < *annus* + суффикс *-ata*. Из четырех случаев в двух — *fère* и *équerre* — ни в одном из обследованных мест не наблюдается ei , в то время как в двух остальных примерах — *été* и *porter* — на самом юге валлонского диалекта дифтонгизация наблюдается неоднократно (ср. формы *estey*, *postey*). На карте *année* форма *anneye* распространена более или менее по всей территории Валлонии. Конечно, не всегда проекция данных современных диалектов в период XII—XIV вв. оказывается правильной; тем не менее нам представляется, что опубликование новых материалов валлонского диалекта говорит в пользу дифтонгизации $a > ei$. Исходя из общей характеристики фонетической системы французского языка древнего периода, в данном случае скорее следует говорить о дифтонгоиде, чем о дифтонге.

Не убедительна полемика Госсена с Сюшье и другими исследователями о развитии дифтонга ai . Госсен, в отличие от своих предшественников, полагает, что $ai > e$ уже в конце XIII в. (стр. 40—41). Приводимые им доказательства (написания с e в этих случаях или рифмы типа *fais-tu* : *festu* : *vestu*) не убеждают читателя, который должен учитывать «смешанный характер пикардской письменности». Если речь идет о преобладании рифм типа *fais-tu* : *festu* — над рифмами типа *laisse* : *manace* (Aucassin et Nicolette), то следовало бы привести точные статистические данные. Кстати, примеры из этого текста Госсен не приводит, а о тенденции к монофтонгизации $ai > a$ автор говорит мимоходом, приводя примеры лишь в списке. Для решения вопроса о развитии ai интересно было бы привести и материалы современных говоров.

В заключение хочется сказать несколько слов об основной теоретической предпосылке рецензируемой книги. Ш. Т. Госсен является сторонником известной теории Морфа о том, что по всей северной Франции наблюдается совпадение диалектных границ с границами диоцезов². Соответственно Госсен пытается везде, где возможно установить изоглоссу того или иного явления, сопоставить эту изоглоссу с границами церковного управления. Кое-где ему удается обнаружить совпадения (см., например, карту на стр. 127), в некоторых же случаях ему приходится ограничиваться указанием в каких диоцезах распространено то или иное явление (см., например, стр. 46 $ē$ > ie). Названную теорию Госсен принимает целиком в том виде, в каком ее изложил Морф, не учитывая большой полемики, возникшей вокруг этой работы. Так, Эттмайер, пересмотрев данные первоисточников, которыми пользовался Морф для севера Франции (Пикардия), не обнаружил здесь этого совпадения и подверг сомнению исходный тезис Морфа³. Хасельрот, изучая границы франко-провансальских говоров, говорит, что материалы исторического атласа Лондона, которыми так часто пользуются для определения границ диоцезов, являются недостаточно точными и т. д.⁴ Учитывая все это, Госсену следовало бы указать, каким материалом он пользовался для установления границ диоцезов.

Вопрос о соотношении языковых явлений и границ диоцезов — очень сложный и спорный. Несомненно, что в отдельных случаях действительно можно найти совпадения этих границ, тем более что церковная власть в средние века часто одновременно была и политической, государственной. Но тезис о том, что как границы диалектов, так и границы отдельных диалектных черт обусловлены делением на церковные окру-

¹ См. L. R e m a c l e, Atlas linguistique de la Wallonie, t. I, Liège, 1953.

² См. H. M o r f, Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs, «Abhandlungen der Königlich Preussischen Akad. der Wissenschaften», Jg. 1911, Phil.-hist. Kl., Berlin, 1911.

³ См. K. E t t m a y e r, Über das Wesen der Dialektbildung, erläutert an den Dialekten Frankreichs, Akad. der Wissenschaften in Wien, Philosoph.-hist. Kl. Denkschriften, Bd. 66, 3 Abh., Wien, 1924, стр. 13.

⁴ См. B. H a s s e l r o t, Sur l'origine des adjectifs «nostron», «vostron» en franko-provençal, «Mélanges de linguistique et de littérature offerts à E. Walberg, Uppsala, 1938 (Studia Neophilologica, vol. XI).

га, нам представляется неприемлемым, поскольку известно, что диалектное дробление Франции обусловлено с генетической точки зрения не только церковно-политическими границами, но и границами расселения племен, границами романизации и германизации, а в некоторых случаях — и географическим ландшафтом.

Нам хочется также подчеркнуть, что книга Ш. Т. Госсена является единственной работой, в которой суммируется состояние старошкардского диалекта. Для этого автор собрал и систематизировал очень большой фактический материал, используя в основном все изданные литературные памятники и хартии, а также значительное количество архивных документов. Необходимость такого исследования давно назрела и ощущается всеми диалектологами и историками французского языка. Однако книга Ш. Т. Госсена представляет не меньший и теоретический интерес благодаря постановке вопроса о шкардском диалекте как о самостоятельной языковой единице, а также сравнительному изучению языка деловых документов и литературных памятников.

М. А. Бородина

Испанско-русский словарь. Около 42 000 слов. Под общей ред. Ф. В. Кельяна. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. 944 стр.: 1-е изд. — 1953; 2-е изд. — 1954.

Издание в 1953 г. Испанско-русского словаря приветствовалось всеми советскими испанистами: студентами и преподавателями вузов, переводчиками и филологами. Полезен словарь и для испанцев, изучающих русский язык. Напомним, что последнее издание Испанско-русского словаря вышло в 1937—1939 гг. Оно было очень неполным (30 тыс. слов), содержало много неточностей, опечаток и прямых ошибок и не отражало в целом состава лексики современного испанского языка. Более полное издание 1930—1931 гг. стало библиографической редкостью. Вполне понятно поэтому, насколько своевременным было появление Испанско-русского словаря, содержащего около 42 тыс. слов. Авторский коллектив тщательно пересмотрел словарные статьи предыдущих изданий. Многие неточности и ошибки при этом были устранены. Исправлена также организация словарных гнезд. Новый словарь, таким образом, и по объему, и по своему качеству превосходит предыдущие издания. В этом сказался прежде всего огромный опыт, накопленный и частично теоретически обобщенный Издательством иностранных и национальных словарей.

Х а р а к т е р и с т и к а с л о в н и к а. Обращает внимание, что, несмотря на умеренный объем словаря, авторы сумели отразить в нем широкий круг лексических явлений. В частности, учитывая растущий интерес советских читателей к произведениям современной латиноамериканской литературы, составители внесли большое количество американизмов с указанием, в каких именно странах Латинской Америки употребляются те или иные слова и выражения. Отмечены также и отдельные значения испанских слов, свойственные языку Латинской Америки. В этом смысле словарь, несомненно, сыграет большую положительную роль, способствуя ознакомлению наших читателей с передовой латиноамериканской литературой, помогая им глубже проникнуть в смысловые и стилистические особенности ее языка.

Важно подчеркнуть, что в словаре весьма полно представлена также общественно-политическая лексика и научно-техническая терминология.

Составители проявили много такта в отборе устаревших, архаичных для современного языка слов. В задачи авторов входило, очевидно, не только подобрать словник современной испанской лексики, но и включить в него некоторые лексические факты, характерные для языка классической эпохи и необходимые для понимания произведений XVI—XVII вв. Авторский коллектив, на наш взгляд, достиг этой цели. Можно было бы лишь упрекнуть составителей в том, что, вводя в словарь архаизмы, они не всегда при этом делали соответствующую помету. Например, лишено пометы такое слово, как *magüer* «хотя», совершенно неупотребительное в современном языке.

Несколько менее благополучно обстоит дело с неологизмами в области испанской общенародной лексики. Чувствуется, что авторский коллектив ориентировался главным образом на предыдущие издания испанских академических, толковых, энциклопедических и других словарей, не проводя систематической работы над современной испанской и латиноамериканской литературой и особенно периодической печатью. В словаре не отмечены многие новые слова и выражения, не зафиксировано в нем и семантическое обогащение ряда слов, изменивших свою смысловую структуру. Например, мы не находим таких образований, как *tiralevitas* «льстец, подхалим», *pollo pera* «франт, щеголь», *pluma fuente* «самопишущая ручка», *trinchera* «платц, пыльник», широко распространенных в современном языке. В статье *recoger* отсутствует значение «выразить, отразить», весьма характерное для современного испанского языка.

Глагол *fincar* переводится лишь как «приобретать недвижимую собственность», в действительности же, он означает также «опираться». Это значение распространено в латиноамериканском варианте языка. Совсем не помещено в словаре слово *comicios*, употребляемое в периодической печати Латинской Америки в значении «выборы, предвыборные собрания».

Таким образом, проявив в одном отношении большую тщательность в составлении словника, авторы словаря не сумели, однако, включить в него значительное количество неологизмов, а также правильно отразить семантический объем ряда слов, что снижает полезность словаря, мешая ему быть полноценным пособием при переводе, например, современной прессы. Это свидетельствует о том, что в лексикографической практике сбор материала по словарям должен непременно сочетаться с большой и систематической работой над источниками. Работа над источниками совершенно необходима при составлении словарей испанского языка, так как большинство издающихся в Испании академических и толковых словарей отстает от развития лексики, являющейся, как известно, наиболее подвижным элементом языка. Кроме того, испанские академические словари, в силу своего нормативного характера, принципиально не санкционируют употребление слов, недавно вошедших в обиход и не выдержавших еще испытания временем. При составлении двуязычных словарей этой установкой, повидимому, руководствоваться не следует.

Работа над источниками должна способствовать также правильному отбору лексики, помещенной в различного рода испанские словари, и в первую очередь в словари Академии. В частности, необходимо иметь в виду, что испанская Академия с таким же трудом принимает слово, как и исключает его из словаря. Очень показательный пример в этом смысле находим в книге Х. Касареса «Введение в современную лексикографию»¹, приведенный им, правда, в несколько иной связи. Авторы первого испанского академического словаря (так называемый «Diccionario de Autoridades»), опубликованного в 1726—1739 гг., поместили в нем существительное *sobreasada* «свинная колбаса с перцем», являющееся искажением майоркинского *sobrasada* (от лат. *salpressare*). Исходя из формы *sobreasada*, возникшей на основе народной этимологии и осмысленной как субстантивированное причастие, авторы словаря образовали несуществующий в языке глагол *sobreasar* «пережаривать», который до сих пор (т. е. более двух веков!) включается в испанские толковые и академические словари. Этот выдуманный глагол перенесен и в рецензируемый Испанско-русский словарь. Попало в него также значительное количество так называемых «императивных» имен, характеризующих язык отдельных писателей золотого века и давно вышедших из испанской лексики. Например, *tragamallas*, *catasalsas*, *desentierramuertos*, *espantanublados*, *tragaavemarias*. Эти существительные в испанских словарях не сопровождаются указанием на их устарелый характер. Лишены они соответствующей пометы и в Испанско-русском словаре. Значение некоторых из этих слов раскрывается, кроме того, не вполне точно. Так, *tragamallas* объясняется ссылкой на *tragalbasas* «обжора». В действительности, у испанских писателей-классиков преобладало употребление его в значении «прохвост, шарлатан»². В словаре, изданном в 1930 г., это значение было отмечено.

Закачивая характеристику словника, укажем на отдельные, повидимому, случайные упущения. Так, в словаре отсутствует очень простое и употребительное слово *el mañana* «будущее». По непонятным причинам дано слово *satán* «сатана», но нет более распространенного *satanás*. Отсутствуют такие слова, как *gentílico* «языческий», *desinencia* (грам.) «окончание».

Фразеология. Приходится констатировать, что идиоматика отражена в словаре весьма скудно, хотя она едва ли не в большей степени осложняет понимание текстов, чем иные слова, значение которых легко выводимо из их морфемного состава (ср. *vencedor*, *preguntador*, *informante*). Поэтому, возможно более широкий охват фразеологии иностранного языка является, на наш взгляд, одним из необходимых условий полноценности словаря. Между тем, может быть, в связи с ограничением объема словаря, в нем отсутствует большое количество чрезвычайно распространенных в испанском языке фразеологизмов, таких, например, как *niño gótico* «пустой и самодовольный щеголь», *tomar las de Villadiego* «удирать», *poner como chupa de domine* «обругать», «перемыть косточки», его синонимы *poner verde* и *poner de vuelta y media*; *hacer gracia* «нравиться, казаться забавным» и другие. Нет в словаре даже некоторых сочетаний, выполняющих функцию союзных слов, ср. *a cuenta de* «по причине».

Наряду с бедностью идиоматики, в словарь внесено немалое количество пенидиоматических устойчивых сочетаний (частично в качестве иллюстративного материала), не представляющих никаких трудностей ни для понимания, ни для перевода текста (к этому вопросу мы еще вернемся). Такие сочетания, как, например, *reacción imperialista* «империалистическая реакция», помещенное в словарь дважды, могли бы быть

¹ J. C a s a r e s, Introducción a la lexicografía moderna, Madrid, 1950, стр. 41—43.

² См. например, F. Quevedo, ed Clásicos castellanos, Madrid, 1911, т. III, стр. 174.

исключены из него без всякого ущерба для полезности словаря, причем это позволило бы увеличить удельный вес идиоматики.

Попутно хочется отметить удачные переводы фразеологизмов, в том числе поговорок и поговорок, на русский язык. Авторы, как правило, сумели найти в русском языке наиболее точные в смысловом и стилистическом отношении эквиваленты. Это качество делает словарь ценным помощником не только читателей испанской литературы, но и ее переводчиков.

Анализируя обработку фразеологического материала, укажем на непоследовательность его распределения по словарным статьям. Например, *hacerse cargo de* в значении «понять, узнать» включено в статью *hacer*, а тот же оборот в значении «взять на себя» помещен в статью *cargo*. Некоторые идиомы фигурируют в двух словарных статьях, другие лишь в одной, хотя в их состав также входят два знаменательных слова. Например, *salir del paso* «выходить из затруднительного положения» включено в статьи *salir* и *paso*, а оборот *salir del apuro*, имеющий то же значение, находим только в статье *salir*. А *salir al paso* неполно переведенное как «давать отпор», помещено в объяснениях к слову *paso*. *Salir de sus casillas* «выйти из себя» мы снова находим в двух словарных статьях.

Создается впечатление, что авторы словаря не руководствовались каким-либо единым критерием при каталогизации фразеологии. А между тем он совершенно необходим в лексикографической практике. Применение его в работе над словарями даст, с одной стороны, возможность сократить объем словаря, а с другой стороны, облегчит и само пользование словарем.

Идиоматика в словарных статьях может быть расположена согласно ряду принципов. Известен, например, семантический критерий, в соответствии с которым определенное сочетание помещается по семантически центральному, основному слову. Известно также, насколько практически трудно соблюдать подобную установку по отношению к идиоматическим выражениям, в которых значения частей полностью растворяются в единой семантике целого. Фразеологические сочетания могут располагаться также по стержневому с точки зрения синтаксических связей слову. При подобном подходе устойчивые сочетания (в том числе и идиомы) как бы приравниваются к свободным. Это находится в заметном противоречии с семантической структурой многих устойчивых сочетаний, поскольку синтаксически управляющее слово нередко оказывается наименее семантически весомым. Ср., например, глагольные образования с лексически полуустошенными глаголами *dar*, *echar*, *meter*, *hacer* и др. Наконец, существует формальный, условный принцип расположения материала. Устойчивые сочетания могут распределяться, например, по первому знаменательному слову, входящему в их состав. Однако на практике это осложняется тем, что внутри некоторых фразеологизмов допустимы колебания порядка слов. В испанских академических словарях устойчивые сочетания расположены по одному из образующих их компонентов. При этом соблюдается следующий порядок выбора слова. На первом месте стоит существительное, далее следуют глагол, прилагательное, междометие, наречие и т. д. Не будем спорить сейчас о правомерности именно такого порядка предпочтения частей речи, отметим лишь, что сама предложенная словарем норма кажется нам приемлемой¹.

Разумеется, трудно решить без апробирования практикой, какая установка окажется наиболее целесообразной. Возможно, различные семантические типы устойчивых сочетаний следует распределять по-разному. Несомненно одно: отсутствие четко выработанных принципов систематизации устойчивых сочетаний приприсит немалый ущерб практике составления двуязычных словарей. Это обстоятельство налагает определенную ответственность не столько на составителей того или иного словаря, сколько на само Издательство иностранных и национальных словарей.

Иллюстративный материал. Другим важным моментом в лексикографической работе является вопрос о мере введения в двуязычный словарь иллюстративного материала. Нам представится, что при стремлении максимально сжать объем словаря языковые иллюстрации должны даваться чрезвычайно экономно. Они возможны по существу лишь при следующих обстоятельствах: 1) когда перевод осуществлен многозначным, допускающим разное толкование словом; 2) когда значение слова колеблется в зависимости от структуры образуемого им словосочетания (в этом случае иллюстрация может быть заменена схематическим указанием на конструкцию); 3) когда поясняется лексически связанное, обусловленное значение слова.

¹ Этот принцип при вариациях в семантической «иерархии» частей речи применен в «Опыте словаря средневекового испанского языка» («Tentative Dictionary of Medieval Spanish», Chapel Hill, 1946), а также в «Лексикографическом справочнике» Ромера-Наварро (См. М. Ромера-Наварро, Registro de lexicografía hispánica. Madrid, 1951, стр. 14 предисловия). Теоретический анализ преимуществ и недостатков этой системы обработки материала можно найти в цитированном уже труде по лексикографии Хулио Касареса (J. Casares, указ. соч., стр. 95—98).

Следует признать, что в перечисленных случаях словарь, в основном, правильно соблюдает меру введения иллюстраций. Так, регулярно отмечается, в сочетании с какими семантическими типами слов или конкретными словами выступает то или иное связанное значение. Обращают внимание лишь отдельные упущения в этом плане. Так, например, нельзя ограничиться указанием на то, что глагол *tomar* означает «пить, есть», поскольку далеко не во всех сочетаниях с названиями продуктов питания он может иметь данное значение. Совсем не отмечено другое обусловленное значение глагола *tomar* «садиться»; например, *tomar el metro, el tren* «садиться в метро, в поезд».

Не иллюстрируются также отдельные конструктивно обусловленные значения слов. Например, никак не отражено в словаре, что *vengar algo* или *a alguien* означает «отомстить за что-то» (или «кого-то»), а *vengarse de alguien* «отомстить кому-то».

В целом, как уже говорилось, при указанных выше условиях норма введения в словарь иллюстраций соблюдена правильно. Возражение вызывает другое. В словаре дается большое количество примеров, не ведущих к раскрытию или уточнению значения слова. Нужно ли в качестве иллюстрации к слову *miembro*, переведенному как «член (организации и т. п.)», ставить такой пример, как *miembro de un sindicato* «член профсоюза», повторяющийся и в статье, выступающее в сочетании с названиями средств сообщения *sindicato*; или прилагательное *capitalista* «капиталистический» пояснять сочетанием *sociedad capitalista* «капиталистическое общество»? Подобный иллюстративный материал лишь увеличивает объем словаря, не позволяя более полно осветить в нем фразеологию.

Соотносительные родовые формы имен существительных. Непоследовательно представлены в словаре соотносительные формы мужского и женского родов суффиксальных существительных со значением действующего лица. Так, имена с суффиксом *-dor* в одних случаях даются в форме обоих родов (ср. *pecador* «грешник», *pecadora* «грешница», *vendedor* «продавец, торговец», *vendedora* «продавщица, торговка» и пр.). В других случаях словарь ограничивается только формой мужского рода (см. статьи *vengador, comprador, autor* и др.). То же может быть отнесено к существительным со значением лица, имеющим суффикс *-ero*.

В статьях к именам с суффиксом *-ista* иногда стоят значки мужского и женского родов, указывающие на то, что данные существительные могут быть отнесены к лицам мужского и женского пола¹. В других случаях ставится только значок мужского рода «m». Столь же непоследовательно расставлены пометы в статьях к «императивным» существительным, у которых соотносительные родовые формы также не выражаются изменением структуры слова. В большинстве статей к существительным этого типа со значением образной характеристики лица имеются оба значка (см. статьи — *tragamariñas, tragaldabas, zampalimosnas, tragaleguas, tragamallas, tragasopas*). Пометки «m», «f» поставлены заодно и после существительного *tragaperras* «автомат, автоматическая касса», хотя оно совсем не означает лица и употребляется обычно в мужском роде. Но в ряде статей к «императивным» именам, особенно тогда, когда потребовался бы самостоятельный перевод слова, авторы ограничиваются значком мужского рода (ср. *lameplatos, zampatortas, zampabollos*). Вызывает возражение и другое обстоятельство, связанное с трактовкой родовых форм существительных в двуязычном словаре. Можно ли, ставя после испанского существительного значки обоих родов, давать перевод только в мужском роде, как это делают иногда составители словаря? (Ср. *moscovita*, m. f. «москвич»). Нам кажется целесообразным в скобках указывать исход слова в женском роде: «москвич(ка)».

Проблема обработки соотносительных родовых форм существительных в двуязычном словаре оказывается на практике более сложной, чем это может представиться. В рецензируемом словаре мы не находим удовлетворительного решения этого вопроса.

Построение словарной статьи. Нельзя считать последовательной организацию материала в некоторых словарных статьях. Например, в статье *perra* отсутствует значение «монета в 5 или 10 сантимов». Нет в словаре и сочетания *perra gorda* или *grande* «монета в 10 сантимов», но среди фразеологии с участием существительного *perra* «сука» дан оборот *para ti la perra gorda!*, переведенный как «твоя взяла!». При таком расположении материала в словарной статье внутренняя семантическая структура этого выражения может быть истолкована совершенно ошибочно (буквально: «тебе досталась толстая собака!»).

Слово *boliche* переводится в словаре как «лавка, торгующая старьем», и имеет помету «американизм». В то же время *bolichero* (т. е. «хозяин подобной лавки») трактуется как «мелочной торговец» и отмечается значком «Arg.» (Аргентина).

В некоторых словарных статьях даются сразу два синонима, причем можно понять, что перечисляемые далее значения относятся к ним обоим. Ср. *narigón, ~udo* 1. adj. «большеносый, носатый»; 2. m. 1) «носилец», 2) «отверстие в носу для кольца». Есте-

¹ Издательство отказалось от значка «com» («compañ»), которым в испанской лексикографии, а также в прежних испанско-русских словарях отмечались существительные так называемого общего рода.

ственно представить, что *narigón* и *narigudo* совпадают во всех даваемых словарем значениях. На самом деле они синонимичны лишь в первом значении, а другие два относятся только к слову *narigón*.

Есть в словаре и отдельные недосмотры. Укажем на некоторые из них. Существительное *sinhueso* «язык» ошибочно помечено значком мужского рода. В действительности оно употребляется в женском роде, что объясняется ассоциацией со словом *la lengua*. В прежних изданиях словаря этого недосмотра не было.

Выражение *darse cuenta de* переведено глаголом «понимать», причем не фиксируется другое, не менее широко распространенное значение «замечать». Ср. *No me di cuenta de como entraste* «Я не заметил, как ты вошел».оборот *caer en la cuenta*, напротив, переводится только глаголами «замечать, усматривать». На самом деле, он означает также «понять».

Не ясно, почему *vendepatrias* имеет помету «pl.» и переводится как «торговцы родиной». Это слово может употребляться как во множественном, так и в единственном числах. В статье *volverse* отсутствует едва ли не центральное значение «обернуться, повернуться». Слово *impostor* означает не только «клеветник», но и «самозванец». *Libreta* в современном языке это не только «записная или сберегательная книжка», но и «ученическая тетрадь». *Idiosincrasia* не является эквивалентом соответствующего русского термина.

Слово *genérico* вряд ли может означать «неопределенный» (артикль), как думают авторы словаря. Одно из значений слова *orden* переведено: «арх. стиль, орден». В действительности, в архитектуре имеются *ордера*, а не *ордена* (ср. *коринфский ордер*, *сложный ордер* и др.).

Число неточностей, пожалуй, можно было бы умножить. В огромном материале, трактуемом словарем, они в той или иной степени неизбежны. Но отдельными недочетами не могут быть заслонены такие несомненные достоинства рецензируемого Испанско-русского словаря, как богатство и разнообразие лексического материала, хорошо продуманные словарные статьи, точные и сжатые переводы. Издательство иностранных словарей выпустило еще одну работу, которой заслужило искреннюю признательность лиц, практически пользующихся словарем.

П. Д. Арутюнова

Л. И. Жирков. Лакский язык. Фонетика и морфология. Отв. ред. Е. А. Бокарев. М., Изд-во АН СССР, 1955. 160 стр. (Ин-т языкознания АН СССР)

1

Л. И. Жирков уже много лет работает над исследованием горских языков Дагестана, к которым принадлежит и лакский язык, и приобрел имя крупного специалиста в этой области кавказской лингвистики как автор ряда ценных работ¹. Основной задачей рецензируемой книги Л. И. Жирков предплагает исследование грамматического строя лакского литературного языка.

Первым серьезным научным исследованием этого языка был большой труд П. К. Услара «Лакский язык», относящийся еще к 60-м годам XIX в., но опубликованный лишь в 1890 г.² Труд этот, конечно, устарел и требует коренного пересмотра; он сохраняет ныне свое значение главным образом как детальное собрание языковых фактов. Этот материал необходимо дополнить новыми данными и он должен быть теперь описан по-новому.

Основную часть книги Л. И. Жиркова и составляет описательно-нормативная грамматика современного лакского литературного языка, изложенная с учетом не только требований науки, но и потребностей школы. Фонетика, выведенная за пределы грамматики, но тесно с нею связанная, также выдержана в плане научного опи-

¹ См. Л. И. Жирков, Грамматика аварского языка, М., 1924; е го ж е, Грамматика даргинского языка, М., 1926; е го ж е, Табасаранский язык, М.—Л., 1948; е го ж е, Грамматика лезгинского языка, Махачкала, 1941; е го ж е, Об основном словарном фонде горских языков Дагестана, ВЯ, 1953, № 3; е го ж е, Спряжение глагола в лакском и даргинском языках, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», вып. VII, М., 1955 и др.

² См. П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языкознание, [вып.] IV, «Лакский язык», Тифлис, 1890 (литографированное издание, выпущенное самим Усларом, относится к 1864—1865 гг.); см. также А. Schiefner, Ausführlicher Bericht über Baron P. v. Uslar's Kasikumükische Studien, «Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg», 1866, t. X, № 12.

сания с элементами нормативности. Автору следует поставить в заслугу умение, с каким он на немногих страницах этой главы (гл. II, стр. 6—18) охарактеризовал сложную систему звуков лакского языка, включающую в себя 41 согласный при всего лишь трех гласных (с восемью вариантами).

Звуки лакского языка, расклассифицированные по определенным свойственным им артикуляционным признакам, представлены в системе на сводной таблице (стр. 7), подробно затем разъясненной. Для большей понятности своеобразных явлений лакской фонетики автор прибегает местами и к сопоставлению этих явлений и особенностей с соответствующими русскими. Этот способ изложения также принят, очевидно, в интересах школьного преподавания и должен, повидимому, служить и популяризации изложения, рассчитанного на широкий круг читателей неспециалистов, интересующихся языком (работников печати, журналистов, писателей, поэтов, литературоведов).

2

Языковой материал в книге распределен по частям речи, причем особое внимание уделено важнейшим из них — имени существительному и глаголу. Такое расположение материала, вызываемое к тому же особой, исключительной сложностью структуры этих главных частей речи в лакском языке (как и в других горских языках Дагестана), следует, таким образом, признать правомерным.

Может показаться на первый взгляд большой диспропорцией количественное соотношение между морфологией, которой здесь отведено 114 страниц (стр. 19—133), и синтаксисом, основные правила которого занимают всего 5 страниц (стр. 134—139). Но, во-первых, автор излагает в книге лишь морфологию, а синтаксис привлекает только в той мере, в какой это требуется для общей характеристики строя предложения. Во-вторых, грамматические связи в лакском языке обеспечиваются необыкновенно богатой системой морфологических форм глагола (спряжение) и имени (склонение), из которых особое значение имеет система классов, связывающая члены предложения согласованием.

Таким образом, кажущаяся диспропорция между морфологией и синтаксисом находит свое объяснение в характернейшей черте грамматической структуры лакского языка, которую можно назвать не только богатством морфологических форм, но и прямо гинертрофией последних. Чтобы яснее представить себе это явление, достаточно напомнить читателям, что в лакском языке существует 40 падежей в именах существительных (стр. 35), а в глагольной системе насчитывается до 680 форм (из них 50 форм типа причастий, деепричастий, отглагольных существительных; приблизительно 520 временных форм, изменяемых по лицам и выражающих лицо глагола; 70 форм повелительных и желательных и около 40 запретительных [отрицательных повелительных] форм) (гл. VII, стр. 76¹).

3

Характернейшей особенностью лакского языка, как и других дагестанских горских языков, является наличие грамматических классов, отличных от грамматического рода индоевропейских языков. Поэтому рассмотрению грамматических классов автором уделено в главе «Имена существительные» большое внимание и много места (стр. 19—28). Для большей наглядности изложения и легкости усвоения автор на кратких и схематических примерах показывает, что лакский язык имеет пять классов согласования, обозначаемых тремя основными классными показателями (стр. 19—21). В настоящее время классов осталось четыре, от пятого класса сохранилось лишь одно существительное. Современному сознанию распределение по классам имен существительных в большинстве случаев представляется непонятным. Лишь классы I и II по своей семантике ясны: к I классу относятся существительные, обозначающие мужчин и те существа, которые олицетворяются в представлении людей в виде мужчин (*адамна* — «человек», «мужчина», *ппу* «отец», *уссу* «брат», *зал* «бог», *малайик* «ангел» и др.). Ко II классу относились раньше преимущественно названия лиц женского пола; ныне в этом классе сохранилось лишь несколько таких существительных (например, *нину* «мать», *щарсса* «женщина», *кьари* «старуха»). Интересно, что женщины, самостоятельно работающие, относятся к III классу, куда издревле входило слово *душ* «девушка», «дочь», «девочка».

¹ Это обилие морфологических форм — явление, общее северокавказским горским языкам, как вейнахским, так особенно дагестанским, о чем дают достаточно ярко представление труды П. К. Услара и А. А. Илфнера. См., кроме того, А. Dirr, Einführung in das Studium der Kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1928; см. также ряд его работ, напечатанных в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа».

Не поддается объяснению распределение всех прочих различных по своим смысловым значениям многочисленных семантических разрядов имен существительных в III и IV грамматических классах (стр. 22—28). Критерий классификации имен существительных по грамматическим классам установить ныне невозможно, ясно лишь то, что в глубокой древности эта классификация имела какую-то свою мотивировку, какое-то семантическое обоснование, которое сохранилось в виде какой-то унаследованной от седой старины тенденции, подсказывающей лакам и ныне, к каким классам относить даже заимствованные слова (ср., например, *локомотив* — III класс, а *локомобиль* — IV класс, хотя семантически здесь один и тот же класс названий машин и др.). Дальнейшие подробности мы рассматривать не можем в связи с небольшим объемом нашей статьи, хотя вопрос, затронутый выше, очень интересен¹. Отметим только один важный факт, что показатель класса обнаруживается не в именах существительных, а лишь в согласуемых с именами существительными прилагательных, местоимениях (не всех), числительных, в глаголах и даже некоторых наречиях. В редких случаях классные показатели сохранились как начальные согласные, так сказать, окаменевшие, ныне уже не воспринимаемые говорящими и потому не изменяющиеся по согласованию.

4

Склонение имен существительных (стр. 28—44) лакского языка также отличается своеобразием, образуя хотя и единую систему словозменения, как говорит автор, но весьма сложную в морфологическом отношении. Весьма велико число падежей, причем сложность строения форм склонения зависит еще от той особенности, что падежные формы в обоих числах обычно образуются не просто присоединением падежного окончания к именному корню (как, например, в слове *тта* «овца» — род. падеж *тта-а*), а еще «вставкой» между корнем и падежным окончанием (ср., например, *ниц* «бык», род. падеж *ниц-а-а*, и сложное — *лу* «кинг», род. падеж *лу-ттира-а*).

«Вставки» эти трудно объяснимы — их нельзя с уверенностью признать ни частью падежных окончаний, ни отдельными инфиксами в составе падежных форм. И нужно одобрить осторожность автора, проявленную им и в данном случае.

Падежная система лакского языка объединяет 40 падежных форм, которые могут быть подразделены на две неравные по числу падежей группы. Первая группа состоит из 8 падежей (именительный, родительный, или possessивный², дательный, исходный, сопроводительный, сравнительный, падеж со значением «ради...» и падеж со значением «вследствие...»).

Другая группа — это многочисленные «местные» падежи, которые вообще характерны для горских языков Дагестана. Они обычно составляют ряд «серий», различающихся по значению — особому характеру локализации. В лакском языке их 32, которые могут быть разделены на 6 серий полных по 5 падежей плюс одна серия из двух падежей.

Мы согласны с автором, который отстаивает наличие всех указанных падежей, в противоположность мнению ряда исследователей, считающих некоторые падежные формы «послеложными», т. е. сочетаниями имени с послелогом. Указание Л. И. Жиркова на то, что и лакском языке употребляются как падежные формы с падежными окончаниями, так и параллельные им синонимического значения сочетания, в которых за падежной формой с падежным окончанием ставится послелог, существующий в языке как отдельное слово (см. стр. 38), мы считаем достаточно убедительным аргументом.

5

В настоящей рецензии совершенно невозможно остановиться даже бегло на целой массе вопросов, рассмотренных в данной, казалось бы небольшой, книге, которая

¹ За последние тридцать-сорок лет как в советском, так и в зарубежном языковедении проблема деления имен на классы привлекала к себе серьезное внимание. См., например, Ю. Д. Дешериев. Специфика проявления абстрагирующей роли грамматики в системе грамматических классов, «Доклады и сообщения [Ин-та языковедения АН СССР]», вып. VII, М., 1955, стр. 69—73. Из зарубежной литературы вопроса можно было бы ограничиться двумя сравнительно новыми и серьезными по содержанию книгами: Gerlach Royen, *Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde*, Wien, 1929; Georges Dumézil, *Introduction à la Grammaire comparée des langues Caucasiennes du Nord*, Paris, 1933, где первая глава (стр. 1—44) посвящена «Вопросу о классах» (*La question des Classes*). Очень кратко этот вопрос изложен у Дирра в его «Einführung...».

² Автор подчеркивает, что в своих прежних работах он применял этот термин, чтобы избежать условности в названиях падежей, в данной же работе, уступая давней традиции, употребляет обычный термин — «родительный».

очень насыщена языковым материалом, привлеченным автором для описания — более или менее краткого — остальных частей речи. Понятно, что известная неравномерность глав, посвященных описанию этих частей речи, обусловлена прежде всего той ролью, какую играют в языке эти части речи, тем количеством форм, которыми они обладают, и тем количеством вопросов, какие возникают у исследователей при их изучении и требуют разрешения.

В рамках данной рецензии приходится выбрать для анализа лишь самое важное. В данном случае глагол, исследование которого связано с наибольшими трудностями уже по количеству глагольных форм (см. стр. 76—77). В изложении П. К. Услара лакский глагол представлен довольно хаотично, его усвоить можно только с большим напряжением. Л. П. Жирков сумел преодолеть эту хаотичность, сумел привести хаос в систему.

Глаголы действительно образуют различные формы спряжения, в которых выражаются: 1) вид глагола (недлительный, длительный, или повторный), 2) время глагола, 3) наклонение глагола (модальность), 4) лицо и число глагола. Залоговых форм лакский язык не знает, но он может их выражать при помощи различных комбинаций своих личных форм, которые согласуются в лице — частью с прямым дополнением, частью с подлежащим.

Основной формой глагола принято считать инфинитив, от которого вполне регулярно могут быть образованы две остальные формы глагольных основ (корень глагола и корень с инфиксацией классных показателей), а от них уже далее образуются и все прочие формы глагола.

Лакский инфинитив (с окончаниями *-ан*, *-ин*, *-ун*) можно сблизить с инфинитивом русского языка. Аварская форма инфинитива есть отглагольное имя, которое может склоняться, лакская же, как и русская, этого изменения не знает. Автор решительно высказывается против признания отглагольного имени (ср. русское *взятие* при инфинитиве *взять*) начальной формой глагола, чему способствовало учение арабистов о так называемом «масдаре» арабской грамматики, который является отглагольным именем действия (ср. *кан* «бытие» от *кана* «он был», аварское склоняемое *босизе* «взять»). Так как и П. К. Услар считал инфинитив исходной и основной формой глагола в лакском и с практической стороны она удобна благодаря аналогии с русским, мы вместе с автором высказываемся за это мнение (стр. 78).

Второй факт, о котором необходимо помнить при характеристике лакского глагола, — это то, что формы глагольного словоизменения по своему производству представляют собой три системы, образуемые: 1) от корня глагола, 2) от инфинитива и 3) от корня с инфиксацией, причем инфигируются те же классные показатели, которые типичны не только для лакского языка, но и для других дагестанских языков — согласные *б*, *в*, *д* (*р*), подвергающиеся фонетическим изменениям, позиционно обусловленным (стр. 82—86).

Выработанную П. К. Усларом систему четырех спряжений, обоснованную некоторыми фактами видхинского наречия, Л. П. Жирков отвергает по двум соображениям, которые и нам кажутся важными: 1) современный литературный язык создан на базе кумухского наречия, а не видхинского; 2) лакские школьные грамматики, составленные по нормам литературной кумухской речи, дают классификацию, признающую лишь три спряжения. Автор строит дальнейшее изложение системы лакского глагола на этой классификации спряжений. Мы считаем, что он поступает правильно, что аргументы его вполне убедительны (стр. 85—87).

В заключение обзора глагола отметим, что автор придумал очень удачный, на наш взгляд, способ постепенного ознакомления читателя со сложной структурой лакского глагола, с его огромной массой форм. Эту массу форм нет возможности наглядно представить в одной общей и полной таблице, поэтому Л. П. Жирков предлагает читателю несколько упрощенную таблицу, разбитую на части; в таком виде она легче воспринимается при чтении соответствующего текста¹. Например, в таблице на стр. 89 дана наглядная, легко запоминающаяся схема формообразования по трем видам глагола и трем разновидностям формообразования. Формы, образованные от корня переходного глагола, перечислены, например, в таблицах на стр. 95—97.

На этом приходится заканчивать рассмотрение чрезвычайно сложной, но столь же интересной системы лакского глагола, которую Л. П. Жирков сумел своими удачно составленными таблицами приблизить к пониманию читателей, в числе которых, очевидно, прежде всего будут сами лаки.

И не только в разделе о глаголе, но и во всем труде видна рука мастера, сумевшего дать основательное и научное описание этого своеобразного языка. Нет сомнения, что и русские читатели, в том числе лингвисты, не владеющие лакской речью, получают очень доходчивое и ясное изложение грамматики этого трудного для недагестанцев языка.

М. Я. Немировский

¹ Такие таблицы читатель найдет на стр. 89, 95—100, 109—111, 113—115.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛЬСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В 1945—1955 гг.

Польское языкознание в период между двумя мировыми войнами было более прогрессивным, чем другие гуманитарные науки. Наши работы в общем не подверглись влиянию буржуазного национализма, и, например, вопрос о польско-белорусских языковых границах разрешался добросовестно и объективно. После войны польское языкознание медленно, но верно освобождалось от все еще распространенных реакционных теорий, к которым относились: подход к языку как к самодовлеющему явлению, независимому от человека; психологизм, обращающий внимание преимущественно на то, что говорящий представляет себе в момент речи, и, наконец, теория, которую можно было бы назвать эмоционализмом и которая преувеличивала роль чувственного и индивидуального фактора в языке.

В Польше не была принята система взглядов Фосслера, которую сам автор именует «идеализмом». Структуралистские теории, прежде всего положения Пражского лингвистического кружка, получили большее распространение, однако и они использовались критически, так как большинство польских языковедов всегда стремилось к сопоставлению теоретических положений с языковой действительностью. Подобная ситуация сохранилась и после освобождения Польши в 1945 г.

Вплоть до создания Польской Академии наук польское языкознание в организационном отношении сохраняло довоенные формы. Продолжали работу университетские кафедры и Польское лингвистическое общество, которое объединяет языковедов Польши, устремляет, как правило, ежегодную научную конференцию и издает свой «бюллетень» — «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego» (BPTJ). В Кракове продолжала деятельность Языковая комиссия Польской Академии знаний, проводившая ежемесячные заседания и издававшая серию научных трудов. В Варшаве аналогичную роль выполняла Языковая комиссия Варшавского научного общества.

Еще перед войной существовали научные общества во всех университетских центрах. После войны во Вроцлаве, Лодзи и в Люблине возникли новые; старое торунское общество значительно оживило свою работу в связи с основанием в Торuni университета им. Николая Коперника. Все названные общества ведут в большем или меньшем объеме научную работу и в области языкознания, в частности обнирив их издательская деятельность. Лодзинское научное общество создало в 1951 г. регулярно функционирующую Языковую комиссию.

Популяризацией науки о польском языке (на высоком уровне) и попынке занимается Общество любителей польского языка, издающее журнал «Język Polski» (JP) и время от времени выпускающее какой-либо том своей «библиотечки». Местопребыванием Общества является Краков, кроме того у него имеются отделения (хотя и не всегда проявляющие активность) также и в других городах. Восточной филологией продолжает заниматься Польское Восточноевропейское общество, проводящее научные конференции и издающее журнал «Rocznik Orientalistyczny».

Создание в 1952 г. Польской АН подняло организацию польского языкознания на новую, высшую ступень. Возник Сектор языкознания АН, располагающий в настоящее время шестью группами: тремя в Кракове (под общим руководством акад. К. Нитши) и тремя в Варшаве (под общим руководством члена-корр. В. Дорошевского). В Кракове находятся группа Старопольского словаря (руководитель проф. С. Урбанчик) и группы «Диалектологического атласа» и «Словаря польских диалектов» (руков. акад. К. Нитши). В Варшаве расположены две диалектологические группы (руков. проф. В. Дорошевский и проф. З. Штибер), а также и группа истории языка (руков. проф. Г. Конэчпа). Кроме того, в Кракове находится оломастическая группа, руководимая проф. В. Ташицким; она является учреждением АН, но не входит в состав Сектора языкознания.

Все существующие ныне группы Сектора языкознания ПАН занимаются изучением только польского языка. Исключение представляет лишь II диалектологическая группа в Варшаве, изучающая также польско-чешские языковые отношения в Силезии.

Однако полонистикой занимаются в Польской АН и вне Сектора языкознания, а именно: в Институте литературных исследований. Польские языковеды, сотрудничающие в этом институте, под организационным руководством проф. М. Р. Майеновой работают над составлением словаря польского языка XVI в. Группы этого словаря расположены в Кракове (руков. проф. Ташицкий), Познани (руков. проф. В. Кураш-кевич), Вроцлаве (руков. проф. С. Роспона и проф. Бонк) и Торuni (руков. проф. С. Грабец). Институтом литературных исследований направляется работа академических групп над «Словарем А. Мицкевича». Эту работу осуществляют группы в Торuni (проф. К. Гурский) и Лодзи (проф. С. Грабец). Наконец, языковеды принимают большое участие в научных изданиях польских авторов XVI и XVII вв. (по линии Института литературных исследований).

Работа по славянскому языкознанию в составе Польской АН сосредоточена почти целиком в двух группах Сектора языкознания — краковской и варшавской. Обе эти группы находятся еще в процессе оформления и в них исследуются не только славянские языки, но и вопросы славянского литературоведения. Изучение восточных языков ведется в Секторе востоковедения ПАН. В Польской АН разрабатывается также очень нужный для полонистов «Словарь средневековой латыни в Польше».

Вне Академии наук также имеются языковедческие группы, в большей или меньшей степени находящиеся под ее опекой. Это касается таких учреждений, как 1) группа «Словаря современного польского языка» (руков. проф. В. Дорошевский), подготовкой которого занято около 60 постоянных сотрудников; 2) группа восточнославянских языков Польско-советского института (руков. профессора А. Яблоньска, В. Якубовский, А. Миревич, П. Зволинский); 3) группа «Морского словаря» при Обществе друзей науки и искусства в Гданьске (куратор от ПАН П. Зволинский). Польская АН совместно с Министерством высшего образования утверждает также планы научных работ всех университетских кафедр, в том числе и лингвистических. Специальные субсидии ПАН получали в последнее время только две кафедры: польского языка в Кракове и Познани.

Языковедческую работу в Польской АН и в известной степени за ее пределами стремится координировать Комитет языкознания (председатель акад. К. Питш). Комитет ежемесячно устраивает научные заседания в Варшаве или Кракове. Здесь обсуждаются как более общие проблемы языкознания и методологические вопросы, так и конкретные работы, выполненные в Секторах АН или на университетских кафедрах. Комитет разрабатывает перспективные планы отдельных отраслей языкознания и рассматривает общие планы языковедческих Секторов и различные вопросы организации работы в области языкознания, в частности издательские планы. Комитет издает три серии научных трудов: «Prace językoznawcze», «Monografie polskich cech gwarowych» и «Prace onomastyczne», а кроме того, журнал «Rocznik Slawistyczny». При Комитете существует также Комиссия культуры речи.

Вопросами славянского языкознания занимается также в известной мере Комитет славистики и русистики ПАН, а вопросами восточной филологии — Комитет ориенталистики ПАН. В 1953—1955 гг. польские языковеды приняли активное участие в трех научных сессиях Польской АН: «сессии Возрождения» (1953 г.), Поморской сессии (Гданьск, 1954 г.) и сессии памяти А. Мицкевича (1955 г.). На каждой из этих сессий языковеды выступали с рядом докладов, в которых по-новому освещались вопросы, связанные с основными темами указанных сессий.

Языковедческие исследования проводятся также на кафедрах университетов в Варшаве, Кракове, Познани, Вроцлаве, Лодзи, Торuni и Люблине. Кроме восьми кафедр польского языка, научением языком заняты обе кафедры славянской филологии (Варшава, Краков), четыре кафедры восточнославянских языков (две в Варшаве — русского и украинского языков, и в Кракове и Вроцлаве), кафедры индоевропейского языкознания и балтийской филологии в Познани, наконец, кафедры «новых языков» (романской филологии в Кракове и Варшаве, германской филологии в Познани, а также кафедры английской филологии в Варшаве). Из кафедр общего языкознания эффективно работают краковская и вроцлавская (причем первая занимается и индоевропестикой); варшавская кафедра с 1954 г. (после смерти З. Рысевича) ведет научную работу в ограниченном масштабе. Изучение восточных языков ведется на кафедре восточной филологии в Кракове, а также (главным образом) в Восточном институте Варшавского университета, объединяющем шесть кафедр. Работы языковедческих кафедр Ягеллонского университета (Краков) объединяет в известной степени Институт языкознания этого университета.

Часть современных польских лингвистических журналов существовала до войны, некоторые возникли вновь. К старым журналам относятся прежде всего «Rocznik Slawistyczny», в котором печатаются статьи по славянскому языкознанию и библиография славистики. Первый том вышел в 1908 г., том XVII — в 1955 г. Таким образом, на протяжении 47 лет появилось только 17 томов этого серьезного и известного журнала. Тот факт, что за десять послевоенных лет опубликованы лишь 2 тома, очень отрицательно сказывается на состоянии нашей славистики.

«Język Polski» (обычно выходит 5 выпусков в год) издается очень аккуратно (если не считать перерыва, вызванного гитлеровской оккупацией) уже с 1913 г. Он занимается популяризацией полонистики, т. е. помещает прежде всего научные работы в области польского языкознания, написанные таким образом, чтобы их могли понять студенты-полонисты III и IV курса. Более популярный характер носит варшавский ежемесячник «Poradnik językowy» (PJ), который тем не менее также является научным журналом и помещает оригинальные работы. Этот журнал выходит в Варшаве с 1932 г. (с перерывом в годы оккупации), являясь (правда, скорее только по названию) продолжением журнала, выходившего в Кракове с 1901 г.

В 1927 г. появился первый том уже упоминавшегося выше «Бюллетени Польского лингвистического общества», на страницах которого помещаются статьи общего характера. «Бюллетени» теперь выходит регулярно; с 1948 г. появилось 7 выпусков.

В то же время — по не вполне понятным причинам — перестал выходить известный варшавский журнал «Prace Filologiczne». Точно так же прекратил свое существование другой ценный журнал, познанская «Slavia Occidentalis» (SO), посвященный по преимуществу вопросам изучения исчезнувших западнославянских диалектов. Этот журнал издавался с 1921 г. и до войны выходил ежегодно, в послевоенное же время были выпущены только два его тома (тома XVIII и XIX).

В предвоенные годы в этом журнале иногда имели место антинемецкие тенденции: нам кажется, однако, что эти реакционные тенденции легко было устранить, не ликвидируя самого издания. Не было восстановлено после войны также издание журнала «Lud słowiański» (LS), на страницах которого в 1929—1937 гг. появилось много интересных статей по славянской диалектологии и этнографии.

Новым журналом, пять книг которого уже появилось в настоящее время, является «Lingua Posnaniensis» (это название может вызвать ряд недоумений!). «Lingua Posnaniensis» (LP) помещает статьи по всем разделам языкознания; в нем сотрудничают по большей части зарубежные ученые как с Востока, так и с Запада. Характер периодического издания приобретают также «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej» (т. I появился в 1955 г., т. II находится в печати). В 1955 г. появился первый выпуск нового журнала «Onomastica». Наконец, объединившиеся после войны лодзинские языковеды с 1954 г. регулярно издают «Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego». К настоящему времени вышли два тома, третий том находится уже в печати, четвертый подготовлен к печати.

В 1945—1955 гг., как и в довоенные годы, много языковедческих статей было опубликовано в таких нелингвистических изданиях, как «Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności» (до 1952 г.), «Pamiętnik Literacki» (PL), «Prace Polonistyczne», «Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego» и т. п. Отдельные большие труды регулярно издают, кроме Польской АН, также провинциальные научные общества и такие крупные издательства, как фонд имени Оссолинских (Ossolineum) или Государственное научное издательство.

В настоящее время исследовательские работы в Польше в большей степени, чем это было до войны, сосредоточены вокруг проблем польского языкознания. При этом современному польскому языку посвящено сравнительно немного исследований. Самым важным трудом в этой области, несомненно, будет большой словарь современного польского языка (10 томов, около 100 тыс. слов), подготовляемый под руководством В. Дороневского. Этот труд заменит, наконец, мало удовлетворительный с научной точки зрения «Варшавский словарь» Карловича и Крыньского (второе фототипическое издание которого, впрочем, появилось недавно, так же как и фототипическое издание «Словаря Линде», составленного в начале XIX в.). Первая часть первого тома нового словаря появится уже в 1956 г. Сам словарь, а в еще большей степени материалы, собранные в картотеках лаборатории, несомненно, явятся основой для целого ряда работ, особенно по области польского словообразования. К настоящему времени в журнале «Poradnik Językowy» уже появилось много статей по лексике и фразеологии, выполненных в процессе подготовки словаря (С. Скорунки и др.).

Ценной работой в области польской лексикографии является «Словарь иностранных слов» под ред. З. Рысевича. Описательная грамматика польского языка после войны получила разработку в труде В. Дороневского «Podstawy gramatyki polskiej» (1952). В области синтаксиса появились ряд работ З. Клеменевича, А. Мировича, Ст. Ёдловского (Jodłowskiego) и др. З. Клеменевич издал вновь разработанный «Zarys składni polskiej» (1953). Другие работы касаются по преимуществу вопросов общего синтаксиса, но основаны главным образом на польском материале.

В области словообразования следует отметить работу П. Клеменевич «Wyrazy złożone powszechniejszy polszczyzny kulturalnej» (1952). Вопросы современного и исторического словообразования касается большая работа Е. Курковской «Budowa słowotwórcza przysłówników polskich» (1954), а также монография П. Зволиньского «Liczelniki zespolowe typu samotrzeć» (1954); вопросы словоизменения явились предметом работы Я. Токарекого о польском глаголе.

В области фонетики необходимо выделить прежде всего работу Г. Конэчной

и В. Завадовского «Przekroje rentgenograficzne głosek polskich» (1951). Книга М. Длу-ской «Fonetyka polska», ч. 1 (1950) носит больше характер учебного пособия. Экспериментальные работы по польской фонетике ведет В. Ясsem (Познань).

К серьезным трудам относятся монография М. Баргелувны и опирающаяся на нее работа Е. Куриловича о группах согласных в польском языке (ВРТЖ). Некоторых проблем современной польской фонологии касались Э. Клеменевич, Т. Милевский, Э. Штибер, П. Зволинский.

Среди работ по старопольскому языку первостепенное значение имеет уже названный «Старопольский словарь» (до 1500 г., в настоящее время вышло 6 тетрадей — до слова *świntnia*). Его продолжением явится более обширный (около 12 томов?) «Словарь языка XVI в.», пробная тетрадь которого должна появиться в 1956 г. В ходе работы над этим словарем возник целый ряд исследований языка писателей XVI в. (Курашкевич, Роспонд, Грабец, Зволинский), которые вскоре появятся в языковедческом выпуске трудов «сессии Возрождения». Группа истории польского языка в Варшаве предполагает начать подготовку словаря польского языка XVII в., развернуть изучение вопросов морфологии и синтаксиса этого периода, монографически описать язык отдельных авторов XVII в. и т. п. Указанные работы находятся в начальной стадии.

Важными трудами в области послевоенной польской лексикографии являются «Studia Słownikowe» (1949) К. Нитша, а также «Nazwy barw w historii i dialektach języka polskiego» (1954) А. Зарембы. Интересна также работа Л. Мошинского «Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie» (1954).

Теоретические проблемы лексикографии освещаются в книжке В. Дорошевского «Z zagadnień leksykografii polskiej» (1952).

С названными уже трудами по языку XVI в. смыкается изданная в 1949 г. большая монография С. Роспонда «Studia nad językiem polskim XVI w.». Эта работа, как и языковедческие доклады на «сессии Возрождения», тесно связана с проблемами возникновения польского литературного языка, который окончательно оформился в первой половине XVI в. Дискуссия на эту волнующую польских языковедов тему, развернувшаяся еще до войны, значительно оживилась в последнее время. В ней приняли участие Нитш, Ташицкий, Курашкевич, Урбанчик, Роспонд и др.

Следует обратить особое внимание на статью В. Ташицкого «Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historyczno-językowych» (LP) и книжку В. Курашкевича «Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej» (1955). Первый из авторов отстаивает гипотезу малопольского происхождения литературного языка, второй защищает в основном «великопольскую» гипотезу.

Исследования о происхождении и развитии польского литературного языка невозможно отделить от изучения вопросов польской исторической диалектологии. Наши сведения о давнем диалектном членении польской языковой области в настоящее время довольно обширны. С соответствующими работами лучше всего знакомит библиографический указатель, приложенный к только что упомянутой книжке Курашкевича.

Из проблем исторической диалектологии польских лингвистов особенно интересует проблема хронологии мазурения, т. е. время совпадения давних рядов *s, z, c, dz* и *ś, ź, ć, dź* в один ряд *s, z, c, dz* (*syja, zaba, cysty, jezdze*). Некоторые ученые в прошлом рассматривали это явление как очень древнее, восходящее еще к праславянской эпохе, и связывали его возникновение с воздействием какого-то иноязычного субстрата (финского или кельтского). Уже перед войной серьезно поколебал эту гипотезу М. Малэцкий, который доказывал, опираясь на относительную хронологию, что мазурение могло возникнуть самое раннее в XI в. После войны этот вопрос вновь поднял В. Ташицкий в работе «Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim» (1948). Тоже прибегая к относительной хронологии, он в этой работе стремился доказать, что мазурение возникло на Мазовии в XIV в., а в Малой Польше распространилось только в XVII в. Развернулась длительная дискуссия, в которой приняли участие Нитш, Курилович, Роспонд, Браерский (ВРТЖ, 1954), Конэчна (PJ, 1954) и др. Большинство авторов высказалось за позднее происхождение этого явления; мало-помалу установилось мнение, что мазурение не могло возникнуть раньше XII в.

В. Ташицкий, как и до войны, работает над проблемами исторической диалектологии. Появился ряд его работ (о малопольском изменении *-ch* в *-k*, о севернопольском типе *końc, domk*, о южнопольском прошедшем времени типа *byłech* и т. д.); они публиковались преимущественно в «Отчетах» Польской Академии знаний (Sprawozdania PAN). Уже давно Ташицкий приступил к подготовке книги «Очерк польской исторической диалектологии». Появление ее ожидается с большим интересом.

Интенсивную работу в области исторической диалектологии ведет также В. Курашкевич. Большая часть его прежних статей и мелких заметок по упомянутому вопросу вошла в уже названную его книгу «Pochodzenie polskiego języka literackiego». Ценные для исторической диалектологии данные содержат также работы С. Роспонда и др. Некоторых успехов в этой области достиг молодой лодзинский центр. Прежде всего нужно отметить большую работу В. Шмеха «Rozwój historyczny polskich grup

spółgłoskowych *śr, *zr, *źr» (1953); кроме того, в журнале «Język Polski» находим статьи на указанную тему П. Вияктерувны и З. Штибера.

Вопрос влияния восточнославянских и чешского языков на польский литературный язык разрабатывали С. Грабец «Elementy kresowe w języku polskim XVI i XVII w.» (1949), С. Урбанчик и З. Штибер (см. ниже). Проблеме «внешней» истории польского языка посвящены две работы: С. Слоньского «Dzieje języka polskiego» (второе, переработ. издание вышло в 1953 г.), а также два издания (1-е в 1947 г., 2-е в 1951 г.) книги Т. Мер-Славинского «Język polski. Pochodzenie. Powstanie. Rozwój». Более обширный труд на эту тему готовит проф. З. Клеменевич. Важны также следующие работы: книга В. Ташицкого «Obroty języka polskiego w XVI—XVII w.» (1953) и ценная библиография, составленная под руководством М. Р. Майеновой, «Walka o język w literaturze staropolskiej» (1953).

В области собственно исторической грамматики польского языка следует прежде всего отметить большую (почти в 600 стр.) книгу З. Клеменевича, Т. Мер-Славинского и С. Урбанчика «Gramatyka historyczna języka polskiego» (1955). Эта книга имеет характер университетского учебника; главным автором ее является З. Клеменевич; Мер-Славинскому принадлежат главы об отношении польского языка к другим славянским и раздел о развитии польского ударения; Урбанчик написал части, освещающие отражение рассматриваемых явлений в польских диалектах.

Историческую фонетику вновь разработал З. Штибер в книжке «Rozwój fonologiczny języka polskiego» (1952). По методу эта книга отличается как от прежних работ Лося, так и от упомянутой работы Клеменевича тем, что он в ней рассматривает развитие не отдельных звуков, а эволюцию системы гласных и согласных. Исторический синтаксис польского языка разрабатывает краковский коллектив под руководством З. Клеменевича.

Множество статей, касающихся отдельных вопросов исторической грамматики польского языка, напечатано в различных лингвистических журналах. Из них стоит отметить статьи В. Цярана «Ślady iloczasu w głównych zabytkach języka polskiego» (1952), Клеменевич-Байеровой о развитии группы согласных в польском языке, Зволинского «Przejście *ł* w *u* w języku polskim» (1949), напечатанные в BPTJ, и др. Об историческом развитии новопольского ударения писали прежде всего М. Длуэка в книге «Prozodia języka polskiego» (1947) и Г. Турека в статье «Zagadnienie miejsca akcentu w języku polskim» (1950). Обе эти работы содержат много нового и интересного, однако выводы, к которым приходят их авторы, нельзя признать окончательными.

Проблема эволюции польского ударения тесно связана с развитием стихосложения. Наиболее серьезной работой, посвященной развитию польского стиха, является книга М. Длуэкой «Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej» (ч. 1—1948, ч. 2—1950). Языком отдельных писателей занимались: В. Дорошевский (Язык Г. Т. Ежа), С. Слоньский (О языке Яна Кохановского), а также (в связи с «сессией Возрождения») С. Грабец (язык Берната из Люблина и Базылика), В. Курашкевич (язык Рея), С. Роспонд (язык Кохановского) и П. Зволинский (язык М. Бельского). Языку Мицкевича лингвисты посвятили несколько докладов на сессии А. Мицкевича, проведенной ПАН.

Исследования старопольского языка способствуют повышению качества изданий средневековых рукописей и печатных польских памятников XVI и XVII вв. Очень ценной является книга В. Курашкевича и А. Вольфа «Zapiski i rotły polskie XV i XVI w. z ksiąg sądowych ziemi wierzawskiej» (1950). Постепенное значение имеет фототипическое издание Гнезненских проповедей (рукопись конца XIV в.), сопровождаемое транслитерацией и филологическим разбором (1953). Этот труд, как и более раннее издание (к сожалению, одна только фототипия) огромного памятника рубежа XV и XVI вв., так называемых Перемышльских размышлений (1952), выполнил проф. С. Вершинский (Познань).

Издание старопечатных польских книг продолжала после войны «Библиотека польских авторов» Польской Академии знаний, однако все они с языковедческой точки зрения были несовершенными, кроме критического издания евангелия Маленского (XVI в.), выданного Я. Иношом. Издания указанной «Библиотеки» продолжает теперь Институт литературных исследований. Старопечатные тексты в настоящее время издаются фототипически наряду с точной научной транслитерацией и полным филологическим комментарием. В этой работе очень большое участие принимают польские языковеды. Первым изданием этого типа явилось «Krótka rozprawa» Рея (1543), появившееся в связи с «сессией Возрождения» (1953).

В настоящее время в Польше широко развернулись исследования в области современной польской диалектологии; они сосредоточены (однако отнюдь не целиком) в Секторе языкознания АН. Одной из основных работ является «Малый диалектологический атлас польского языка». Материал для него собрали университетские кафедры еще до создания группы. Исследованию подверглись около ста населенных пунктов, расположенных на всей территории распространения польского языка. Вопросник для «Атласа» содержал 602 параграфа. Он был после длительного обсуждения

составлен на основе всех предшествующих сведений о польских диалектах. Вопросы построены таким образом, чтобы на основе ответов можно было составить общее представление о фонетике, морфологии, а также лексике говоров всей Польши. При составлении вопросника в большей степени учитывался исторический аспект. Поэтому ответы на некоторые вопросы могут помочь решению проблемы возникновения общенародного и литературного языка.

Очень важным дополнением к «Атласу» в области географии слов будет новый «Польский диалектологический словарь», разрабатываемый в Кракове под руководством К. Нитша. Этот словарь будет более полным и более обстоятельным, чем одноименный словарь, издавший в начале XX в. И. Карловичем. Он не только будет содержать огромное количество диалектных слов и выражений, но и свидетельствовать о границах распространения каждой формы.

Что касается описания диалектов отдельных областей Польши, то на первое место следует поставить работу по изучению говоров Вармии и Мазур (в северных областях Польши, воссоединенных в 1945 г.) под руководством проф. Дорошевского. Ряд монографий по лексике и фонетике упомянутых диалектов уже подготовлен к печати. В настоящее время интенсивное изучение диалектов северо-восточных областей Польши (Мазовские и Подлясье) ведет группа проф. Дорошевского (I диалектологическая группа АН в Варшаве). Кроме того, эта группа подготовила исчерпывающий (около 4000 вопросов) диалектологический вопросник, показывающий результаты исследования в виде многочисленных схем. Все мы с нетерпением ожидаем его опубликования.

С 1954 г. II диалектологическая группа АН в Варшаве изучает вопрос об отношении кашубских диалектов к севернопольской диалектной группе. Результаты этой работы будут обобщены прежде всего в «Атласе поморских диалектов на левобережье нижней Вислы». Сетка обследуемых населенных пунктов гуще всего в кашубской области и реже — на соседних территориях. В целом обследуется свыше 230 пунктов; вопросник содержит около 2 тыс. вопросов.

Изучением диалектов, расположенных на правом берегу нижней Вислы, уже несколько лет занимается кафедра польского языка Торунского университета им. Н. Коперника (проф. Г. Турека). Весьма любопытные результаты этой работы вызвали большой интерес у участников Поморской сессии АН, которая состоялась в Гданьске осенью 1954 г. в связи с пятилетием воссоединения Поморья с Польшей. В основной сессии занималась вопросами истории, но работала и секция языкознания. На пленарном заседании акад. К. Нитш доложил об истории языковедческого изучения Поморья. На секционном заседании акад. Т. Лер-Сплавинский дал характеристику исчезнувших диалектов западного Поморья, а затем В. Дорошевский, Н. Смочинский, Г. Турека и З. Штибер описывали современное состояние поморских говоров — от кашубских до мазурских в быв. Восточной Пруссии. Круг поставленных проблем был тесно связан с историческим развитием территорий между нижним течением Одры и Немана. В заседаниях секции языкознания принимали участие многие историки, вследствие чего развернувшаяся дискуссия принесла пользу представителям обеих наук. Языковедческие доклады на Поморской сессии наряду с материалами дискуссии появятся в виде отдельного издания в 1956 г.

Изучение диалектов части центральной польской территории ведет Лодзинский центр (проф. К. Дейна). Здесь подготавливается «Диалектологический атлас северной Малопольши», т. е. территории между Краковом и Радомом. Важные исследования в области диалектологии ведутся также в Познани. Люблинский центр планирует работу по созданию диалектологического атласа люблинщины.

Кафедра фонетики Познанского университета с 1945 г. осуществляет запись диалектной речи на фонографические пластинки. На магнитофонные ленты записывается диалектная речь на кафедре фонетики Варшавского университета (проф. Коньча). Эта кафедра ведет изучение диалектной фонетики также и обычными слуховыми методами.

Общая картина польских диалектов представлена С. Урбанчиком в книге «Zarys dialektologii polskiej» (1953). Это университетский учебник, опирающийся в основном на капитальную работу Нитша «Dialekty języka polskiego» (1923), но учитывающий также результаты позднейших исследований. Отдельные научные работники работают над монографиями, посвященными описанию менее обширных районов или даже отдельных селений. После войны опубликованы диалектологические монографии погибших во время оккупации диалектологов Г. Фридриха «Gwara kurpiowska» (в Мазовские) и Н. Големба «Gwara Schodni na Śląsku». Издана также монография «Gwara podgrodzka» (в Прикарпатье) Е. Павловского. В 1950 г. появилась книга З. Соберайского «Gwary kujawskie». Монографически разрабатываются также многие диалектные явления, ведется сравнительное изучение лексики и т. д. Проблемами диалектного синтаксиса занимается Г. Коньча (ВРТИ). О проблематике диалектологических работ велась, а частично ведется и в настоящее время оживленная дискуссия как на страницах лингвистических журналов, так и на заседаниях Комитета языкознания АН.

Самой серьезной работой, посвященной изучению социальных жаргонов, является

книга проф. Г. Улашина «Język złodzejski» (1949). Ономастикой и топонимикой занимаются у нас в различных местах. Прежде всего нужно назвать группу «Словари старопольских личных имен» АН в Кракове (руков. проф. В. Ташицкий). Этот словарь охватывает весь материал по личным именам до 1500 г. В той же группе изучаются и названия польских местностей до 1250 г. Второй большой работой по ономастике является «Словарь силезских фамилий» (Вроцлав, руков. проф. С. Роспонд). Из более частных работ укажем на «Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu» (1951) Ташицкого. В лодзинском центре изучается история давних местных названий ленчицкой и серадзской земель, в Торунии работают над топонимией областей, расположенных по правобережью нижней Вислы.

В печати находится обширная монография К. Циргофера (Познань) о старых местных названиях Мазовья. В ближайшее пятилетие кафедры польского языка всех университетов должны развернуть работу по сбору народных названий всех населенных пунктов в Польше. Ономастическую работу в Польше целиком координирует ономастическая комиссия Комитета языкознания АН.

Над этимологией польских слов работает преимущественно Ф. Славский. Появились уже четыре выпуска его «Этимологического словаря польского языка». Много статей об этимологии польских слов иностранного происхождения опубликовал проф. Е. Слушкевич.

Польская академия знаний издала после освобождения ценную работу французского полониста А. Граппэна: «Les noms du nombre en polonaise» (1950). Сейчас печатается (в издательстве ПАН) большая работа Граппэна о польском имени существительном.

Славянское языкознание в Польше в первые годы после войны пришло в упадок, однако теперь оно начинает вновь оживать. наших языковедов живо интересуют проблемы взаимоотношения славянских языков и диалектов. Этим проблемам в значительной степени был посвящен последний съезд Польского языковедческого общества (1954 г.). На съезде были зачитаны следующие доклады: В. Курашкевича о родственных отношениях восточнославянских языков, Ф. Славского о взаимоотношениях южнославянских языков и З. Штибера о родстве западнославянских языков. Общий доклад сделал Т. Лер-Сплавинский. Эти доклады опубликованы в последнем (XIV) номере BPTJ.

Слабо представлены у нас труды по сравнительной грамматике славянских языков. Наиболее серьезная послевоенная работа в этой области — раздел о балто-славянских отношениях в книге Куриловича «L'accentuation indo-européenne» (1952), хотя этот материал уже выходит за пределы славянского языкознания. Из более мелких работ самой ценной является статья Ф. Славского «Oboczność Q : u w językach słowiańskich» (SO, 1947). Общеславянскими проблемами занимается также краковская группа сектора славяноведения АН, где изучается основной словарный фонд праславянского языка. Вопросы славянской прародины подверглись глубокому освещению в известной книге Т. Лер-Сплавинского «O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian» (1947). Автор, исходя из лингвистических, археологических, антропологических и этнографических фактов, считает этой прародиной междуречье Одры и Вислы. В последующие годы (например, во втором издании книги «Język polski») он несколько изменил свои взгляды, включив в прародину славян также и области между Бугом и средним течением Днепра. «Автохтонной» теории относительно славянской прародины придерживается в своих статьях и проф. Н. Рудзинский. Дискуссия на эту тему у нас еще не может считаться законченной. Кстати следует заметить, что подготовлена к печати большая книга известного этнографа с солидной лингвистической подготовкой К. Мониńskiego, который на основе лингвистических фактов относит границы славянской прародины еще дальше на восток, чем Лер-Сплавинский. Статьи о балто-славянском языковом единстве опубликовали Т. Лер-Сплавинский, Н. Стрембский, Я. Сафаревич.

Сравнительно мало занимаемся у нас изучением старославянского языка. Наиболее серьезными трудами в этой области являются указатель к Зографскому кодексу, подготовленный В. Курашкеничем, и работа С. Слоńskiego над Ассеманцевым кодексом, а также книга последнего «Gramatyka języka starsłowiańskiego», изданная в 1950 г.

Из исследований частного характера успешнее всего разворачивается работа в области диалектологии. Следует указать обобщающие труды учебного характера: книги В. Курашкевича «Zarys dialektologii wschodnio-słowiańskiej» (1955) и З. Штибера «Очерк западнославянской диалектологии» (в печати). Кроме того, подготовлена к печати работа К. Дейны в области восточнославянской диалектологии — «Gwarę ukraińskie na zachodniej stronie Zbrucza», опирающаяся на обширные наблюдения, которые вел автор перед войной на территории между Буковиной и Вольной. Подготовлен к печати также первый выпуск лингвистического атласа прежней Лемковской области, составленный З. Штибером. Обе указанные работы появятся, вероятно, в 1957 г. Другие польские языковеды (Грабси, Курашкевич) в настоящее время также приступили к обработке материалов по украинской и белорусской диалектологии, которые были собраны ими еще до войны. В группах Польско-советского

института изучаются белорусские говоры на территории Польши (руков. А. Яблош-ска), а также язык русских поселений (преимущественно староверов) в Мазурах и Под-лясье (руков. А. Мирович). Общую работу об украинских говорах (университетский учебник) готовит В. Курашкевич.

В области западнославянской диалектологии прежде всего нужно отметить двух-томную работу К. Дейны «Polsko-czeskie pogranicze językowe» (ч. I—1949, ч. II—1951), являющуюся очень тщательным описанием чешских и польских пограничных диалек-тов в ратиборском и глубичицком поветах Силезии. Независимо от полемики, которая ведется между польскими и чешскими учеными относительно происхождения говоров, расположенных по обе стороны чешско-польской языковой границы, нужно подчерк-нуть, что изучение этих диалектов благодаря трудам К. Дейны, с одной стороны, и чешского диалектолога А. Келнера и его учеников, с другой, достигло очень высокого уровня. Из других работ Дейны выделяется прежде всего его статья о говоре «морав-ского» селения Браницы в глубичицком повете (Rozpr. Kom. Jęz. Łódz. Tow. Nauk., 1954), которое некоторые ученые неправильно рассматривали как давнее лужицкое поселение. В настоящее время Дейна изучает языковые «островки» чешских переселен-цев в Польше.

Вопросами диалектологии польско-чешского пограничья занимаются также II диалектологическая группа АН в Варшаве и кафедра славянской филологии Варшав-ского университета. Между прочим, здесь составляется сравнительный словарь двух сел, расположенных по разным сторонам языковой границы — в ратиборском повете, а также словарь чешских говоров окрестностей Кудовы в Кладской области (Нижняя Силезия).

В. Ташицкий посвятил славянской топонимике капитальное исследование «Słowiańskie nazwy miejscowe» (1947). В послевоенное время украинской топонимике Кар-пат были посвящены две большие работы: С. Грабца «Nazwy geograficzne Hucul-szczyzny» (1949) и З. Штибера «Toponomastyka Lemkowszczyzny» (ч. I — 1948, ч. II—1949). Топонимике польско-чешской пограничной области уделил внимание К. Дейна во II томе «Rozpr. Kom. Jęz. Łódz. Tow. Nauk.» (1955). Топонимическими проблемами общеславянского характера занимался М. Карась (см. его исследование «Nazwy miej-scowe typu Podgóra, Zalas», 1955). Несколько небольших работ по болгарской топони-мике опубликовал П. Зволинский. Только в 1948 г. увидела свет чрезвычайно ценная книга Я. Розвадовского «Studia nad nazwami wód słowiańskich», подготовленная еще в период первой мировой войны.

Над описательной грамматикой чешского языка в Польше работает преимущест-венно доц. А. Сечковский. В печати находится его обширное сравнительное исследова-ние польских и чешских прилагательных. Учебник болгарской грамматики издал в 1953 г. Ф. Славский. Он же является автором ряда небольших статей в этой области.

В 1953 г. появилась первая часть (фонетика) описательной грамматики русского языка, принадлежащая А. Мировичу. Опубликована также фонетика русского языка проф. Г. Улашина. Вполне оригинальной работой будут «Rentgenogramy głosek rosyj-skich», подготовленные к печати Г. Конэной и профессором-рентгенологом В. Зава-довским.

В. Курашкевич в ближайшее пятилетие намеревается написать историческую грам-матику русского языка, а П. Зволинский работу о фонологическом развитии украин-ского языка. Университетский курс исторической грамматики чешского языка Т. Лер-Славинского и З. Штибера должен появиться не позднее 1957 г. Работой научного характера, хотя и предназначенной для удовлетворения практических потребно-стей, должен стать четырехтомный русско-польский словарь, готовящийся в Польско-советском институте. Тот же институт готовит украинско-польский и польско-белорус-ский словари. Другие славянско-польские словари подготавливает кафедра славян-ской филологии Ягеллонского университета в Кракове.

В области изучения восточно-славянских памятников выделяются работы покойного Я. Янова о лексике украинских источников и книга А. Яблошской «Słowo o wurgawie Igoga» (1954). Польско-советский институт планирует также изучение язы-ка некоторых украинских и белорусских памятников.

Комитет славяноведения АН поручил нескольким ученым реферирование работ о взаимовлияниях славянских литературных языков, видя в этой работе базу для после-дующих исследований. До сих пор подобные рефераты представили Г. Ожеховска (вза-имовлияния русско-болгарские) и А. Сечковский (польско-чешские взаимосвязи). Статья З. Штибера о чешском влиянии на формирование польского литературного язы-ка появится скоро в чешско-польском сборнике (ч. II), подготовленном Силезским ис-следовательским институтом в Опаве. Вопросами чешского влияния на польский язык XV в. занимался С. Урбанчик в обширной и ценной работе «Z dawnych stosun-ków językowych polsko-czeskich», ч. I (1946). В настоящее время Урбанчик и С. Речек изучают чешское влияние на язык старых польских псалтырей. К изучению чешских элементов в польском языке XVI в. приступает Варшавская славистическая группа АН. Мы уже говорили о книжке С. Грабца «Elementy kresowe w języku pisarzy pols-

lich XVI i XVII w.». Взаимные польско-украинские влияния будут, кроме того, изучаться группами Польско-советского института.

Не прекращается работа по изучению вымерших западнолехитских диалектов. Самой ценной из этих работ будет «Этимологический словарь полабского языка», который готовят проф. Лер-Силавинский и магистр Полянский. Сравнительной грамматикой индоевропейских языков у нас занимается прежде всего Е. Курилович. Его книга «L'accentuation indo-européenne» (1952) известна многим советским языковедам. Меньшие по объему работы в этой области он публиковал в ВРТЖ, а также в иностранных журналах. Большая работа Куриловича «L'apophonie indoeuropéenne» напечатана сейчас в серии «Prace językoznawcze» Комитета языкознания АН. Интересна также книга Л. Заброцкого «Uśilnienie i lenicja w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim» (1949).

Обращаясь к изучению групп или отдельных индоевропейских языков, нужно сказать, что над балтийскими языками (прежде всего литовским) работает преимущественно Я. Отрембский. Его большой труд, посвященный литовской грамматике, уже серьезно продвинулся вперед. Среди других работ, ведущихся под руководством проф. Отрембского, отметим: подготовку к научному изданию древнелитовской библии Хылиньского и исследование лексики Постиллы Даукши. Албанским языком у нас занимается только доц. В. Цимоховский. В 1951 г. появилась его ценная работа по албанской диалектологии «Le dialect de Dushmani».

Лингвистическая работа в области германистики сосредоточена главным образом в Познани (проф. Заброцкий, доц. Фосс); исследуются, впрочем, почти исключительно вопросы немецкого языкознания. Планы этого центра представляются очень смелыми: в ближайшие годы здесь намерены разработать на основе новых методов историческую грамматику и исторический атлас немецкого языка. Изучением индийских языков занимаются ныне главным образом в Кракове, французского — кафедры романской филологии в Варшаве (проф. Г. Левицка) и Кракове (проф. З. Черный), древнеанглийского (XV и XVI вв.) — кафедра английской филологии в Варшаве (проф. М. Шлаух). Проф. Я. Сафаревич (Краков) после войны издал разработанную по-новому историческую грамматику латинского языка и отдельно — исторический синтаксис этого языка. Изучением хеттского языка в настоящее время занимается главным образом проф. Ранюшек (Восточный институт Варшавского университета). Работы в области индоевропейской лексики и этимологии ведет проф. Э. Слущкевич. Таким образом, в области изучения индоевропейских языков у нас имеются существенные пробелы. Кроме Е. Куриловича, почти никто не занимается у нас романскими (исключая французский), скандинавскими, кельтскими, иранскими и др. языками.

Неиндоевропейские языки представлены главным образом в Восточном институте Варшавского университета и в Секторе востоковедения АН. Семитские языки, прежде всего абessinский, изучает С. Стрельцын. Тюркскими языками занимается преимущественно проф. А. Зайончковский, китайским — Я. Хмелевский, японским — В. Котаньский. Изучением монгольских языков занимался недавно умерший М. Левицкий. Кроме того, семитскими языками занимается Е. Курилович (статьи в ВРТЖ). Т. Милевский уже ряд лет разрабатывает проблемы языковой типологии американских индейцев (статьи в ВРТЖ и ЛГ). Р. Стопа изучает бушменский и готтентотский языки.

Общим языкознанием у нас занимается больше людей, чем обычно думают. Используя материалы своих работ в области индоевропейистики, Е. Курилович время от времени посвящает какую-либо статью проблемам общего языкознания (ВРТЖ). Как известно, он с определенной симпатией относится к взглядам датского лингвиста Л. Ельмслева. Однако различие между этими двумя учеными велико. Ельмслев занимается исключительно в области чистой теории, совершенно не занимаясь языковыми фактами. В противоположность Ельмслеvu, Курилович анализирует прежде всего языковые факты, сопоставляя их и соотнося с ними с глубоко разработанной методикой сравнительно-исторического исследования. Мало кто из современных языковедов может оперировать столь огромным и хорошо усвоенным материалом самых различных языков, как это делает Курилович. Это не означает, что мы согласны со всеми его взглядами. Некоторые из них, несомненно, являются очень спорными, но знакомство с этими воззрениями всегда приносит читателю много пользы.

Больше внимания уделяет проблемам общего языкознания Т. Милевский, автор ценной, хотя и требующей некоторых оговорок книги «Zarys językoznawstwa ogólnego», два тома которой появились в 1947—1948 гг., а третий (посвященный языковой типологии) подготавливается. Проблемы фонологии обсуждали Курилович, Левицка, Милевский, Штибер, Зволньский. Вопросами теоретического синтаксиса, по преимуществу на польском материале, у нас занимаются многие научные работники (Клеменевич, Миревич, Дорошевский и др.). На обширном материале ряда языков строят свои синтаксические работы Курилович, Л. Завадовский, Я. Хмелевский, Т. Милевский занимается синтаксисом языков американских индейцев. Вопросами частей речи занимаются главным образом Едловский и Миревич. К области теории словообразования относится работа Дорошевского «Kategorie słowotwórcze» (1947).

Важному вопросу развития речи ребенка посвятил П. Смочиньский обширную монографию «Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego» (1955). Работа опирается исключительно на польский материал (объектом наблюдения были дети автора), тем не менее она имеет значение для общего языкознания. Ценными являются также исследования С. Скорупки и Л. Качмарека.

Общими вопросами стилистики много занимается З. Клеменевич. Самым крупным достижением в этой области является II том работы С. Скварчипьской «Wstęp do nauki o literaturze» (1954), посвященный в целом языку как материалу художественного произведения. Обширную рецензию на эту работу написал с языковедческой точки зрения Е. Курилович (JР, 1955).

Вопросам становления национальных и литературных языков было уделено много внимания на конференции ИАН, которая проходила в 1955 г. в Законанем. Доклады о происхождении польского литературного языка сделали В. Куранкевич и З. Штибер, о русском языке—А. Яблоньска, о французском—Г. Левицка, об английском—М. Шлаух, о немецком—Л. Забронский. С. Урбанчик доложил о терминологии, связанной с проблематикой литературного языка (в связи с брошюрой З. Клеменевича «O różnych odmianach współczesnej polszczyzny», изданной в связи с «Сессией Возрождения» в 1953 г.). С. Стрельцын выступил в дискуссии по вопросу формирования национальных и литературных языков в арабских странах и Абиссинии. Обширная дискуссия в ходе конференции позволила ее участникам решить много проблем, касающихся становления литературных языков; во всяком случае стало очевидным фактом, что различные условия общественного развития в тех или иных странах могут обусловить различный характер становления и развития этих языков. Доклады законанской конференции будут напечатаны в 1956 г.

Общими проблемами языкознания (знаковая теория, дуализм и монизм в языкознании) занимались у нас преимущественно Курилович, Дорошевский и Л. Завадовский. Состояние и задачи польского языкознания широко обсуждались у нас дважды — на съездах Польского лингвистического общества в 1950 и 1954 гг. В более узком составе Комитет языкознания Польской АН совместно с Министерством высшего образования оценивает планы всевозможных научных учреждений (Отделений АН, кафедр и т. п.). Такое периодическое обсуждение и проверка работы существенно влияют на повышение ее качества.

В настоящей статье мы представили самый общий обзор работ по языкознанию в Польше за 1945—1955 гг. Гораздо более полный обзор наряду с обширной библиографией читатель найдет в XIV томе ВРГП (статьи Куриловича, Сафаревича, Лер-Славинского и Клеменевича).

З. Штибер

Перевел с польского Н. Гондратов

ПЛАНЫ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ПОЛЬСКОЙ АН

Отделение общественных наук Польской Академии наук проводит исследования в различных областях языкознания. Научно-исследовательская работа по языкознанию планируется на пять лет (1956—1960 гг.). План текущего 1956 г. является частью пятилетнего плана и непосредственно связан с ним. Работа в области польского языкознания на 1956—1960 гг. планируется по трем большим разделам: 1) история польского языка в широком смысле (с включением исследований по исторической диалектологии и по современным говорам, а также работ над различного типа словарями современного и старопольского языков, включая и диалектологический словарь); 2) современный общенародный язык (со специальной установкой на изучение синтаксиса как письменного, так и устного языка, словообразования и фонетики); 3) ономастика и топонимика (составление словаря старопольских имен и собиранье и проверка географических названий на территории Польши).

Изучение польского языка сосредоточено в двух центрах — в Кракове и в Варшаве. В Кракове ведется работа над старопольским словарем, подготавливаются диалектологический атлас польского языка, диалектологический словарь, а также словарь старопольских личных имен и топонимика. В группе старопольского словаря будет продолжена обработка лексического материала, извлеченного из памятников до 1500 г. Кроме того, предполагается собрать материал для издания рукописных памятников польского языка до половины XVI в. В 1956 г. предполагается издать три выпуска старопольского словаря (30 изд. листов) и, кроме того, три выпуска отредактировать. Предполагается, что в том же году будет отредактирован 5-й выпуск второго тома словаря. Составлением старопольского словаря руководит проф. С. Урбанчик.

Краковское отделение ведет работу по составлению малого и большого атласов польских говоров. В 1956 г. намечается издать первую папку карт малого атласа вместе с томом комментариев, сдать в производство вторую папку карт и второй том комментариев и отредактировать половину карт третьей папки и комментарии к ним. Одновременно начнется подготовка вопросника для большого атласа польских говоров. Для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой атласов, предусматривается созыв специальной конференции. Всей диалектологической работой в краковском отделении руководит акад. К. Нитш. Он же руководит составлением диалектологического словаря. Последний будет строиться на материале, извлеченном из лингвистической и этнографической литературы; кроме того, в него войдут и специально собранные для данного издания материалы. Намечено подготовить и издать пробный выпуск этого словаря и всесторонне обсудить его, причем широко привлечь к этому научную общественность. Обсуждение должно определить дальнейшее направление работы в указанной области.

Проф. В. Ташицкий руководит работой по подготовке словаря старопольских личных имен и топонимии, которая включает в себя подготовку словаря старопольских личных имен до 1500 г., словарь названий лиц, связанных с Польшей до 1250 г., и словарь названий польских местностей до 1250 г. Необходимо отметить, что количество проблем, над которыми предполагается вести работу, увеличилось по сравнению с 1955 г. Особо нужно подчеркнуть, что изучаемые темы связаны с узловыми, наиболее важными проблемами польского языкознания. План научно-исследовательской работы на 1956 г. является непосредственным продолжением плана предшествующего года и представляет собой последовательное осуществление начинаний, над реализацией которых краковский центр трудится много лет.

В варшавском отделении ведется работа по польской диалектологии и по истории польского языка. Диалектологическая работа осуществляется в двух группах; первой руководит проф. В. Дорошевский, второй — проф. З. Штибер.

В группе, руководимой В. Дорошевским, проводится всестороннее изучение говоров Мазовья и Подлясья (фонетика, морфология, синтаксис и лексика). Кроме того, разрабатываются проблемы исторического развития говоров Вармии и Мазур, а также подготавливаются к изданию диалектологические тексты. Исследование этих проблем в 1956 г. является продолжением плановой работы, проводившейся прежде. Методы собирания материалов остаются теми же, потому что это обеспечивает в дальнейшем возможность сравнивать накапливаемые результаты. Проблемы, связанные с изучением лексики, имеют комплексный характер, поскольку они тесно связаны с вопросами исторического и этнографического характера. Эта связь практически выразилась в том, что запланированная сетка населенных пунктов, намеченных в 1956 г. к обследованию, исходит из данных этнографии, а выбор самих населенных пунктов производится с учетом тех данных, которые предоставляются историками.

В группе, руководимой З. Штибером, разрабатываются две проблемы: 1) исследование давних отношений кашубского диалекта к диалектам основной территории распространения польского языка. Результатом работы над этой проблемой явится диалектологический атлас польского левобережного Поморья; 2) исследования пограничных польско-чешских говоров в Силезии. Результатом работы должны быть: а) сравнительный словарь польских и моравских говоров; б) монографии, посвященные склонению и спряжению в моравских говорах, и т. п.

План работы по истории польского языка на 1956 г. предусматривает собирание, систематизацию и обработку материалов по фонетике, морфологии, синтаксису, лексике и фразеологии языка памятников XVII в. Эти материалы в дальнейшем будут использованы для составления словаря польского языка XVII в. и для монографий, посвященных языку некоторых авторов XVII в. Исследованиями по истории польского языка руководит проф. Г. Гонтура.

Научная работа в области славистики и русистики проводится в двух научно-исследовательских центрах Академии наук — в Кракове и в Варшаве — и на пяти университетских кафедрах восточнославянской филологии в разных городах. Пятилетний план по славянскому языкознанию предусматривает всесторонний охват наиболее важных и актуальных проблем. Предполагается также активизировать работу по публикации памятников письменности, подготовке словарей славянских языков, изданию славистической периодики и т. д.

Важнейшими и наиболее актуальными проблемами польской славистики являются следующие: 1) основной словарный фонд славянских языков. По этой проблеме намечается исследование основного словарного фонда праславянского языка и отдельных славянских языков; 2) формирование и развитие народных и литературных языков и их влияние друг на друга. По этой проблеме предполагается изучить польско-чешские, польско-украинские и польско-белорусские языковые отношения; 3) сравнительная грамматика славянских языков. По этой проблеме предусматривается собирание материалов для сравнительной грамматики западнославянских языков, изучение вымерших западнолужицких и лехитских диалектов и некоторые другие работы; 4) внеш-

пия и внутренняя история славянских языков. Предполагается научное издание памятников письменности различных славянских языков (старославянского, лужицких, украинского и др.), а также монографии по истории отдельных славянских языков; 5) живые славянские языки и их диалекты. В эту проблему входят исследования ипославянских языковых «островов» на территории Польши (чешские, украинские, белорусские и др. говоры); 6) этимологические исследования. В эту проблему включается подготовка этимологического словаря полабского языка; 7) славянские топонимика и ономастика. По этой проблеме предполагается вести изучение славянских этнических названий; 8) издания различных славистических трудов (университетских учебников, практических словарей и т. п.). Всю работу по славистике будет вести большой коллектив ученых, часть которых работает в системе Польской Академии наук.

Как уже упоминалось, работа по славистике сосредоточена в двух центрах — в Кракове и в Варшаве. В Кракове в 1956 г. планируется работа по реконструкции основного словарного фонда праславянского языка (первый этап — составление праславянского словаря) и по исследованию происхождения названий славянских племен (в ближайшие два года предполагается собирание материала, а в дальнейшем создание ряда монографий, на базе которых можно было бы составить словарь славянских племенных названий). Всей славистической работой в Кракове руководит проф. Т. Лер-Силавинский.

В Варшаве в 1956 г. славистическая работа будет заключаться: 1) в исследовании чешско-польских языковых отношений в XVI в. и 2) в сравнительном изучении некоторых западнославянских литературных языков (польского, чешского и словацкого). Изучение чешско-польских языковых отношений в XVI в. имеет большое значение для выяснения процесса формирования польского литературного языка. Это — часть широко запланированных и частично реализованных исследований по чешско-польским языковым отношениям на протяжении всей их истории. Сравнительное изучение славянских литературных языков даст необходимый материал для их классификации. Славистической работой в Варшаве руководит З. Штибер.

Работа над словарем славянских древностей в 1956 г. будет продолжаться. Ее осуществляют главная редакция, редакторы отделов, редакционный комитет и авторы словарных статей. На 1956 г. запланировано два заседания редакционного комитета. Планируется также составление словарных статей.

По общему и индоевропейскому языкознанию научно-исследовательский план на 1956 — 1960 гг. охватывает лишь те области, в которых уже работает несколько специалистов. В области общего языкознания в первую очередь выдвигаются такие основные вопросы, как проблема внутренних законов языкового развития и проблема типологии языков. Законы языкового развития можно раскрыть только на материале отдельных языков, поэтому особо важное значение приобретает изучение морфологии и синтаксиса индоевропейских языков. В проблеме типологии языков включается прежде всего проблема их морфологической классификации, а также исследования по языкам Америки и Кавказа. Будут продолжаться исследования по экспериментальной фонетике, уже начатые в Варшаве и Познани.

В течение ближайшей пятилетки будет уделено внимание проблеме соотношения языка и мышления. В настоящее время эта проблема еще не стала в Польше предметом специальных исследований. Начнется работа по изучению истории отдельных индоевропейских языков, в частности греческого, латинского, немецкого и литовского. Кроме того, планируется издание ряда учебников по сравнительной грамматике индоевропейских языков. В течение ближайшей пятилетки будет уделено серьезное внимание подготовке кадров в области общего и индоевропейского языкознания.

В 1956 г. будет продолжаться начатое раньше составление словаря средневековой латыни в Польше и предполагается закончить работу над первым томом, который будет включать первые две буквы алфавита. При подборе материала главное внимание будет уделено использованию текстов, известных только по старопечатным книгам XV—XVI вв. В том же 1956 г. предполагают приступить к систематическому привлечению такого рода материалов, хотя это и представляет известные трудности. Использование для словаря материала старопечатных книг необходимо еще и потому, что в ряде случаев тексты старопечатных книг впоследствии не переиздавались.

В области ориенталистики в 1956—1960 гг. предполагается в основном продолжать работы, начатые раньше. Будет продолжаться составление каталога восточных рукописей, находящихся в Польше; большая часть каталога будет опубликована. Совместно с Институтом истории будут подготовлены к печати некоторые татарские и турецкие дипломатические документы; планируется также издание других восточных рукописей. Такая работа проводится в Польше впервые.

В области лексикографии восточных языков предусматривается составление ряда двуязычных словарей (китайско-польского, турецко-польского, персидско-польского); запланированы также работы по лексикологии некоторых восточных языков. Важное место в научной тематике по востоковедению отводится исследованиям в области ге-

незиса и развития народно-разговорных и литературных языков на Востоке, а также обработке и изданию важнейших языковых памятников.

Помимо научно-исследовательской работы, которая осуществляется коллективами ученых, в Академии наук ведется работа по индивидуальным планам действительных членов и членов-корреспондентов Польской Академии наук. Акад. К. Ниты в 1956 г. будет готовить новое издание трудов, посвященных польской диалектологии. Акад. Т. Лер-Силавинский предполагает окончить работу над книгами по истории праславянского языка, по истории славянской литургии и славянской письменности в связи с деятельностью Константина и Мефодия, по этимологическому словарю полабского языка (совместно с К. Покусским) и над учебником по исторической грамматике чешского языка (совместно с З. Штибером); кроме того, Т. Лер-Силавинский начнет обрабатывать материал для словаря славянских древностей. Член-корр. В. Дорошевский будет готовить труд по истории польского языка; член-корр. З. Клеменевич также готовит большую работу на ту же тему; член-корр. З. Штибер предполагает завершить составление атласа говоров лемков и исследование по развитию склонения в верхне-лужицких говорах. Акад. Е. Курилович работает над фонетикой семитских языков. В 1956 г. он будет заниматься арабским языком. Член-корр. А. Зайончковский предполагает в 1956—1957 гг. заняться изучением памятников Золотой Орды; завершением этой работы явится монография о языке Золотой Орды.

И. А. Оссовецкий.

ОБСУЖДЕНИЕ РУССКО-ПОЛЬСКОГО СЛОВАРЯ

9 декабря 1955 г. в Польско-советском институте в Варшаве состоялось совместное заседание Комитета славистики и русистики Польской АН и Редакционного комитета русско-польского словаря, посвященное обсуждению пробной тетради русско-польского словаря¹. На заседание в качестве гостей прибыли акад. В. В. Виноградов (Москва) и представитель редакции «Большого русско-чешского словаря» д-р Ярмила Оливов (Прага).

Председательствовал акад. Т. Лер-Силавинский. С приветствием к участникам собрания обратился директор Польско-советского института проф. З. Мильнарский. Затем проф. А. Минович от имени редакции словаря доложил о состоянии работы и выделил вопросы, которые редакции хотелось бы подвергнуть обсуждению.

В ходе дискуссии рассматривались следующие вопросы:

1. Объем и состав словарика.
2. Методика обработки словарных статей: а) группировка материала; б) лексические эквиваленты, иллюстративный материал, назывные соответствия (переводы), фразеология; в) грамматические пометы; г) этимологии слов; д) проблема частотности употребления русских слов; е) квалификаторы, условные значки.

3. Проблема графического выделения различных элементов словарной статьи.

Объем и состав словарика. Акад. В. В. Виноградов высказал мнение, что словарь должен отразить словарный состав современного русского литературного языка. Словарь должен обладать нормативным характером и не включать устаревшие с современной точки зрения слова, а также малоупотребительную областную лексику и диалектизмы. Вместе с тем, подчеркнул В. В. Виноградов, необходимо критическое отношение к «Толковому словарю русского языка» под ред. Д. П. Ушакова, отражающему лексику русского литературного языка 30-х годов и во многом устаревшему.

Д-р Я. Оливов изложил позицию редакции «Большого русско-чешского словаря», которая придерживается мнения, что большой двуязычный словарь, помимо словарного состава современного литературного языка, должен также содержать архаизмы, диалектизмы, специальную лексику, употребительную в научно-популярной литературе, т. е. все слова, которые устанавливаются при обследовании литературы XIX и XX вв., современной прессы и научно-популярных изданий. По мнению редакции «Большого русско-чешского словаря», двуязычный словарь не имеет возможности отразить современную русскую языковую норму, так как ее не содержат и новейшие русские словари (словарь под ред. Д. П. Ушакова и издающийся академический словарь). Д-р Оливов особенно подчеркнула необходимость широкого обследования литературных текстов для пополнения и обновления словарика.

¹ «Słownik rosyjsko-polski». Pod red. A. Mirowicza i W. Jakubowskiego. Zeszyt próbny. Warszawa, Państwowe wyd-wo naukowe, 1955. 33 стр.

Проф. В. Курашкевич обратил внимание на необходимость помещения в словаре имен собственных и важнейших типов топонимических названий.

Проф. С. Грабец предложил в большем объеме отразить в словаре общественно-политическую лексику и фразеологию, а также научно-техническую терминологию.

Проф. Г. Левицка высказалась за равномерное отражение различных сторон лексики в словаре, против насыщения его специальной и общественно-политической терминологией, которая состоит преимущественно из так называемых европеизмов и имеет много общего в обоих языках.

Канд. филол. наук П. Перчиньска указала на необходимость отражения в словаре как лексики классиков русской литературы XIX в., так и областных и просторечных слов, а также наиболее употребительных диалектизмов, которые представлены в литературе.

Проф. А. Миrowski в своем выступлении выразил точку зрения редакции русско-польского словаря, которая полагает, что в словаре нельзя ограничиться подачей лексики современного русского литературного языка. Поскольку словарь носит практический характер, постольку необходимо отразить в нем лексику XIX в., а также вошедшие в литературу областные и просторечные слова. Трудности, вытекающие из недостаточного контакта с носителями живого языка, следует преодолеть путем тщательного обследования произведений выдающихся современных авторов, газетной продукции, литературных и научно-популярных журналов.

Методика обработки словарных статей. а) Группировка материала. Акад. В. В. Виноградов высказался за расположение материала словарной статьи, опирающееся на систему значений русского слова. При этом следует обращать особое внимание на сферу употребления русского слова и его польских эквивалентов, а также на взаимоотношение их грамматических и стилистических особенностей. По мнению В. В. Виноградова, при редактировании словарных статей следует как можно более точно сопоставлять отдельные значения русского слова с польскими эквивалентами, не объединяя при этом различные значения русского слова, которым соответствует один польский эквивалент.

Д-р Я. Оливов изложила взгляды редакции русско-чешского словаря, состоящие в том, что система польских соответствий не может служить базой группировки материала ни с научной, ни с практической точки зрения. Указанные соответствия должны использоваться только для объяснения отдельных значений заглавного слова и не выдвигаться на первый план, так как это нарушает картину семантической структуры русского слова.

Проф. В. Курашкевич одобрил принятую в пробной тетради группировку материала, опирающуюся на систему польских соответствий, которая, являясь, по его мнению, логичной и прозрачной, приемлема для польского читателя.

Проф. С. Грабец подчеркнул, что соотношение русских и польских значений является центральной проблемой словаря и что во всех случаях при обработке статей следует исходить из польского, а не русского языка.

Проф. В. Дорошевский утверждал, что при разработке семантической стороны слова не следует опираться на польские соответствия. Двухязычный словарь должен истолковывать значение заглавных русских слов, а не руководствоваться системой польских соответствий, так как последнее производит впечатление неестественного перехода от одного языка к другому.

Проф. Г. Левицка, подчеркнув практическое значение двухязычных словарей, высказалась за передачу значений и соответствий с польскими эквивалентами, кроме тех случаев, когда такой метод явно противоречит системе значений русского слова.

Проф. П. Зволниньский отметил, что построение словарной статьи в зависимости от польских соответствий, вызывающее иногда возражения с научной точки зрения, для польского читателя более доходчиво и целесообразно. Проф. Я. Сафаревич также присоединился к этой точке зрения.

Проф. Н. Рудницкий в письме, присланном в редакцию словаря, подтвердил, что система польских соответствий более правильна и что стремление отразить как можно полнее семантическую структуру русских слов несомненно привело бы к детализации, не всегда понятной для польского читателя, а во многих случаях противоречило бы также языковому чувству самих русских.

Проф. В. Галэцкий в письме в редакцию словаря выражает сомнение в целесообразности очень подробной разработки оттенков значения русских слов в тех случаях, когда они целиком совпадают с соответствующими оттенками польских слов.

Проф. А. Миrowski изложил мнение редакции словаря, которая считает разработку статьи в соответствии с польскими эквивалентами вполне обоснованной. Группировка материала в соответствии со значениями русских слов приведет к повторению тех же самых польских эквивалентов, что вызовет излишнее смешение тех и других, затрудняющее практическое использование словаря.

б) Лексические эквиваленты, иллюстративный материал, польские соответствия (переводы), фразеоло-

г и я. Акад. В. В. Виноградов обратил особое внимание на необходимость подбора точных в стилистическом отношении эквивалентов в польской части. Кроме того, по его мнению, польские эквиваленты и переводы фразеологических оборотов следует снабжать также стилистическими пометами. Он выразил сомнение в целесообразности использования поэтических примеров, которые с трудом поддаются переводу.

Д-р Я. Оливов в своем выступлении высказалась за дословный перевод стихотворных иллюстраций в тех случаях, когда в поэтической передаче значение толкуемого слова деформируется или это слово вообще опускается. Она считает необходимым помещение в словаре фразеологических оборотов, которые тождественны в обоих языках.

Проф. С. Грабец указал на необоснованность помещения одинаковых примеров в разных словарных статьях (например, при глаголах совершенного и несовершенного вида). Он предложил группировать иллюстративный материал прежде всего в связи с грамматическими признаками и подчеркнул необходимость обращать особое внимание на соответствие польских переводов духу языка, на недопустимость употребления в них архаичных и явно просторечных слов. По его мнению, фразеологические обороты следует приводить при всех словах, составляющих тот или иной оборот.

Проф. В. Курашкевич, напротив, отметил как серьезные достоинства пробной тетради — тщательность польских переводов, последовательное отграничение иллюстративных примеров от фразеологии и многочисленные замечания о семантике слов.

Проф. Э. Жешовский горячо поддерживал мысль о необходимости более широкого использования лексического богатства польского языка и указал на нецелесообразность помещения в словаре авторизованных переводов, которые зачастую не отражают в полной мере смысл оригинала.

Проф. З. Штибер заявил, что польские разговорные слова, получившие широкое распространение, могут и должны быть использованы в словаре в качестве лексических эквивалентов.

Проф. А. Яблоньска предложила использовать пословицы и поговорки не только в виде примеров, а помещать их среди фразеологических оборотов. Проф. Г. Левичка обратила внимание на слишком большой иногда по объему иллюстративный материал. По ее мнению, примеры должны быть мотивированы, т. е. приводимы тогда, когда они вносят что-либо новое в объясняемое слово или когда возникает затруднение в правильном переводе на польский язык. Канд. филол. наук Н. Перчиньска также считает необходимым уменьшение числа примеров в виде целых предложений. Проф. В. Галыцкий полагает, что некоторые статьи пробной тетради перегружены аналитическим материалом, что неблагоприятно отражается на их наглядности и ясности.

Проф. А. Миrowski говорил о том, что имеется минимальная возможность использования в иллюстративных целях существующих польских переводов, так как они обычно не содержат необходимых эквивалентов, иногда передают содержание другими средствами, а в некоторых случаях ограничиваются дословной передачей, не отражающей в полной мере содержания.

в) Грамматические пометы. Проф. С. Грабец, опираясь на тот факт, что словарь предназначен для широких масс, указал, что грамматические пометы должны иметь самый общий характер и удовлетворять вместе с тем практическим потребностям. Наряду с этим он подчеркнул, что словарь не обязан содержать помет, касающихся словообразования. По мнению проф. Грабца, подача предлогов и союзов в пробной тетради удачно сочетает синтаксические принципы с семантикой.

Проф. З. Клемевский в выступлении, специально посвященном проблеме предлогов и союзов, отметил самостоятельность в подходе редакторов пробной тетради к разработке статей о предлогах и союзах. Он показал, что им удалось преодолеть обычный схематизм, господствующий до сих пор в словарях. З. Клемевский выступил с рядом предложений, касающихся детальной разработки предлогов и союзов в словаре.

Доц. С. Токарский предложил разработать схемы склонения и спряжения, поместить их в начале словаря, и в словарных статьях ограничиваться только цифровыми значками, отсылающими к соответствующим парадигмам. Только формы, отступающие от указанных типов, следует приводить в самой словарной статье.

г) Этимология слов. Акад. В. В. Виноградов высказался решительно против указаний на этимологию толкуемых слов. Д-р Я. Оливов сообщила, что, по мнению редакции «Большого русско-чешского словаря», этимологические указания не вносят в словарь ничего нового и не способствуют пониманию значения слов.

Проф. С. Грабец указал, что этимологические указания не нужны уже хотя бы потому, что они зачастую антиисторичны. Проф. А. Миrowski сообщил мнение редакции словаря, согласно которому этимологические пояснения должны ограничиваться случаями, когда этимология русского слова помогает читателю лучше его понять.

д) Проблема частотности употребления русских слов. Проф. В. Курашкевич предложил указывать на частоту употребления русских слов. В целях этого, согласно его предложению, следовало бы произвести соответствующие подсчеты на основе нескольких произведений современной русской литературы.

Проф. В. Дорошевский считает, что указанная статистика не может быть рекомендована для словаря. Следует лишь при помощи помет информировать читателя о сферах употребления слова.

Проф. Г. Левицка высказалась против указаний на частоту употребления слов, так как эти подсчеты не нужны для словаря.

е) К в а л и ф и к а т о р ы, у с л о в н ы е з н а ч е н и я. Д-р Я. Оливовна подчеркнула, что значок, указывающий на недословное объяснение, употребляется в пробной тетради непоследовательно. Следовало бы ограничить употребление его теми редкими случаями, когда в польском языке отсутствуют соответствующие средства выражения определенного содержания.

Проблема графического выделения различных элементов словарной статьи. Редакция словаря предложила две системы графического выделения элементов словарной статьи: 1) более сложный, включающий пять видов шрифта, и 2) упрощенный. Проф. А. Мирович высказался за принятие первой системы, позволяющей более четко отмечать пометы грамматического характера от стилистико-семантических.

*Редакция русско-польского словаря
Перевел с польского Н. Кондрашов*

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

I

20 декабря 1955 г. на Секции русского языка Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялось обсуждение проспекта «Очерков по истории русского литературного языка XIX века», над созданием которых Сектор русского литературного языка Института будет работать в течение ближайших четырех лет.

Авторы проспекта, подводя итоги изучения литературного языка XIX в., ориентировочно устанавливают круг явлений этого языка, подвергавшихся изменениям на протяжении XIX в., и основные тенденции его развития.

Основная задача исследования — показать развитие грамматического и лексико-фразеологического состава русского литературного языка от эпохи Пушкина, как родоначальника современного русского литературного языка, приблизительно до раннего Горького. Изучение же истории развития и взаимодействия стилей русского языка, характеристика жанровых стилей, характеристика языка художественных произведений или совсем не входят в задачи исследования, или рассматриваются как задачи подсобные.

Проспект состоит из «Введения» (автор — руководитель Сектора С. Г. Бархударов) и 5 разделов. В разделе «Произношение и ударение» (автор С. И. Ожегов) дается характеристика состояния норм литературного произношения как в первой, так и во второй половине XIX в.

В разделе «Словообразование» характеризуются способы образования глагола от других частей речи и внутрисловного словообразования (автор главы Н. С. Авилова), особенности словосложения и суффиксального образования имен существительных различных семантических групп (автор В. Н. Хохлачева), особенности суффиксального, префиксального, комбинированного суффиксально-префиксального способа образования прилагательных и способа образования прилагательных путем словосложения (автор Е. А. Земская). Авторы отмечают изменение значимости в языке того или иного способа словопроизводства, развитие новых словообразовательных типов, лексико-семантические процессы внутри определенных словообразовательных типов.

В разделе «Лексика и фразеология» (авторы В. Д. Левин и Ю. С. Сорокин) намечаются два периода развития литературного языка в XIX в. В первой части раздела рассматриваются изменения, происходившие в первой трети XIX в. в лексике русского литературного языка и связанные с судьбой старых стилистических групп лексики (просторечной и простонародной лексики, высокой лексики и фразеологии, некоторых нейтральных слов). Во второй части, охватывающей время с сороковых годов до конца века, описывается пополнение словарного состава языка путем образования новых слов,

появление слов, заимствованных из других языков или интернациональных, изменение значений слов. Особое внимание уделяется усиленному развитию во второй период некоторых групп терминологической лексики.

В разделе «Морфология» (автор А. Б. Шаниро) во вступительной главе намечается ряд вопросов, связанных с характеристикой общего состояния частей речи в конце XVIII в. В последующих главах указываются характерные для XIX века явления из области склонения и употребления существительных, прилагательных, числительных, местоимений, спряжения глагола.

В главах «Предлоги» и «Союзы» (автор Е. Т. Черкасова) соответствующие служебные слова рассматриваются как в морфологическом аспекте, так и в аспектах синтаксическом и стилистическом.

В разделе «Синтаксис» (автор Н. Ю. Шведова) характеризуются процессы развития словосочетания, простого предложения и его членов, сложного предложения и форм периода.

В обсуждении проспекта приняли участие официальные рецензенты проспекта проф. С. А. Конорский (МГУ) и проф. В. Н. Сухотин (Институт языкознания АН СССР), проф. А. П. Ефимов (МГУ), старшие научные сотрудники Института языкознания АН СССР проф. П. С. Кузнецов, проф. П. С. Поспелов, канд. филол. наук П. С. Ильинская и члены авторского коллектива: В. Д. Левин, Ю. С. Сорокин и Н. Ю. Шведова.

В заключительном слове С. Г. Бархударов с удовлетворением отметил, что все выступавшие дали положительную оценку проспекту и рекомендовали его к печати. Он признал, что в соответствии с указаниями участников обсуждения проспект нуждается в тщательной обработке, не только редакционной, но и авторской, но предупредил, что не все высказанные выступавшими пожелания можно будет реализовать, так как для этого требуется большая исследовательская работа. В частности, «Очерки» могут только дать материал для разрешения общетеоретических проблем.

Основным недостатком проспекта С. Г. Бархударов признал то, что вопрос о роли крупнейших писателей XIX в. в развитии литературного языка не получает в нем должного освещения. Он подчеркнул, что отсутствие специальных глав, посвященных языку великих писателей, не значит, что в «Очерках» не будет учтена их роль. Но деятельность этих писателей будет рассматриваться с точки зрения самого процесса развития литературного языка.

Секция русского языка Ученого совета Института языкознания АН СССР приняла решение одобрить проспект и рекомендовать его к печати с условием внесения в него необходимых изменений и дополнений.

Е. Ф. Петрищева

II

24 января с. г. на заседании Секции общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета Института по рекомендации бюро Отделения литературы и языка был заслушан и обсужден доклад доктора филол. наук Е. А. Бокарева на тему «Современное состояние вопроса о международном вспомогательном языке».

Любой научный работник, ведущий исследования в какой бы то ни было отрасли знания, не должен и не может в наше время ограничиваться литературой только на родном языке. Он неизбежно вынужден обращаться к специальной литературе на самых различных языках — русском, английском, французском, немецком, китайском, испанском, японском, арабском и многих других. В связи с этим возникает проблема организации систематических переводов с одного языка на десятки других (и наоборот) огромного количества научной литературы, что не освобождает ученого от необходимости овладения по крайней мере несколькими иностранными языками. Естественно, что уже давно ведутся поиски путей и предпринимаются попытки преодоления ряда неудобств реального многоязычия.

Этот вопрос, как указал докладчик, затрагивает интересы не одного только научного общения, он ставится и в более широком плане развития международных сношений, приобретая тем самым не только научное, культурное и экономическое, но и определенное политическое значение. Так, выдвигаются предложения принять в качестве основного языка международных сношений какой-либо один из существующих языков. Большая литература посвящена, например, пропаганде английского языка в качестве мирового, разработана, в частности, специальная система «облегченного» языка «Basic English»; в ряде работ пропагандируется так называемая теория англо-французского билингвизма и т. д. Нет сомнения, что попытки навязать силой один из развитых национальных языков всем народам мира совершенно безнадежны. Они не имеют ничего общего с марксистско-ленинским пониманием национального развития и должны быть отвергнуты как обреченные на провал.

Неоднократно предпринимались также попытки возродить в качестве вспомогательного международного языка латинский язык, так или иначе реформировав его

для этой цели. В последнее десятилетие пропаганда подобных проектов (например, *Latino sine Pexione*) ведется значительно слабее, чем до второй мировой войны.

Наибольший интерес представляет иной путь решения указанной проблемы — путь создания специального искусственного языка как вспомогательного средства международного общения. Самым известным из искусственных языков является эсперанто, единственный из языков такого рода, получивший довольно значительное распространение. Кратко остановившись на семидесятилетней истории эсперанто, докладчик отметил, что еще А. Мейе справедливо указал на беспредметность споров о возможности создания искусственного языка, поскольку такой язык (эсперанто) уже существует и служит средством общения. Е. А. Бокарев привел конкретные данные о современном распространении эсперанто, о различных эсперантских изданиях и продемонстрировал образцы периодической и монографической, переводной (политической, научной и художественной) и оригинальной литературы на эсперанто.

Отвечая на многочисленные вопросы, докладчик остановился на причинах того, почему эсперанто вышел победителем в борьбе с другими проектами вспомогательного международного языка (идо, новиааль, окциденталь и др.), рассказал об использовании эсперанто в движении сторонников мира, привел некоторые данные о тиражах эсперантских изданий.

В прениях по докладу выступили директор Института языкознания АН СССР доктор филол. наук В. И. Боровский, старшие научные сотрудники Института К. Е. Майтинская, Л. И. Жирков, Б. В. Горнунг, А. А. Реформатский, М. М. Гухман, преподаватель ЛГУ Н. Д. Андреев. Выступавшие положительно оценили доклад Е. А. Бокарева, указывали на практическую ценность эсперанто и на необходимость со всем вниманием отнестись к вопросу о его исследовании. В выступлениях отмечалась легкость овладения эсперанто, выразительные возможности этого языка, и то же время выражались сомнения в целесообразности развития на эсперанто оригинальной художественной литературы. В одном из выступлений была высказана та мысль, что необходимо отделить вопрос о безусловной полезности эсперанто в нашу эпоху от общего вопроса о вспомогательном международном языке будущего, когда эсперанто — продукт индоевропейской языковой среды — должен будет уступить место другому вспомогательному языку, учитывающему и корнеслов азиатских языков. Особо были отмечены необходимость теоретического изучения эсперанто и его значение как коллективного лингвистического эксперимента.

В результате обсуждения доклада Секция приняла решение на одном из своих ближайших заседаний заслушать второй доклад Е. А. Бокарева, посвященный эсперанто как предмету лингвистического исследования*.

В. П. Григорьев

* В одном из ближайших номеров редакция журнала «Вопросы языкознания» предполагает опубликовать статью, посвященную проблеме вспомогательного международного языка. Ощущая недостаток в текущей периодической и монографической литературе, связанной с этой проблемой и в частности с вопросом о распространении, использовании и изучении эсперанто, редакция обращается ко всем заинтересованным организациям, авторам отдельных работ и редакциям эсперантских и др. журналов с просьбой присылать по ее адресу соответствующую литературу.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

О некоторых актуальных задачах современного советского языкознания	3
Л. А. Булаховский (Киев). Грамматическая индукция в славянском склонении	14

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Н. Болдырев (Ленинград). Некоторые вопросы становления и развития письменных языков в условиях феодального общества	31
В. П. Григорьев (Москва). О границах между словосложением и аффиксацией	38

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. П. Мажюлис (Вильнюс). Индоевропейская децимальная система числительных	53
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Из истории образования числительных в эскимосском языке	60
Б. И. Надэль (Ленинград). Фонетические явления фракийского и иллирийского языков	72
В. А. Матвеев (Москва). Заметки о языке новгородских берестяных грамот	82
А. М. Финкель (Харьков). Материалы для фразеологического словаря русского языка (<i>воробьиная ночь</i>)	92
В. А. Вайткевич (Ленинград). По поводу статьи П. И. Цукермана «Преподавание фонетики русского языка литовцам»	96

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. И. Хангильдин (Казань). Татарская грамматика Каюма Насырова «Әлмүзедж»	99
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. И. Толстой (Москва). Новые работы югославских лингвистов по сербохорватскому языку	104
Т. П. Ломтев (Москва). «Вопросы изучения русского языка»	111
Т. В. Булыгина и Д. И. Шмелев (Москва). Работы В. К. Метьюса по русскому и старославянскому языкам	115
Б. Казанский (Ленинград). «Словарь иностранных слов»	118
Н. И. Фельдман (Москва). Японский «Словарь отечественного языкознания»	122
Т. Б. Алисова (Москва). <i>G. Rohlfs. Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten</i>	126
М. А. Бородина (Ленинград). <i>Ch. T. Gossen. Petite grammaire de l'ancien picard</i>	131
Н. Д. Арутюнова (Москва). «Пешинско-русский словарь»	134
М. Я. Немировский (Ростов на Дону). <i>И. И. Жирков. Лакский язык</i>	138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

З. Штибер (Варшава). Польское языкознание в 1945—1955 гг.	142
И. А. Оссовецкий (Москва). Планы языковедческих институтов Польской АН	151
Обсуждение русско-польского словаря	154
Е. Ф. Петрищева, В. П. Григорьев (Москва). В Институте языкознания АН СССР	157

Р е д к о л л е г и я:

О. С. Ахманова, И. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), В. П. Григорьев (и. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов (и. о. зам. главного редактора), Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Сажеев, Б. А. Серебренников, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-05378	Подписано к печати 22/VIII 1955 г.	Тираж 11900 экз.	Заказ 461
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Бум. л. 5	Печ. л. 13,7	Уч.-изд. л. 16,5

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

Исправления
в журнале „Вопросы языкознания“

№ 3, 1955 г.

Стр.	Строка сверху	Напечатано	Следует читать
159	26	Антошкин Н. С.	Антошин Н. С.

№ 4, 1956 г.

Стр.	Строка снизу	Напечатано	Следует читать
117	25	<i>Sʒadəm, Spustə</i>	<i>'ʒadəm, 'pustə</i>